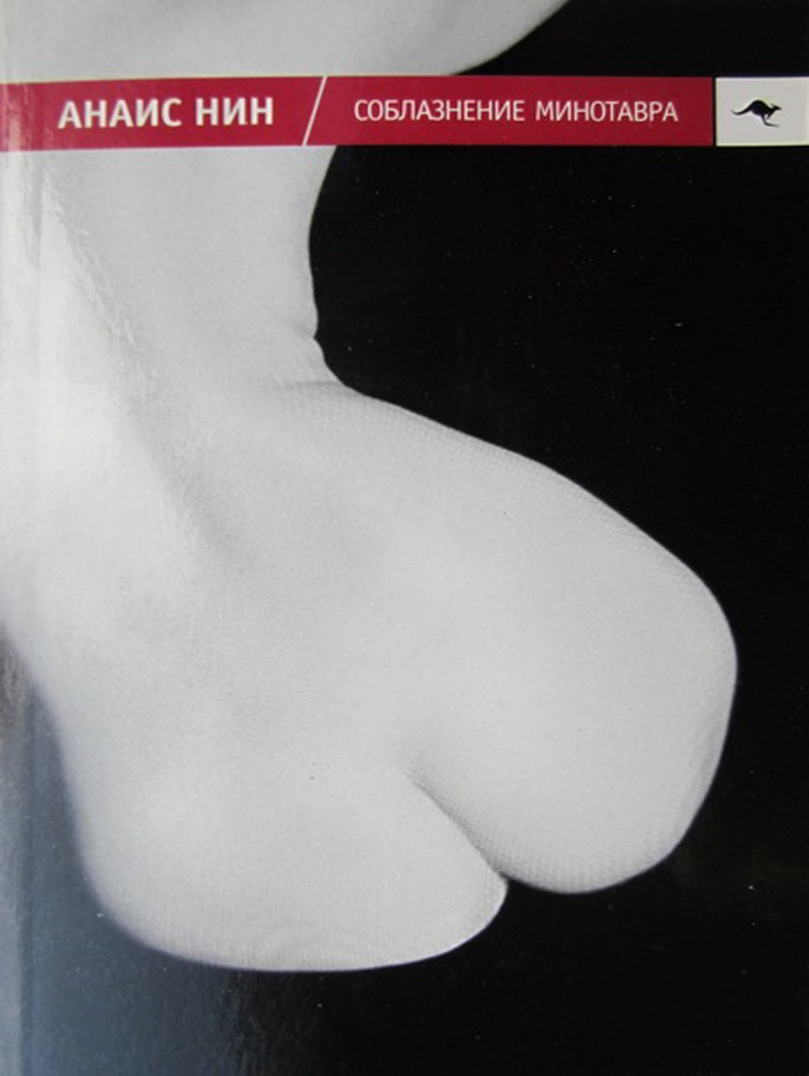
АНАИС НИН
СОБЛАЗНЕНИЕ МИНОТАВРА

Соблазнение Минотавра
Анаис Нин

Аннотация
Анаис Нин. «Соблазнение Минотавра»
Соблазнение Минотавра
Шпионка в доме любви

Аннотация

Известную американскую писательницу Анаис Нин часто называют «Эммануэль от литературы». На самом деле произведения А. Нин выходят за рамки столь упрощенного подхода: ее проза психологична и возвышенна, она раскрывает тонкий внутренний мир необыкновенных женщин, стремящихся к любви.

Анаис Нин
«Соблазнение Минотавра»

Соблазнение Минотавра

Иные путешествия совершаются словно по плану, вычерченному сновидением, другие же, напротив, — из жажды сновидению воспротивиться. Лилиана снова и снова видела один и тот же сон про лодку на суше: она из последних сил толкает ее по городским улицам, а воды все нет и нет. Этот сон заставил Лилиану перебраться к морю, как будто этот поступок мог раз и навсегда обеспечить лодке надежную глубину.

Она поселилась в городке под названием Голконда, где солнце окрашивало золотым цветом все: и пунктиры ее мыслей, и потрепанные чемоданы, и невзрачных жучков. Голконда золотого века, золотой астры, золотого орла[1], золотого гуся[2], золотого руна, золотого дрозда, золотой розги[3], золотой печати[4], золотого соловья, зо-

---

[1] Примечания: 1
Беркут (Aquila chrysaëtos, *зоол.*).

[2] Примечания: 2
Т. е. курицы, несущей золотые яйца.

[3] Примечания: 3
Золотарник (Solidago virgaurea, *бот.*).

[4] Примечания: 4
Житокорень канадский (Hydrastis gen, *бот.*).

лотых акаций, золотой свадьбы, золотой рыбки, золота удовольствия[5], золотого камня[6], золотой нити, золота дураков[7]…

С первым же глотком воздуха она вдохнула наркотик забвения, знакомый всем искателям приключений.

«Тропик» означает по-гречески изменение и поворот. Итак, она изменилась и повернула, и вот уже свет и ласковая жара превратили ее в клубок шелковых ниток. Отныне все ее движения — что бы она ни делала, пусть даже просто несла чемодан — стали какими-то нежными и доставляли ей наслаждение. А нервы, некогда то и дело напоминавшие о себе, превратились как бы в ниточки того самого клубка с шелком, обвивающие ее мышцы.

— Как долго вы собираетесь у нас пробыть? — спросил чиновник. — Сколько у вас с собой денег? В какой валюте? Есть ли у вас обратный билет?

Вот так приходится отчитываться за любое свое перемещение — за приезд, за отъезд. Мир всту-

---

[5] Примечания: 5
Рыжик посевной (Camelina sativa, *бот.*).

[6] Примечания: 6
Минерал авантюрин.

[7] Примечания: 7
Минерал пирит, похожий на золото.

пил в заговор против импровизации и позволяет ее только в джазе.

Гитары и пение уже перешли в наступление. Ее кожа расцвела и задышала. Тяжелая волна благоухания накатывала из джунглей справа, брызги волн долетали слева. На берегу местные жители нежились, покачиваясь в тростниковых гамаках. Мелодичные мексиканские голоса напевали любовные песни, которые, словно гамаки, баюкали и укачивали тело.

Там, откуда она приехала, лишь драгоценным камням доводилось лежать на подушечках в обтянутых атласом коробочках. Здесь же в таком привилегированном положении оказались ее мысли и воспоминания, которые воздух, запахи и музыка словно сговорились загипнотизировать своею нежностью.

Таможенник, задававший ей острые, как колючки кактуса, вопросы, был без рубашки, носильщики тоже. Лилиана решила быть вежливой лишь перед самым гладким торсом и демонстрировать свое уважение лишь самым крепким мускулам.

Отсутствие мундиров придавало телам достоинство и важность. Босые, мужчины выглядели неукрощенными и свободными, как будто счита-

ли встречу пассажиров в аэропорту временной обузой, избыв которую немедленно возвращались к гамакам, купанию и пению. Работа была для них всего-навсего одной из нелепостей бытия. Вы не согласны, сеньорита? — говорили их смеющиеся глаза, оценивающие ее с головы до пальцев ног. Они смотрели на нее открыто, внимательно, как смотрят дети и животные, смотрели тем телесным взглядом, для которого важны лишь физические достоинства, обаяние и живость, а вовсе не титул, богатство и род занятий. Они встречали иностранцев искренней, широкой улыбкой, на которую те не всегда могли ответить и от неожиданной теплоты которой принимались моргать, словно от слепящего солнца. Для защиты от солнца у иностранцев были темные очки, но защититься от улыбок и открытых взглядов они могли, разве что скривив рот в ответной ухмылке. Лилиана была не из их числа. Ее полные, округлые губы сами расплывались в такой же широкой улыбке. Она готова была ответить на это любопытство, на этот интерес, на эту близость. Вот так пристально и сосредоточенно смотрят животные и дети. Аборигены так и не научились у белого человека его изобретательному умению бежать от настоящего,

его высоконаучной способности рассматривать тепло как химическую субстанцию, а людей как абстрактные символы. Белый человек изобрел очки, позволяющие удалять и приближать предметы, фотоаппараты, телескопы, бинокли, подзорные трубы и прочие приспособления, где стекло становится посредником между живым и кажущимся. Он попытался овладеть образом, но не живой тканью, не теплом, не близостью другого.

А местные жители видели лишь настоящее. Это единение глаз и улыбок приводило в восторг. Там, откуда приехала Лилиана, люди старались не замечать друг друга. Там только дети могли глазеть на нее с бесстыдным любопытством. Бедный белый человек утратил себя в горделивом обладании стеклом, уменьшающим все до такой степени, что тела становятся невидимыми невооруженному глазу, словно в обычном взгляде есть что-то неприличное. Подобно тому как ее носильщик был полноправным хозяином своего тела, так и она сразу почувствовала себя собой, погруженной в свое тело, его хозяйкой и владелицей. Благодаря сосредоточенности на настоящем никакое вмешательство не могло нарушить этого телесного контакта. Она отвернулась от носиль-

щика и тут же увидела улыбающегося таксиста, как бы говорящего ей: «Стоит ли куда-то ехать? Мне хорошо и здесь, хорошо и сейчас…»

Он ерошил свои блестящие черные волосы, на нем была мокрая после купания майка.

Гитары поддерживали огонь в музыкальном костре. Возле аэропорта сидели на корточках нищие — слепые и хромые, — но все, как один, улыбались. Веселое благодушие природы купало их в золоте и помогало забывать о страданиях.

В городке под названием Голконда даже одежда казалась чем-то тяжеловесным и совершенно излишним.

Голконда было тайным именем, которым Лилиана окрестила этот городок. Ей хотелось, чтобы его настоящее имя исчезло из рекламных плакатов и проспектов турагентств. Подобно тому как в другом человеке мы обнаруживаем совсем иные свойства, так каждый из нас хранит в душе свой тайный город — особенный, неповторимый. Она не смогла бы любить город, о котором тысячи могут сказать, что досконально его знают. Голконда принадлежала ей одной. Честно говоря, когда-то это была деревня ловцов жемчуга. Правда и то, что когда-то здесь потерпел крушение японский корабль, суда работорговцев доставляли сюда

африканцев, другие корабли — специи, а испанцы привезли искусство филиграни и плетения кружев. Одна испанская галера потерпела здесь крушение, весь берег был усеян крестильными рубашками, которые женщины южной Мексики использовали как головные уборы.

Рассказывали, что когда японских ловцов жемчуга выжили отсюда, они уничтожили перед уходом все плантации жемчуга, и с тех пор Голконда превратилась в заурядную рыбацкую деревушку. Как-то верхом на ослах сюда приехали художники и обнаружили небывалую красоту этих мест. За ними прибыли агенты по недвижимости и владельцы гостиниц. И все-таки ничто не могло разрушить Голконду. Она оставалась городом, где ветер был бархатным, солнце сделано из радия, а море теплое, как материнская утроба.

Носильщики исчезли, так и не доставив багаж. Того, что они заработали, им вполне хватит сегодня на еду, пиво и купание и даже на то, чтобы сводить девушку на танцы, а ничего другого и не было нужно. Теперь уже мальчишки лет десяти-двенадцати, дождавшись своей очереди, хватались за огромные чемоданы, размером едва ли не больше их самих.

Когда водитель такси, и думать позабывший

куда-либо ехать в своей развалюхе, заметил наконец, что в ней сидят пассажиры, он решил, что пора надеть чистую, выглаженную сорочку.

Трое попутчиков, с которыми Лилиане предстояло ехать, уже сидели в машине. То ли потому, что все трое были одеты в строгие костюмы, то ли потому, что не улыбались, они казались единственными, кого не могло осветить солнце. Алюминиевые отблески моря проникли даже в старенькое такси и озарили набивку, торчащую из-под сморщенной кожи сиденья. Солнце превратило ее в подобие дождя на рождественской елке.

Один из мужчин помог ей сесть в машину и с испанской колониальной галантностью произнес:

— Позвольте представиться — доктор Эрнандес.

У него было широкое лицо, напоминающее знакомые ей скульптуры майя, округлые, высокие скулы, орлиный нос, большой, скошенный вниз рот и скошенные вверх глаза. Светло-оливковая кожа свидетельствовала о индейских и испанских предках. Улыбка была такой же открытой и широкой, как у всех местных жителей, но появлялась не так часто и быстро угасала, оставляя на

лице только тень.

Лилиана смотрела в окно, обследуя новое для себя пространство удовольствия. Все казалось ей непривычным. Даже зелень листвы была необычной: насыщенной, лакированной, влажной. Листья здесь были тяжелые, полные, цветы — крупные, словно переполненные соками, и живые — словно потому, что им не нужно было закрываться, чтобы защититься от холода или ночной прохлады. Как будто они вообще не нуждались во сне.

Хижины из пальмовых листьев напоминали об Африке. Одни, с заостренными крышами, стояли на сваях. У других крыши были пологими, и выступающие пальмовые листья создавали тень вокруг дома.

Слева от дороги виднелась серебристая, иногда приобретающая оттенок сепии, поверхность лагуны. Наполовину ее покрывали плавающие в воде цветы. Деревья и кусты казались какими-то невиданными растениями, растениями «на сваях», погружающими в воду свои извилистые корни, подобно тому как погружает в воду свои прямые гибкие корни тростник. Поджав под себя одну ногу, стояли цапли. Расползались во все стороны игуаны. Истерически веселились попугаи.

Лилиана снова взглянула на доктора, но тот был погружен в раздумья, и потому она перевела взгляд на американца, которого звали Хэтчер. Он был инженером, приехал в Мексику много лет назад строить дороги и мосты, но потом женился на мексиканке и решил остаться. Хэтчер в совершенстве владел испанским, у него, как у всех местных жителей, была грубая, дочерна обожженная солнцем кожа, только выступающая челюсть и острые плечи остались прежними. Он выглядел суровым, худым — «кожа да кости». На его босых ногах были мексиканские сандалии с подошвами из старых автомобильных шин. Рубашка расстегнута на шее. Но это небрежное облачение выглядело на Хэтчере скорее как способ завоевать тропики, чем подчиниться им.

— Голконда может показаться вам красивой, и все же туристы ее испортили. Неподалеку отсюда я нашел место гораздо красивее. Пришлось проложить туда дорогу. Пляж с белым песком, от которого, как от снега в горах, глазам становится больно. Сейчас я строю там дом. Раз в неделю приезжаю в Голконду за покупками. У меня есть джип. Готов пригласить вас к себе в гости. Если, конечно, вы не приехали сюда, как большинство американцев, только пить и танцевать…

— У меня нет времени ни на выпивку, ни на танцы. Каждую ночь я должна выступать с джазовым оркестром.

— В таком случае вы — Лилиана Бэй, — сказал до сих пор молчавший пассажир, высокий светловолосый австриец, который говорил по-испански грубовато, но уверенно. — Я — хозяин «Черной жемчужины». Это я вас пригласил.

— Мистер Хансен?

Он без улыбки пожал ей руку. У него была белая кожа. Тропики не сумели ни согреть его, ни растопить лед голубых глаз.

Лилиана почувствовала, как эти трое невольно вторгаются в ее собственное восприятие Голконды, пытаются навязать ей такой образ Голконды, который ей неприятен. Доктор хотел, чтобы она обратила внимание на нуждающихся в помощи детей, американец желал отвратить от туризма, а хозяин «Черной жемчужины» делал все, чтобы превратить город в подобие ночного клуба.

Такси остановилось на заправочной станции. Невероятно толстый и много дней не бривший американец тяжело поднялся с гамака и подошел к ним.

— Привет, Сэм, — сказал доктор Эрнандес. — Как Мария? Почему ты не привез ее на укол?

Сэм окликнул женщину, чей силуэт смутно виднелся внутри пальмовой хижины. Она подошла к двери. Спина ее была перевязана длинной черной шалью, в которой, как в гамаке, покачивался ребенок.

Сэм повторил вопрос доктора. Она пожала плечами:

— Не было времени.

И позвала:

— Мария!

Мария отделилась от группы детей, игравших с лодочкой из скорлупы кокосового ореха. Она была очень мала для своего возраста, изящно сложена и миниатюрна, как почти все мексиканские дети. Под кистью мексиканских художников эти безупречно изваянные существа с крохотными ручками и ножками, с тонкими шеями и узкими талиями выглядели куда крупнее, чем были на самом деле, обретали жилы и мускулы великанов. Лилиане они казались нежными, хрупкими и стройными, а доктор считал их больными.

Инженер сказал Лилиане:

— Сэм приехал сюда двадцать лет назад строить мосты и дороги. Женился на местной женщине. Теперь уже ничего не делает, только спит и пьет.

— Это тропики, — сказал Хансен.

— Вы никогда не были в Бауэри, — сказала Лилиана.

— В тропиках все белые опускаются…

— Я слышала, но никогда в это не верила. Точно так же, как не верю в то, что все авантюристы — люди конченые. По-моему, подобные предубеждения — лишь выражение страха, страха перед чужой страной, перед авантюрой.

— Согласен с вами, — сказал доктор. — Белый человек, который опускается в тропиках, будет опускаться повсюду. Но в чужой стране белые заметнее, потому что их мало.

— К тому же на родине всегда найдутся люди, которые не позволят тебе опуститься. Родственники и друзья пресекут любую попытку. Начнут читать проповеди, нотации, будут угрожать, даже «спасать».

Австриец рассмеялся:

— Могу представить себе, какую поддержку вы получили бы здесь!

— А вы, мистер Хэтчер, уютно чувствуете себя в тропиках?

Хэтчер ответил серьезно:

— Я счастливый человек. Сумел научиться жить и чувствовать как аборигены.

— Значит, весь секрет в этом? Отчаявшимися,

одинокими, разрушающими себя становятся лишь те, кто не способен слиться с местными, стать такими, как они?

— Пожалуй, — задумчиво сказал доктор. — А может быть, причина тому американский культ работы. Работа — тот стержень, который вас держит. Работа, а не радости простой жизни.

Слова его сопровождались звоном гитар. Как только одна гитара смолкала, наплывали звуки другой, продолжая плести из музыки сеть, которая улавливает вас и спасает от грусти, покачивая и погружая в дурман вечного карнавала.

И подобно тому, как каждое дерево было осыпано гигантскими блестящими цветами, играющими хроматические гаммы, выводящими рулады и трели красного и голубого, так и люди, словно состязаясь с ними, наряжались в еще более насыщенные индиговые, пламенные оранжевые, платиновые белые и какие-то другие цвета, напоминающие цвет манго, телесные тона гранатов.

Дома были украшены вьющимися растениями, усыпанными цветами в форме колокольчиков. Звон гитар, доносившийся изнутри домов и с порогов, вторил игре красок и напоминал об аромате гуайявы, папайи, кактусовых фиг, аниса,

шафрана и красного перца.

Большие терракотовые кувшины, тяжело нагруженные ослы, тощие голодные собаки — все вызывало в памяти библейские образы. Все двери были распахнуты; Лилиана видела детей, спящих в гамаках, картинки из Священного Писания на белых оштукатуренных стенах, стариков в креслах-качалках, фотографии родственников, пришпиленные на стене рядом со старыми пальмовыми листьями, принесенными с праздника Пальмового Воскресенья.

Солнце садилось нарочито величественно, со всей помпой расшитых шелков и оранжевых гобеленов на восточные темы. Пальмы сохраняли свою обнаженную элегантность и, помахивая гигантскими султанами, словно перьевыми метелками, очищали тропическое небо от пылинок облачков, чтобы оно стало чистым, как морская раковина.

В ресторанах предлагали ужин на свежем воздухе. На длинном общем столе стояла большая чаша с ухой и жареная рыба. Люди в домах зажигали масляные лампы, мерцавшие куда жизнерадостнее, чем свечи.

Доктор говорил о болезнях:

— Пятнадцать лет назад здесь действительно

было опасно. Малярия, дизентерия, слоновая болезнь и масса других болезней, о которых вы и не подозреваете. До моего приезда здесь не было ни одной больницы, ни одного врача. Пришлось в одиночку сражаться с дизентерией и отучать местных жителей спать вместе со скотиной.

— Как вы сюда попали?

— В Мексике студенты-медики обязаны в течение года проходить преддипломную практику в любом маленьком городишке, где в них есть нужда. Когда я приехал сюда, мне было восемнадцать. Я был лишен чувства ответственности, меня раздражало, что приходится заботиться о рыбаках, которые не могут ни читать, ни писать, ни соблюдать необходимые предписания. В свободное время я читал французские романы и мечтал о недоступной мне жизни в большом городе. Но постепенно полюбил своих рыбаков и, когда год прошел, решил остаться.

Глаза местных людей горели жизнью. Подобно жителям Востока, они сидели на корточках возле широких корзин, наполненных фруктами и овощами. Фрукты при этом не были небрежно разбросаны, а сложены каким-то причудливым персидским узором. С балок свешивались гирлянды перца-чили, который пробуждал их от

снов, порожденных запахами, ритмами и теплом, ниспадавшими с неба пушистым одеялом. С наступлением сумерек температура не упала, а воздух оставался по-прежнему мягким.

Отовсюду лилась музыка. Не только звучание гитар. Это была музыка тел — бесконечный ритм жизни. Во всем чувствовался ритм: и в том, как женщины поднимали на голову кувшин с водой и шли с ним, и в том, как пастухи погоняли овец и коров. Не только климат, но и сами люди источали страстную жизнь.

Хансен глядел в окно такси с отрешенным и скучающим видом. Он не видел людей, не замечал детей, чьи черные волосы с прямыми челками и чуточку раскосые глаза порой делали их похожими на японцев. Он расспрашивал Лилиану об артистах. Каких артистов из Нью-Йорка, Парижа и Лондона ему следует пригласить в «Черную жемчужину».

Гостиница стояла на вершине холма. Главное здание и несколько маленьких коттеджей, скрытых оливами и кактусами. Отсюда было видно, как огромные буруны попадали в ловушки скальных расщелин и метались в своей тюрьме, устрашая артиллерийскими раскатами. Они то и дело штурмовали два узких прохода, взметая

пену высоко в воздух, словно негодуя на свои неудачи.

Портье за стойкой был в розовой шелковой рубашке, как будто регистрация гостей и выдача ключей являлись частью карнавала. Вышел управляющий и протянул руку так покровительственно, словно уже одна его неимоверная тучность позволяла ему ощущать себя патриархом. Он сказал:

— Сегодня вы свободны и можете отдохнуть. Играть будете завтра. Видели афиши?

Он подвел ее к входу, где с увеличенной фотографии на нее смотрела какая-то абсолютно незнакомая женщина. Она никогда не узнавала себя на афишах. Подумала: выгляжу как безумная.

На площадке на приподнятом участке скалы возле гостиницы продолжались танцы. Музыка то и дело прерывалась: ветер уносил прочь отдельные звуки, шум моря поглощал другие, и потому фрагменты мамбо напоминали музыку Эрика Сати. Казалось, пары танцуют, подчиняясь то музыке, то силе некого тайного притяжения.

Босой мальчик нес вещи Лилианы по извилистым дорожкам. Лилиана шла за ним, и цветы мягко касались ее лица. Когда они стали под-

ниматься вверх, музыка и шум моря зазвучали отчетливее. Коттеджи были прихотливо размещены на выступах скал, упрятаны в тростнике, скрыты цветами бугенвиллий. Мальчик остановился возле домика, крытого пальмовыми листьями.

Перед домом располагалась длинная мощенная плиткой терраса, поперек которой висел пеньковый гамак. Стены в комнате были побелены, а из мебели имелись лишь кровать, стол и стул. Гигантским зонтом над домом нависало огромное дерево с листьями в виде веера. Заходящее солнце и восходящая луна окрашивали все вокруг в переменчивые цвета ртути.

Когда Лилиана открыла ящик стола, оттуда шмыгнула мышка, строившая там гнездо из лепестков магнолии.

Лилиана приняла душ и торопливо оделась, боясь, что красота и бархатная мягкость ночи не будут вечны и, если она промедлит, сменятся холодом и резкостью. Она надела свое единственное платье, гармонировавшее с яркими цветами, — оранжевое хлопчатобумажное. Потом отодвинула раздвижную ширму. Стояла все та же ясная ночь, наполненная тропическим шепотом, словно листья, птицы и морской бриз

обладали неведомой северным странам музыкальностью, как будто само богатство ароматов заставляло их напряженно жить.

Плитки под босыми ногами были теплыми. Аромат духов, которыми она побрызгалась, заглушали более сильные запахи гвоздики и жимолости.

Лилиана снова отправилась на большую террасу, где отдыхавшие в шезлонгах люди поджидали кто знакомых, а кто ужин.

Небосвод напоминал огромных размеров холст, на котором люди, как бы они ни старались, не могли воспроизвести себя, ибо показались бы слишком крохотными и потому абсурдными.

Лилиана чувствовала, что мощь природы здесь столь велика, что готова поглотить ее целиком. Это и есть наркотик забвения. Люди здесь казались теплее и ближе, как казались ближе звезды и теплее луна.

Могучая оркестровка моря уносила половину произнесенных слов, отчего разговор и смех казались случайным аккомпанементом, вроде пения птиц. Слова стали невесомыми. Интенсивность красок заставляла их парить в воздухе, как воздушные шарики, а бархатная фактура атмосферы делала их, как и цветы, чисто декоративными.

Они утрачивали свой абстрактный смысл и воспринимались исключительно органами чувств, распознававшими лишь касания, запахи и видимые образы, и потому все сидевшие в шезлонгах люди становились частью некой ожившей фрески. Шоколадное плечо, выглядывающее из белого платья, прозрачная улыбка на загорелом лице, напряженные мышцы смуглой ноги казались куда выразительнее, чем голоса.

Спектакль преувеличений, подумала Лилиана, и он мне по душе. Я ведь всегда любила преувеличивать, создавать вокруг себя атмосферу, которая меня бы устраивала — хотела, чтобы цветы были крупными, слова — теплыми, отношения — страстными. Природа делает это здесь за меня, создает ту атмосферу, в которой нуждается моя душа я могу наконец расслабиться, отдохнуть. Это наркотик… наркотик…

Почему многие боятся тропиков? «Все авантюристы плохо кончают». Но, быть может, лишь потому, что они не сумели преодолеть себя и превратить жизнь своего сознания в жизнь чувств? Они умирали, когда природа переполняла их сознание, даже если, не колеблясь, пытались растворить ее в алкоголе.

Голконда убаюкивала, но Лилиана не могла

забыть о нескольких тайнах, мешающих ее грезам. Одну из них она назвала «печалями доктора Эрнандеса». Другая была связана с вопросом, почему все добровольные изгнанники плохо кончили (если их конец действительно был плохим, в чем она не была уверена). Со своего места она увидела, что появился доктор с врачебным саквояжем. Он оставил саквояж на столике и подошел прямо к Лилиане, словно искал ее.

— Вы еще не ужинали? В таком случае приглашаю вас на ужин. Давайте отправимся в «Черную жемчужину», и вы познакомитесь с местом, где вам предстоит каждый вечер выступать.

«Черная жемчужина» была построена из сплавного леса: целая серия нависающих над морем террас. Красные судовые фонари освещали джаз-оркестр, игравший для нескольких танцующих пар.

Шипение моря уносило прочь некоторые обертона, и потому ритм большого барабана казался мощным, будто пульсировало чье-то гигантское сердце. Капризные ритмы, ироничные звуки, задумчивые вздохи тромбона возникали и исчезали, как морские брызги. А музыканты, словно зная все это, повторяли свое восхождение по невидимым антеннам в бескрайние просторы

неуловимых радостей и сводили на нет свои печали темпом и полетом, отфильтровывая летучие эссенции и оставляя в осадке кровавый барабанный стук.

Доктор посмотрел на нее:

— Я напугал вас своими разговорами о болезнях?

— Нет, доктор Эрнандес, болезни меня не пугают. Я имею в виду телесную боль. Моя болезнь, от которой я понемногу выздоравливаю, в Голконде неизвестна. Впрочем, она тоже не из числа приятных.

Она произнесла эти слова легко, но на гладком лице доктора прорезались морщинки беспокойства. Беспокойства? Страха? Она не сумела прочесть ничего по его лицу, хранившему неподвижность индейской скульптуры. Даже когда кожа сморщилась, словно от судороги, в глазах его ничего не отразилось и кривая усмешка не исчезла.

Лилиана невольно спросила:

— Вы несчастны? С вами что-то не в порядке?

Она знала, что опасно задавать вопросы тем, кто привык сам их задавать, привык быть хозяином положения (и точно так же Лилиана знала, что те, кому по роду занятий приходится быть

утешителями, руководителями, целителями, чувствуют себя крайне неуютно, оказавшись в обратной ситуации). Тем не менее она рискнула.

Он ответил со смехом:

— Нет, что вы! Но если я интересен вам в качестве несчастного, я готов им быть. С моей стороны бестактно было говорить о болезнях в месте, созданном для наслаждений. Я едва не испортил вам удовольствие. А ведь, если я не ошибаюсь, вы им совсем не избалованы. Вы — из числа тех, кто его недополучил. Те, кто перекормлен удовольствием, вызывают у меня, не знаю почему, тошноту. Я буду только рад, если они подцепят дизентерию или получат солнечный ожог. Но вы имеете право на… удовольствие… вы его почти не знали.

— Не думала, что это так очевидно!

— Совсем не очевидно. Позволю себе заметить, что я весьма проницательный человек. Привычка ставить диагнозы. Вы кажетесь свободной, здоровой, жизнеспособной.

— Диагностическое ясновидение?

— Вроде того. А вот и наш профессиональный поставщик удовольствий. Он может оказаться вам полезнее, чем я!

Хансен присел рядом с ними и, рисуя на бумаж-

ной салфетке, принялся объяснять:

— Вот здесь я хочу добавить еще одну террасу, а вот здесь освещу прожекторами деревья и ныряльщиков. Еще я поставлю прожектора вокруг статуи Девы Марии, и все будут видеть, как мальчишки молятся, прежде чем нырнуть.

Взгляд его был холодным, начальственным. Море, ночь, ныряльщики — в его глазах все это принадлежало ночному клубу. Древнему обычаю молиться перед тем, как прыгнуть на сто футов вниз, в узкое скалистое ущелье, предстояло стать частью аттракциона.

Лилиана отвернулась от него и прислушалась к джазу.

Джаз был музыкой тела. Дыхание, проходившее через алюминиевые и медные трубы, было дыханием тела, а причитания и стенания струн — эхом музыки тела. Вибрация, возникающая из-под пальцев, была вибрацией тела. А тайна мелодии, известная только музыкантам, — тайной нашей сокровенной жизни. Мы дарим другим всего-навсего побочные импровизации. Сюжеты и темы музыки похожи на сюжеты и темы нашей жизни, никогда не воплощаемые в слова, безымянные, существующие в виде волнующей и ошеломляющей, возбуждающей и повергающей

в отчаяние музыки.

Лилиана непроизвольно повернулась к Хансену, но того уже не было, и тогда она, взглянув на доктора, сказала:

— Какое наркотическое место…

— Существует много разных наркотиков. Одни для запоминания, другие — для забвения. Голконда — для забвения. Порой нам кажется, что мы забыли какого-то человека, какое-то место, образ жизни, свое прошлое, и однако же то, что мы делаем в жизни, — всего лишь отбор новых актеров, чтобы разыграть все ту же старую драму, чтобы создать максимально точную копию друга, любовника или мужа, которого мы так отчаянно стараемся забыть. Но однажды мы открываем глаза и что же видим? Мы в сетях все той же схемы, мы повторяем ту же самую историю. А разве может быть иначе? Схема-то исходит из нас самих. Она внутри нас.

В глазах Лилианы стояли слезы. Так внезапно столкнуться не с новым, прекрасным, наркотическим местом, а с мужчиной, настойчиво пытающимся проникнуть в тайны человеческого лабиринта, из которого она бежала! Эта настойчивость ей не понравилась. Нужно уважать желание ближнего не иметь прошлого! Но

куда мучительнее было его убеждение в том, что наша жизнь — всего лишь череда репетиций, повторяющихся до тех пор, пока не закончится эксперимент и задача не будет решена, понята, отброшена…

— Вы не успокоитесь до тех пор, пока не отыщете в незнакомом знакомое. Будете слоняться, как все эти туристы, в поисках запахов, напоминающих вам о доме, мечтать не о текиле, а о кока-коле, не о папайе, а об овсянке. А потом наркотик перестанет действовать. Вы обнаружите, что, не считая некоторых отличий в цвете кожи, обычаях и языке, вы вновь связаны с людьми точно того же типа, что и раньше, ибо все исходит из вас, вы сама плетете эту сеть.

Люди вокруг танцевали, подчиняясь ритму, и были похожи на льнущие друг к другу и покачивающиеся водоросли. Разноцветные юбки пышно развевались, а белые костюмы мужчин смотрелись как строгое обрамление цветочных узоров, созданных женскими платьями, прическами, украшениями и лаком на ногтях. Ветер старался увлечь их прочь от оркестра, но они оставались как бы привязанными к нему, наподобие японских воздушных змеев, и двигались, управляемые звуками.

Лилиана заказала еще порцию выпивки. Но, выпив, поняла, что одна из капель ясновидения доктора все-таки попала в ее бокал, ибо кое-что из сказанного уже подтвердилось. Первый же друг, которым она обзавелась в Голконде, отдав ему предпочтение перед инженером и хозяином ночного клуба, очень напоминал, по крайней мере по своей роли, одного ее знакомого, которого она прозвала Детектором лжи. Несколько месяцев этот человек жил в компании художников, без малейших усилий выуживая из них пространные исповеди и исподволь меняя ход их жизни.

Чтобы не поддаться вызову доктора, она решила воспользоваться его же оружием:

— Но ведь и вы тоже что-то репетируете — сейчас, со мной? Тоже оставили кого-то в прошлом?

— Моя жена ненавидит это место, — прямо ответил доктор. — И очень редко сюда приезжает. Большую часть времени проводит в Мехико под тем предлогом, что детям надо ходить в школу. Она ревнует меня к пациентам, говорит, что они только притворяются больными. И в этом она права. Туристы за границей невероятно всего боятся, и больше всего — незнакомого. Они просят меня убедить их в том, что отрава непривычного — чужая пища, экзотические запахи, укус

неизвестного насекомого — не смертельна. Они зовут меня по малейшему поводу, часто просто из страха. Но так ли прост их страх? Местные пациенты тоже отчаянно нуждаются во мне… Я построил жене прекрасный дом, но так и не сумел ее здесь удержать. А я люблю это место, люблю этот народ. Все, что я создал, находится здесь. Больница — дело моих рук. Если я уеду, торговцы наркотиками совсем обнаглеют. До сих пор я хоть как-то держал их под контролем.

Расспросы доктора больше не возмущали Лилиану. Конечно же он страдал, и именно это позволяло ему быть чутким к чужим невзгодам.

— Очень болезненный конфликт, — сказала она. — И разрешить его нелегко.

Она хотела сказать больше, но ее прервал босоногий мальчишка-посыльный, который срочно прибежал за доктором.

Лилиана и доктор сидели в каноэ ручной работы. Под давлением человеческой руки на рукоять ножа в выдолбленном изнутри бревне остались неравномерные впадины, которые улавливали свет, как створки морской раковины. Солнечные блики на верхнем краю впадин и тени на их дне придавали поверхности каноэ пуантилистский

вид: словно множество пятен сошло с импрессионистской картины и двигалось по зыбкой водной ряби в окружении меняющихся оттенков.

Рыбак легко направлял каноэ по водам лагуны, окраска которой переходила от темной сепии краснозема на дне лагуны и серебристо-серого, венчавшего торжество красок кустарника над цветом земли, к золотому, заливавшему все вокруг, когда солнце покоряло все остальные краски, вплоть до пурпурного цвета в тени.

Рыбак греб одной рукой. Второй руки он лишился, когда был еще совсем юным, семнадцатилетним, и только-только начал использовать для рыбной ловли динамит.

Когда-то каноэ было окрашено в цвет подсиненного белья, но этот цвет постепенно исчез и превратился в грязно-синий цвет древних фресок майя, тот самый синий цвет, создать который способно только время, но не человек.

Деревья по берегам лагуны выставляли свои обнаженные, похожие на сваи корни, замысловатый лабиринт серебряных корней. Внизу они расплывались под водой, а над водой переплетались и, отбрасывая тени, так плотно нависали над носом каноэ, что Лилиана с трудом могла представить, как они раздвинутся и позволят им

проплыть.

Изумрудные побеги и ветви торчали из осиных гнезд, вьющихся стеблей и лиан. Ветви над головой Лилианы выстраивались в металлические зеленые параболы, складывались в эмалевые подвески, а проплывавшие под ветвями каноэ и ее собственное тело демонстрировали чудеса ловкости, плавно пробираясь сквозь корни и густые заросли.

Лодка, покачивая водяные растения и украшенные длинными султанами травы, плыла в отражении облаков. Отсутствие видимой земли вызывало у Лилианы ощущение, будто лес растет на плаву, как иллюзорный зеленый архипелаг.

Белоснежные аисты и розовые, словно раковины, фламинго медитировали, стоя на одной ноге, как настоящие йоги животного мира.

Изредка ее взгляд падал на одинокие жилища, эфемерные хижины из пальмовых листьев, водруженные в воду на зыбких сваях, и на каноэ, привязанные к игрушечного размера причалам. Перед каждой хижиной, поглядывая на проплывающих мимо Лилиану и доктора, стояла какая-нибудь улыбающаяся женщина и несколько голых ребятишек. На фоне непроницаемого задника листвы они смотрелись так, словно лес

позволил им, вместе с бабочками, стрекозами, жуками и попугаями, занять только эту крохотную опушку. Выставленные напоказ гигантские корни деревьев, между которыми стояли дети, напоминали пальцы ног Гулливера.

Как-то, когда каноэ подплыло к берегу, Лилиана заметила на полоске илистого берега следы крокодила, приползавшего сюда утолить жажду. Чешуйчатая кожа игуан в точности совпадала по цвету с пепельными корнями и стволами деревьев, так что она замечала их только тогда, когда они начинали двигаться. Если игуаны не двигались, они лежали неподвижно, как камни на солнце, словно и впрямь окаменели.

Каноэ мягко раздвигало ленивый водяной латук, орхидеи, магнолии и гигантские клеверообразные листья.

Путешествие по воде — прямая противоположность тому навязчивому сну, от которого Лилиана пыталась освободиться, сну о лодке, то большой, то маленькой, но неизменно застревающей в каком-нибудь безводном месте: среди улиц, в джунглях, в пустыне. Когда ей снилась большая лодка, это обязательно были городские улицы, ее борта доходили до верхних этажей домов. Лилиана сидела в ней и понимала, что лодка

никуда не поплывет, если не столкнуть ее с места, и тогда она спускалась вниз и принималась толкать лодку в надежде, что та сдвинется с места и в конце концов достигнет воды. Толкая лодку по улицам, она прилагала неимоверные усилия, но без толку. По булыжнику и асфальту лодка почти не двигалась, и Лилиана понимала, что никакое напряжение сил не поможет ей достичь моря. Если лодка была маленькой, толкать было чуть легче, но все равно она не могла добраться ни до озера, ни до реки, ни до моря, где лодка подняла бы наконец парус и поплыла. Однажды ей приснилось, что лодка зажата между скалами, в другой раз она увязла в илистом берегу.

Сегодня Лилиана была абсолютно уверена в том, что сон о толкании лодки по безводным улицам покинул ее раз и навсегда. В Голконде она обрела жизнь на плаву, отправилась в путешествие по воде. И дело не просто в обилии воды, но в текучем ритме аборигенов, которые никогда не попадали в сеть прошлого и не застывали на месте в унылом ожидании будущего. Как дети, они жили исключительно настоящим.

Лилиана читала, что правители Египта верили, что после смерти они присоединятся к каравану небесных ладей, совершающему бесконечное

путешествие к Солнцу. Ученые обнаружили в подземной известняковой камере две лодки, которые с помощью древних текстов и погребальных изображений отождествили с небесными ладьями. Камера была так плотно запечатана, что в ней не обнаружили ни пыли, ни паутины. У египтян было две ладьи — для ночного путешествия к Луне и для дневного путешествия к солнцу.

Эти путешествия словно увековечились в ее снах, где лодок тоже было две: одна — замурованная в известняке и неспособная плыть по безводным дорогам тревоги, другая — свободно влекомая бесконечным течением жизни. Неподвижная лодка была обречена путешествовать по воспоминаниям, плывущую — ожидали бесчисленные открытия.

Этому каноэ, думала Лилиана, погружая руку в воду лагуны, суждено стать моей солнечной ладьей, пронизанной силами солнца и воды, вращающейся и плывущей безо всякого напряжения и усилий.

Доктор, кажется, тоже думал об иных местах. Возможно, о Мехико, где жила его жена? Или о трех своих маленьких детях? О прошлом? О студенческих годах, проведенных в Париже и

Нью-Йорке? О первом поэтическом сборнике, опубликованном, когда ему едва исполнилось двадцать?

Лилиана улыбнулась ему, как бы говоря: вот и ты совершил тайное путешествие в прошлое. И тут они оба вернулись в настоящее.

Лилиана сказала:

— У этой местности есть какая-то особенность, не связанная непосредственно с ее красотой. Какая именно? Быть может, мягкость, которая уничтожает все мысли и баюкает тело ради чистого наслаждения? Или постоянное звучание музыки, не позволяющее мыслям нарушить течение жизни? Я видела разные деревья, разные реки — они совершенно не затрагивали мои чувства. Вы это чувствуете? А остальные? Не это ли чувство заставляет путешественников по южным морям не возвращаться домой?

— Оно не на всех действует одинаково, — с горечью в голосе сказал доктор, и Лилиана поняла, что он имеет в виду свою жену.

В чем состояла тайна жизни доктора Эрнандеса? В жене, которую он так и не смог заставить полюбить тот город и ту жизнь, которые любил сам?

Лилиана ждала, что он что-нибудь скажет, но

он молчал, и лицо его снова стало совершенно спокойным.

Она вдруг поняла, что должна вынуть из воды ладонь, которую до сих пор держала там, чтобы ощущать скольжение и ничем не нарушаемую мягкость течения, убеждающие ее в реальности единения с потоком жизни. Надо вынуть руку, чтобы дать понять доктору, что она разделяет его тревогу, и что его печаль передалась ей. Сострадая ему, она отказалась от удовольствия касаться потока воды, который казался ей равным потоку жизни внутри нее самой.

Она вынула руку и стала ждать, пока с нее стекут последние капли, как вдруг раздался выстрел и ее обрызгало водой. Ошеломленные, все трое замерли.

— Охотники? — спросила Лилиана. Она хотела встать, закричать и помахать охотникам, предупредить их, что здесь люди.

Доктор спокойно ответил:

— Нет, не охотники. Это не случайность. Стреляли в меня, но промахнулись.

— Но почему? За что? Вы же здесь самый нужный, самый обожаемый человек!

— Я отказываюсь давать им наркотики. Понимаете? Как врач, я имею доступ к наркотикам.

Они хотят заставить меня доставать им наркотики. Наркотики для забвения. Но я не имею права делать это, не имею права, разве что в случае невыносимой физической боли. Вот почему, когда вы сравнили Голконду с наркотиком, я почувствовал горечь. Кое для кого Голконды уже не хватает.

Рыбак не понимал их разговора на английском языке. Он сказал по-испански, с безропотным видом:

— Плохие охотники. Не попали в крокодила. Я-то могу поймать его голыми руками, с одним ножом. Я часто так делаю. Безо всяких там ружей. Тоже мне охотники!

Плавательный бассейн находился в нижнем ярусе гостиницы, футах в десяти над морем, поэтому там постоянно слышался оглушающий рокот обрушивающихся на прибрежные скалы волн. Бассейн напоминал не столько пруд, сколько миниатюрный залив, окруженный скалами, которые чудесным образом на несколько мгновений охраняли его от бурного моря. Он казался не искусственно созданным сооружением, зацементированным и наполняемым водой по трубам, а одной из присущих морю причуд, реакцией моря, то возникающей, то исчезающей гаванью.

Бассейн был окружен тяжелой, словно лакированной листвой и цветами, которые опадали под собственной тяжестью с тоненьких, слабых цветоножек в воду, где дрейфовали среди пловцов, как крохотные детские кораблики.

Это был остров теплой, безопасной воды. Впрочем, один человек попытался найти здесь ответ на вечный вопрос, выбросившись в бассейн с верхнего этажа отеля. С тех пор на ночь бассейн запирали. Те, кто знал, что сторож обожает поглазеть на танцующих на площадке, а через калитку нетрудно перелезть, приходили сюда перед сном. Место было закрыто для шумных развлечений, но открыто для тайных свиданий после танцев.

Лилиана любила посидеть здесь перед сном. Мягкость воды и ее тепло создавали ту убаюкивающую атмосферу, которой ей так не хватало при переходе из детского возраста во взрослый.

Она испытывала подспудную потребность получить подтверждение того, что мир исполнен кротости и тепла, а не холода и жестокости, как могло бы показаться днем. Такое подтверждение не убеждает взрослых, поэтому Лилиана никому не говорила о том, какую роль стал играть в ее жизни плавательный бассейн. Сходную роль сыграл когда-то ночной сторож, которого она

десятилетней девочкой слышала в Мехико, где жила, пока ее отец строил мосты и дороги. Городской сторож, персонаж Средневековья, шагал по ночным улицам и громогласно возвещал:

— Все хорошо, все спокойно. Все хорошо!

Прежде чем заснуть, Лилиана дожидалась, пока он пройдет мимо. Какие бы невзгоды ни приходилось переносить днем, какие бы происшествия ни случались в школе, на улице и дома, она знала, что придет время, когда ночной сторож двинется в путь по темным улицам города, раскачивая своим фонарем и монотонно выкрикивая:

— Все хорошо, все спокойно, все мирно!

Она засыпала мгновенно, но только после того, как раздавался этот крик и до нее доносилось побрякивание ключей, а отблеск фонаря сторожа скользил по стене комнаты.

Все, кто приходил ночью к бассейну, были членами тайного братства нарушителей закона и похитителей удовольствия. Им приятно было предвкушать тот момент, когда гостиничный сторож появится на верхней ступеньке длинной лестницы. Они знали, что его голос все равно будет заглушаться шипением моря, знали и то, что он слишком ленив, чтобы спускаться вниз, а просто отключит свет, считая, что этого вполне

достаточно, чтобы разогнать нарушителей. К тому же сторож полагал, что если заставит их плавать в темноте, а потом на ощупь искать дорогу из бассейна, это будет для них не наказанием, а дополнительным удовольствием.

В темноте еще сильнее ощущаются нежность ночи, пульсация жизни в мышцах, наслаждение от движения. Возникающее молчание становится молчанием заговора. В этот час каждый отбрасывает прочь цинизм и презрение и говорит так, словно явился из царства невинности, спасшегося от коррозии условностей.

Доктор обычно приходил в бассейн, оставляя свой врачебный саквояж у портье. Он делал вид, что забыл о том, что всем нужен, и теперь выкроил немного времени для удовольствия и досуга. Но Лилиана догадывалась, что он не перестает при этом ставить диагнозы. Казалось, он вообще не верит в то, что кто-то может не чувствовать боли, и не успокоится до тех пор, пока не ткнет пальцем в место ее средоточия.

Лилиана сидела в белом плетеном кресле, похожем на сплющенную арфу, и рассеянно играла белыми шнурами, как бы сочиняя песню.

Доктор посмотрел на нее и сказал:

— Никак не могу решить, какой из двух нар-

котиков вам нужен: для забвения или для запоминания?

Лилиана покинула арфоподобное кресло и соскользнула в бассейн, где тут же легла на спину, стараясь не шевелиться.

— Голконда — для забвения, и это именно то, что мне нужно, — сказала она, смеясь.

— Некоторые воспоминания застревают в теле, как осколки, — сказал доктор. — Чтобы избавиться от них, приходится делать операцию.

Она нырнула под воду, не желая его слушать, но потом приблизилась к тому месту, где он сидел, и сказала:

— Неужели я кажусь вам человеком с осколком в теле?

— Вы ведете себя как беглянка.

Лилиане не понравилось, что это слово ее задело. Она снова нырнула в глубину, словно пытаясь очистить тело от всех воспоминаний, смыть с себя прошлое. Вернулась блестящая, гладкая, но все равно не свободная. Слово вошло в нее и вызвало в груди неприятное ощущение, как от нехватки кислорода. Поиск правды напоминал ныряние исследователя глубоко под воду или подъем на невероятную высоту. Неважно, опускаешься ты вниз или поднимаешься вверх, все

дело в кислороде. Затруднение дыхания вызывал любой чужой мир — любой, кроме знакомого и нейтрального. Вероятно, по этой причине для каждой новой сферы опыта мистики разрабатывали специальные системы дыхания.

Тяжесть в груди заставила ее выбраться из бассейна и присесть рядом с доктором, смотревшим вдаль, на море.

Как можно нежнее и с надеждой растопить его серьезность, она сказала:

— Когда-то я так стыдилась петли на чулке, что из-за этого весь вечер не могла решиться потанцевать…

— Сомневаюсь, что дело было в петле…

— Вы имеете в виду… что я стыдилась… что я чего-то стыдилась…

— Если бы вы не стыдились других вещей, вас бы ни за что не взволновала какая-то там затяжка на чулке!

— Я не могла ни описать, ни понять то, что чувствую. Я слишком долго жила в мире импульсов и чего-то желала, не зная для чего, что-то разрушала, не зная зачем, что-то теряла, не зная почему. Получала удары, мучила себя и других… Это было ужасно, напоминало джунгли, из которых нет выхода. Настоящий хаос.

— Хаос — обычное убежище беглецов. Вы бежите от правды?!

— Зачем вы заставляете меня помнить? Красота Голконды такова, что ее невозможно запомнить.

— В восточных религиях верят в то, что каждый человек приходит на границу двух миров с багажом накопленного им в течение жизни на земле. И в зависимости от того, что обнаружат в багаже небесные стражи, его отправят либо в царство нового опыта, либо назад в тот мир, откуда он пришел, чтобы он снова пережил ту же самую драму. Бесконечное повторение можно прекратить только в том случае, если прежний опыт будет осознан и преодолен.

— Вы думаете, я обречена на бесконечное повторение? Считаете, что не покончила с прошлым?

— Возможно, если вы не знаете, от чего бежите.

— Доктор, я вам не верю. Я убеждена, что могу начать здесь все заново.

— И снова погрузитесь в хаос, и этот хаос напоминает джунгли, вроде тех, что мы видели с лодки. Кроме того, это ваша дымовая завеса.

— Но я чувствую себя по-новому…

Выражение лица доктора было растерянным, словно он усомнился в первоначальном диагно-

зе. Или то, что ему стало известно про Лилиану, настолько его ошеломило, что не хотелось ее пугать? Совершенно неожиданно для нее он передернулся от слов «по-новому», потом снисходительно улыбнулся, пожал плечами, словно ее красноречие его убедило, и наконец произнес:

— Возможно, на сцене просто переменили декорации.

Лилиана внимательно осмотрела бассейн, море, растения, но не обнаружила в них и отдаленного подобия декорациям. Они были насыщены всепроникающими сущностями, подобно новейшим лекарствам, изменяющим химический состав тела. Мягкость проникала в нервы, красота окружала и обволакивала мысли. Казалось невероятным, чтобы в подобном месте повторился узор ее прошлой жизни, чтобы вновь, как предрекал доктор, появились те же самые лица. Неужели «Я», пребывающее за гранью видимого, и в самом деле выбирает одних и тех же персонажей, стремясь лишь с самыми незначительными вариациями воспроизвести все ту же непреложную драму, как это бывает с опытным актером при скудном репертуаре?

Как раз тогда, когда Лилиана обрела уверенность в том, что тропики способны изменить

характер, появилось сразу несколько человек, совсем не похожих на тех, кого она оставила в прежней стране и которых она восприняла с тем большим удовольствием, что они были подарками Голконды, призванными излечить ее от давних дружб, любовей и мест.

Первым был Фред — любитель путешествий автостопом, студент Чикагского университета. В Голконде он работал при гостинице переводчиком писем от возможных гостей. Лилиана прозвала его Крисмас, Рождество, потому что при виде чего-нибудь ему симпатичного — будь то медного цвета восход, птица фламинго, мексиканская девушка в белом накрахмаленном платье или куст бугенвиллии в пору цветения, — он неизменно восклицал:

— Как в Рождество!

Он был высоким и светловолосым, слишком неуверенным в движениях, словно не знал наверняка, его ли это руки и ноги. Он находился в том юношеском возрасте, когда тело стесняет тебя и хочется выбраться из него, как из раковины. Будучи вполне осведомленным в механике жизни, он не научился ею наслаждаться. Жизнь оставалась для него инициацией, тяжким испытанием. Он принадлежал нордическому полуночному

солнцу; тропическое солнце не смогло позолотить его кожу и лишь усыпало ее веснушками. Временами Фред напоминал белокурого ангела, только что вернувшегося с черной мессы. Улыбка его была вполне невинной, однако ему наверняка снилось, как он снимает одежды с ангелов и мальчиков из церковного хора и занимается с ними любовью. Его улыбка напоминала легкую ухмылку Пана, глазам открывались бескрайние просторы пустыни, разделяющие людей, а рот не мог скрыть ту внутреннюю дрожь, которую юноша испытывал, когда к нему кто-то приближался. Глаза Фреда говорили: «Не подходи слишком близко!», тело излучало тепло, а сжатые и контролируемые губы выдавали робость.

Все новое искренне удивляло Фреда, но оказывалось лишь напоминанием о детстве, когда-то дарившем ему безмерную радость. Всякий день был для него днем Рождества. Черепашьи яйца на обед были подарком от мексиканцев, а пропитанный ромом вскрытый кокосовый орех — конфетой нового сорта.

Больше всего юношу тревожило возвращение домой. У него было слишком мало времени, чтобы возвращаться автостопом: сюда он добирался целый месяц. Денег не было, поэтому Фред решил

оплатить обратную дорогу работой на грузовом судне.

Все предлагали ему помощь, хотели продлить ему Рождество. Но уже через неделю после приезда он начал расспрашивать о сухогрузах, которые могли бы отвезти его домой, чтобы он успел вовремя закончить колледж, и к Шелли, девушке, с которой он был обручен.

При этом Фред объяснял, что причиной спешки была вовсе не Шелли. Именно из-за нее он и решил провести лето в путешествиях автостопом. Он был обручен, но боялся. Боялся своей девушки. Ему еще нужно было время — время для приключений, время для того, чтобы стать мужчиной. Да, стать мужчиной. (Он всем показывал фотографию Шелли: в ее курносом носике, улыбке и мягких волосах не было ничего пугающего.)

Лилиана спросила его:

— Почему же сама Шелли не поможет тебе стать мужчиной?

Фред пожал плечами:

— Девушка не в силах помочь юноше стать мужчиной. Я должен почувствовать, что стал мужчиной, до того, как женюсь. Я ведь не знаю ничего о себе… о женщинах… о любви… Я был уверен, что эта поездка поможет мне, но оказалось,

что я боюсь девушек. Значит, дело не в Шелли.

— А в чем разница между девушкой и женщиной?

— Девушки смеются. Смеются над тобой. Это единственное, чего я не выношу. Терпеть не могу, когда надо мной смеются.

— Они смеются вовсе не над тобой, Крисмас. Они смеются, чтобы скрыть собственный страх, чтобы выглядеть свободными и легкими или чтобы ты не подумал, будто они относятся к тебе слишком серьезно. Наконец, они смеются от удовольствия, стараются тебя приободрить. Представь себе, что было бы, если бы они не смеялись, а смотрели сурово и заставляли тебя думать, что их судьба в твоих руках, что это вопрос жизни и смерти. Ведь это напугало бы тебя гораздо больше, не правда ли?

— Конечно.

— Хочешь, я скажу тебе правду?

— Хочу. Вы умеете говорить так, что мне не кажется, будто вы надо мною смеетесь.

— Если… ты попытаешься стать мужчиной до того, как женишься на своей девушке, может оказаться, что она любила тебя как юношу… что она любит тебя таким, какой ты есть, а вовсе не таким, каким ты станешь. Если ты изменишься,

она, может статься, будет любить тебя меньше.

— Почему вы так думаете?

— Потому что, если бы ты действительно хотел измениться, ты бы не стремился так настойчиво уехать. Твой ум зациклен на расписании сухогрузов!

Когда он впервые появился в бассейне, Лилиана почти зримо представила, как он несет в руках оба своих столь противоречивых желания: в одной руке — одно желание, в другой — другое. Но пока он пытался жонглировать ими, он не чувствовал боли от отсутствия жизни, не был парализован.

Фред с благодарностью улыбался Лилиане. А Лилиана думала о том, что первобытные люди были куда мудрее нас, организуя свои ритуалы: в такой-то, определенный календарем день мальчик становился мужчиной.

Между тем Фред всю свою энергию тратил на собственные ритуалы: он должен стать мастером по катанию на водных лыжах, чемпионом по плаванию и нырянию, передать мексиканцам свое понимание джаза, превзойти всех в бесконечных танцах, не прерываясь даже на сон.

Лилиана говорила:

— Страхи терпеть не могут, когда над ними

смеются. Возьми все свои страхи, один за другим, и составь из них список, взгляни им в лицо, отважься бросить им вызов. И тогда большинство страхов исчезнет. Чужие женщины, неизвестные страны, непривычная пища, неведомые болезни…

Пока Фред раз за разом добросовестно нырял в бассейн, появилась Диана.

Диана впервые приехала в Мексику, когда ей было семнадцать и она выиграла конкурс на стипендию в школе живописи. Но получилось так, что она осталась, вышла замуж и купила в Голконде дом. Большую часть времени она проводила одна; ее муж работал и путешествовал.

Она забросила живопись, а вместо этого стала коллекционировать ткани, картины и драгоценности. Целое утро проводила за туалетом. Теперь она сидела не перед мольбертом, а перед туалетным столиком и овладевала искусством наряжать себя в местные платья и украшения.

Когда Диана наконец спускалась по лестнице в гостиничный холл, то представляла собой ожившую картину. Все глаза устремлялись на нее. Ее тело было закутано в краски Диего Риверы и Ороско. Иногда платье было расписано штрихами широкой кисти, иногда раскрашено грубо,

как одеяние бедняков. Порой она надевала нечто напоминающее фрагменты древних фресок майя — четкий, словно прочерченный углем, симметричный рисунок, размытые временем краски. Когда она шествовала, тяжелые серьги ацтекских воинов, ожерелья и браслеты из раковин, золотые и серебряные медальоны, вырезанные из камня головки и амулеты, изображения животных и украшения из кости так и переливались в лучах света.

Предельное жизнелюбие отвратило Диану от живописи и сосредоточило ее страсть к цвету и фактуре на собственном теле.

Как-то Лилиана встретила Диану на маскараде в странном костюме: на шее у нее висела пустая рама от картины. Голова Дианы как бы заменяла собой холст. Тонкая шея, спутанные волосы, загорелая кожа, терракотового цвета глаза. Голова в обрамлении пустой рамы являлась как бы символом всей ее жизни.

С той же тщательностью, с какой она следила за одеждой и созданием особенно напряженных сочетаний красок и металла, она наблюдала за реакцией присутствующих в момент своего появления на верхней ступеньке лестницы, ловила устремленные на нее взгляды и выставляла для

обозрения свое изящно изваянное лицо, словно принадлежащее какому-то крылатому существу и нелепо посаженное на слишком роскошное тело, вызывающее ассоциации с пышными фигурами с полотен художников-реалистов. Удостоверившись, что все глаза устремлены на нее, Диана успокаивалась и переходила ко второй фазе своей деятельности.

Она высоко вздымала грудь, как бы утверждая, что ее тело живет и дышит, а вовсе не мертво, как тот образ с картины, который она напоминает. Но удивительнее всего было то, что ее подвижная, резко очерченная голова с непокорной гривой волос пребывала в явном диссонансе с телом, говорившим на каком-то своем языке, на языке стриптизерки. Так, устремив грудь вверх и вперед, словно ныряльщик перед прыжком, она слабо покачивалась и колыхалась, и хотя трудно было проследить за движениями ее руки, касающейся разных участков тела, у Лилианы оставалось чувство, что Диана уже сумела таинственным образом, как настоящая стриптизерка, привлечь внимание к округлости своего плеча и изгибу талии. Иллюзию провокации усиливало то, что, одевшись так же роскошно, как одевались женщины древности, она тут же приступала к

стриптизу. Это и было ее художественной интерпретацией возврата к природе.

Сначала она снимала серьги, клала их на столик и легонько потирала мочки. Ее уши устали и хотели на свободу. Никто не в силах был оторвать глаз от этого зрелища. Потом Диана снимала легкий жакет и оставалась в платье с открытой спиной. После завтрака, устроившись в шезлонге на террасе, она строила планы насчет пляжа и при этом оборачивалась на любой голос, на чуть заметное движение. Диана снимала браслеты и потирала усталые запястья. Она была такой горячей, что пляжный халат казался ей ненужным. Когда она добиралась до пляжа, даже ее купальник чудесным образом становился невидимым. Фокус заключался в том, что, хотя она, как и любая женщина на пляже, была одета, она казалась всем голой, полной, бронзовой женщиной с таитянских полотен Гогена.

Те, кто проголосовал за присуждение ей годовой стипендии на изучение живописи, были мудрыми и прозорливыми людьми.

Вопреки всякой логике, именно с Дианой Фред утратил страх перед девушками, которые смеются. Возможно, это случилось потому, что Диана смеялась не умолкая и ее безостановочный смех

казался продолжением звона гитар, сопровождавшего их пребывание в Голконде.

Фред ежедневно ходил на пристань на поиски сухогруза, чтобы уехать домой, и приглашал Лилиану и Диану в провожатые. Наконец на одном корабле согласились его взять, но еще не были готовы к отплытию. Загрузка кокосами, сушеной рыбой, крокодиловой кожей, бананами и плетеными корзинами тянулась очень медленно.

Прогуливаясь вдоль причала, они то встречали рыбака, ловившего тропическую рыбу, то разглядывали гигантскую черепаху, перевернутую на спину, чтобы она не уползла, пока не придет время сварить из нее суп.

Когда Крисмас видел, что какие-то суда готовятся поднять паруса, или расспрашивал капитана с пиратскими усами или его полуголого помощника о дне отплытия и не мог получить вразумительного ответа, его беспокойство достигало предела.

Он должен был доказать себе что-то ранее не доказанное. Он одновременно наслаждался предстоящим приключением и при этом постоянно планировал, как его закончить.

Когда капитан разрешал ему пройти на палубу, он поднимался туда один, а Диана и Лилиана

оставались на причале. Они в шутку махали ему рукой, как бы прощаясь, и он махал в ответ. И только тогда Крисмас вдруг замечал, какие живые волосы у Лилианы, так что кажется, будто каждый завиток обвивается вокруг его пальцев, и какая стройная шея у Дианы, ждущая его руки, и какие светоносные у обеих лица, и как ласково и нежно облегают их тела трепещущие на ветру платья.

За его спиной вздымались мягкие сиреневые горы Голконды. Так и не познав ни женщину, ни город, он уже теряет их! Он чувствовал боль и острое желание остаться, спешил, отталкивая грузчиков, вниз по трапу и бежал навстречу тому волнению, которое вызывала в нем постоянная близость женщин.

Ни Диана, ни Лилиана не пытались ему помочь. Обе смеялись жизнерадостно, без тени сожаления, и не просили его остаться, не цеплялись за него. В глубине души Крисмас, конечно, понимал, что они помогают ему стать мужчиной, заставляя самостоятельно принимать решения. Это была часть инициации. Они не похищали у него отрочества; они считали, что он сам должен от него отречься.

Он любил обеих. Диану — как воплощение

пряностей, красок и благоуханных ароматов Голконды, Лилиану — за то, что она так хорошо его понимала, за то, что ее понимание помогало ему обрести себя, за то, что она была мощным, наполнявшим его жизнью потоком.

Всякий раз, поднимаясь по трапу и репетируя отъезд, он понимал, что не готов еще уехать, а вернувшись — что не готов жить. Мучительно страдая от невозможности сделать выбор, он не мог ни откликнуться на настойчивые приглашения Дианы вступить в неведомый ему мир чувств, ни сесть на корабль и уплыть.

Происходило невидимое состязание между отплытием корабля и соблазном познать в лице Дианы обнаженную женщину с картины Гогена. Казалось, что и корабль, и капитан, и помощник, и грузчики прекрасно понимали, что Фред не готов ехать, и вот однажды, появившись, как обычно, в четыре часа на пирсе, он обнаружил, что корабль уже отплыл!

Он виднелся где-то на линии горизонта крохотной черной крапинкой, почти не выбрасывающей в небо дым, чтобы скрыть свое поспешное бегство.

Лилиана гуляла по рынку, словно по восточному базару. Золотая филигрань из Испании,

шелковые шарфы из Индии, вышитые юбки из Японии, глазурованная посуда из Африки, гравюры на меди из Марокко, скульптуры из Египта, травы и фимиам из Аравии! В те времена, когда Голконда была крупным морским портом, все страны старались доставить сюда свои лучшие богатства. Теперь, когда она захирела и заморские суда посещали ее редко, мексиканцы сами стали придумывать вариации на прежние темы, приспосабливая их к своему вкусу.

Клетки с тропическими птицами, например, были снабжены навесами на веревочках и напоминали шатры индийских магараджей. Это от индийцев мексиканцы унаследовали искусство дрессировки птиц, которые вытаскивали из рук сложенные в несколько раз бумажки с предсказанием будущего.

Лилиана заплатила несколько монет хозяину птицы и попросила погадать. Птица долго выбирала из горсти следующее предсказание: «Найдешь то, что ищешь». Лилиана улыбнулась. Ей стало любопытно, сможет ли птица вытащить из кучки бумажек ту, которая бы подсказала, что именно она ищет. Она решила потратить еще несколько монеток, но хозяин птицы отказал ей:

— Нехорошо испытывать судьбу дважды. А

вдруг получите два разных ответа и тогда совсем растеряетесь?!

Рядом с ней стоял хорошо известный в Голконде гид, которого она недолюбливала. И вовсе не потому, что презирала его торговлю Голкондой, продажу ее тем, кто не способен открыть ее самостоятельно, и не потому, что не испытывала симпатии к иностранцам, которые любили присутствовать на чужих свадьбах и праздниках. Она не любила его потому, что везде, где бы он ни появлялся — у дверей гостиницы, рядом с билетными кассами, у входа на корриду, — у него был вид сутенера, стыдящегося своего товара, как будто Голконда была не лучезарным городом, а пачкой непристойных открыток. Когда он впервые подошел к Лилиане и шепотом спросил: «Не желаете ли побывать на настоящей мексиканской свадьбе?», это прозвучало как «Не желаете ли, чтобы я подыскал вам молодого иностранца?».

Возможно, Лилиана отождествляла его желтое лицо, бегающие глазки и постоянно закушенные губы с назойливым любопытством, с подглядыванием, с темными сторонами жизни. И тем не менее, подумала она, краснея, мне хотелось бы найти экскурсовода для путешествий в самой

себе. Я дошла до того, что прошу дрессированную птицу вытащить из кучи бумажек инструкцию для таких путешествий!

Эта мысль заставила ее взглянуть на гида с большей терпимостью, и он немедленно почувствовал, что ее внутреннее сопротивление ослабло. Шагнул к Лилиане и прошептал ей в плечо, находившееся на уровне его глаз:

— У меня есть для вас нечто интересное! Поверьте, вовсе не заурядная достопримечательность для туристов. Американский парень, попавший в беду. Вы ведь американка, правда? Мне о вас много говорили. Вы приехали в Мексику еще ребенком, с отцом, американским инженером. Вы свободно говорите по-испански и хорошо знаете наши обычаи. Я видел вас в церкви в платке, а это значит, что вы уважаете наши традиции. И все же вы американка, я знаю. Неужели вам не жаль американца, попавшего в беду? Неужели вы не захотите ему помочь?

Лилиана отчаянно боролась с недоверием к этому человеку, в то время как глаза гида цвета ящерицы рассматривали веснушки на ее плече.

— О какой беде вы говорите?

— Видите ли, его арестовали, когда он без документов ехал в автобусе в Юкатан. И посадили

в тюрьму здесь, откуда он выехал. Сидит уже целый год.

— Целый год? И ничего до сих пор не сделано, чтобы помочь ему?

У гида была манера так шевелить губами, будто он не произносит слова, а жует.

— Представьте себе американца, попавшего в ловушку в чужой стране и не знающего ни слова по-испански! Вы можете хотя бы поговорить с ним.

— Но неужели ничего не было сделано? Никто ничего не предпринял? Он обращался в американское консульство?

Гид продемонстрировал жест полного безразличия: не просто стряхнул с плеч воображаемый груз, но и умыл руки, после чего повернулся и отошел на несколько шагов, словно показывая свою отстраненность от этой проблемы. Все выглядело так, будто он хотел предупредить любое проявление безразличия со стороны Лилианы.

— Где находится тюрьма?

Крадучись, гид пошел впереди нее. Неизвестно, стыдился ли он того, что водил иностранцев поглазеть на сцены из частной жизни своей родной деревни, и того, что получал деньги за их незваное появление на похоронах и свадьбах,

но походка у него была такая, будто он водил их по местам с дурной славой. Возможно, так оно и было.

Туристы обращались с ним с необычайной сердечностью. Они ощущали себя в некоторой изоляции, и потому он казался дружественным мостом между ними и местными жителями. Они видели в нем не просто переводчика, а истинного посредника и относились к нему по-братски, выпивали с ним и хлопали его по плечу.

Однако Лилиана считала гида кривым зеркалом, искажающим все отношения между туристами и местными жителями. Лишь мысль о брошенном в тюрьму американце заставила ее последовать за этим человеком по улочкам, на которых она никогда раньше не бывала, — вдали от рынка, позади арены, на которой проводились бои быков.

Это был район, где жилье сдавали в аренду, где ютились жалкие лачуги, построенные из чего попало: из обклеенных газетами листов жести, пальмовых стволов, сплавного леса, картона, бензиновых баков. Земляные полы, гамаки вместо кроватей. Пищу готовили на улице на жаровнях. При этом любой дом, каким бы бедным он ни выглядел, был украшен цветами, в каждом окне

висела клетка с певчей птицей. И перед каждым домом, даже самым бедным, была натянута веревка, на которой сушилось белье, разноцветное, как палитра, из которой мексиканские художники черпали самые горячие, самые жгучие краски.

Почему же ее так встревожило положение заключенного американца? Понимание того, что он — чужой в стране, языка которой не знает? Она представила его в тюрьме: вот он пьет грязную воду, от которой иностранцы страдают дизентерией, вот его терзают комары, разносчики малярии.

Это вызывало у нее такое сильное желание защитить несчастного, что даже гид показался ей не торгующим интимной жизнью Голконды сутенером, а благородным человеком, способным понять, что туристы тоже могут попасть в беду и что не все они — безумно богатые и влиятельные люди.

Тюрьма находилась внутри заброшенной и полуразрушенной церкви. Стрельчатые окна были забраны толстыми решетками. На стенах еще сохранились изначальные цвета охры и коралла, что придавало тюрьме довольно жизнерадостный вид. По звону церковных колоколов заключенные узнавали время еды и отбоя. Ино-

гда колокольный перезвон возвещал о побеге кого-то из арестантов.

Гид был хорошо знаком с этим местом. Когда он вошел, охранники даже не перестали играть в карты. Заросшие многодневной щетиной, они, не будь на них мундиров, вполне могли бы сойти за заключенных. Место еще хранило аромат ладана, смешанный с крепким запахом табака. На прежних постаментах для статуй святых стояли вешалки для одежды и ружейные пирамиды. Прямо на чашу для святой воды были наброшены патронташи. Очевидно, считалось, что единственной уцелевшей статуи чернокожей Девы Марии Гваделупской для защиты тюрьмы вполне достаточно.

— Buenos dias.

— Muy buenos dias.

— Госпожа желает посетить заключенного американца.

Один из охранников, очнувшись от дремоты, с некоторыми колебаниями достал связку ключей. Поначалу даже казалось, что он отдаст ключи гиду и вернется к сиесте, но внезапно в нем проснулась гордость, и он с преувеличенной важностью решил сыграть отведенную ему роль.

С внутренней стороны тюремные стены были

выкрашены в небесно-голубой цвет. На потолках сохранились изображения голых ангелочков, облаков и меланхоличных юных арфисток. На койках спали заключенные. Американец стоял возле железной двери камеры и глядел на приближающуюся посетительницу.

Он вцепился в прутья двери длинными худыми пальцами, готовый, казалось, разорвать их. На его длинном небритом лице угадывалась искорка иронии, которую Лилиана расценила как свидетельство храбрости. Он улыбался.

— С вашей стороны очень мило, что вы пришли, — сказал он.

— Чем могу быть полезной? Быть может, позвонить американскому консулу?

— Другие уже пытались, но он и не чешется. Таких, как я, слишком много.

— Слишком много?

— Конечно. Я имею в виду американцев без документов, сбежавших из дому, уклоняющихся от призыва в армию, беглых преступников, перемещенных лиц, выдающих себя за американцев, бывших гангстеров, скрывающихся от жен и уплаты алиментов…

— Почему у вас нет документов?

— Однажды я пошел искупаться. Оставил одеж-

ду на берегу. Когда вернулся, одежды не было, а с нею и документов. И вот я здесь.

Он не отрывал от ее лица покрасневших от недосыпа глаз. Присутствовавшее в них показное веселье также свидетельствовало о его мужестве.

— Что я могу для вас сделать? Как помочь вам выбраться отсюда? Я не богата. Только небольшое жалованье за игру на рояле в «Черной жемчужине».

В его глазах светилась ласковая мольба, что мало вязалось со скупостью его слов:

— Лучшее, что вы можете для меня сделать, это дать гиду пятьдесят долларов. Тогда он все организует и вытащит меня отсюда. Он знает, как это сделать. Сможете?

— Пожалуй. Но, выбравшись отсюда, как вы собираетесь вернуться домой? Ведь у вас нет документов, и вас могут опять схватить.

— Доеду автостопом до Мехико, а там пойду в консульство. Помогите мне выбраться, дальше я придумаю, что делать.

Передав гиду деньги, она почувствовала невероятное облегчение, словно освободила какую-то часть самой себя. Не сделай она этого, заключенный преследовал бы ее как привидение. По

необычной силе своего ощущения она поняла, что между заключенным и ею есть что-то общее. Она не просто испытывала симпатию к соотечественнику. Это была симпатия к сокамернику. Конечно, по всем внешним признакам Лилиана была свободной. Свободной от чего? Не потеряла ли и она все свои документы? Не похожа ли она на ту южноамериканскую птицу, которая ковыляет по пескам, заметая свои следы, как метелкой, особым длинным пером?

Прошлое растворялось насыщенностью Голконды, ее светом, ослепляющим мысли, застилающим глаза памяти. Свобода от прошлого пришла вместе с незнакомыми прежде предметами: ни один из них не вызывал в памяти ничего. Когда у нее открылись глаза, она оказалась в новом мире. Все краски были жаркими и сверкающими, не похожими на жемчужно-серые пастели ее родины. Завтрак представлял собой поднос с чудесно влажными и мясистыми фруктами, которые ей не доводилось прежде пробовать, и даже хлеб обладал совершенно особым вкусом. Этот вкус, вернее, слабый привкус аниса, придавала хлебу сухая трава, которую сжигали в печи, прежде чем туда его поставить.

За весь день на глаза не попадалось ни одного

знакомого в прежней жизни предмета, который вернул бы ее в прошлое. Первым человеком, которого она встречала по утрам, был садовник. Наблюдая за ним из-за приподнятых бамбуковых штор, она видела, что он разравнивает граблями гальку и песок с таким видом, словно это не скучная обязанность, а самое приятное из всех занятий, и ему хочется продлить его как можно дольше. Он то и дело останавливался, чтобы перекинуться парой слов с маленькой девочкой в белом платье, которая крутилась вокруг него, прыгала через скакалку и задавала ему разные вопросы, на которые он отвечал ласково и терпеливо:

— Почему у одних бабочек крылышки красивые, а у других нет?

— Потому что у некрасивых бабочек родители не умели рисовать.

Даже когда на ее пути попадались знакомые предметы, они встречались в самых неожиданных местах. Например, огромная, вырезанная из дерева бутылка кока-колы, которую ставили посреди арены перед началом боя быков, казалась гротескным сюрреалистическим сном. Лилиане хотелось, чтобы быки набросились на эту бутылку, но прежде быков появлялись служители (на

них была возложена обязанность убрать мертвого быка и замести следы крови на песке). Они опрокидывали бутылку и уносили ее вшестером на плечах как трофей.

Так что все было свободой: ее расписание, время и даже музыкальные импровизации по ночам — джаз, который позволял ей расцвечивать свое настроение.

Но теперь случилось нечто особенное, связанное с осознанием того момента, который и создавал чувство кровной близости с заключенным. Этим моментом был час перед ужином, когда Лилиана принимала ванну и переодевалась. Час, когда истинный авантюрист достигает высшей точки своей рискованной игры с красотой ночи и чувствует: наступает вечер, и скоро я встречу кого-нибудь, кого захочу соблазнить или кто захочет соблазнить меня, и начнется приключение с капризом и желанием, и, может статься, благодаря этой азартной игре я встречу любовь!

В этот час, когда она бросала на себя последний взгляд в зеркало, раздвижная дверь ее комнаты казалась запертой дверью тюрьмы, а сама комната — камерой, и все лишь потому, что она оставалась пленницей тревоги: это было мгновение перед началом нового раунда с дру-

гими людьми, и оно парализовало ее страхом. Кто пригласит ее на танцы? А вдруг никто не вспомнит о ее существовании? А что, если ни одна из компаний, наметивших провести вечер вместе, не включила ее в список приглашенных? Не получится ли так, что, появившись на террасе, она обнаружит партнером по танцам лишь директора чикагской бойни? Не придется ли ей спускаться вниз лишь для того, чтобы наблюдать, как Крисмас упивается провокациями Дианы, как одни пары садятся в автомобили и отправляются на фиесту, а другие поднимаются на холм, чтобы принять участие в воскресных танцах на скалах, как доктор Эрнандес внимательно выслушивает какую-то киноактрису, вбившую себе в голову, что у нее малярия.

Это было мгновение, которое доказывало ей, что она — всего лишь пленница робости и неуверенности, а не подлинная искательница приключений, не настоящий игрок, способный, проигрывая, улыбаться, не бояться впустую пропавшего вечера, не мучиться из-за того, что пришлось целый вечер слушать пьяного типа, объяснявшего, как устроены чикагские бойни и как происходит забой быков.

Лилиана придумывала себе всевозможные

катастрофы, но на самом деле ничего такого с ней не происходило. Когда она играла на рояле, несколько человек собирались вокруг и ждали, пока она закончит, чтобы предложить ей выпить или присоединиться к их компании. Но все, что происходило наяву, не могло освободить ее от внутреннего заточения в тюрьме страхов, от страха перед одиночеством.

Ей захотелось вновь повидать своего заключенного, но она решила, что он уже на пути в Мехико. Она собиралась прогуляться пешком вниз до испанского ресторана на площади. Лилиана предпочитала ужинать там, а не в гостинице. В гостинице она ужинала в одиночестве, на площади же появлялось такое ощущение, будто она ужинает со всей Голкондой, делит свою жизнь с другими.

Площадь была душой города. С одной ее стороны возвышалась церковь, с трех других прямо на мостовой стояли столики многочисленных кафе и ресторанов. Имелся здесь и кинотеатр, а в самом центре — эстрада, окруженная маленьким скверико м со скамейками.

На скамейках сидели упивающиеся близостью юные влюбленные, усталые бродяги и мужчины, которые читали газеты, пока маль-

чишки чистили им туфли. Вокруг, с корзинами, наполненными засахаренными фруктами, разноцветными бутылками лимонада, красными и желтыми пачками сигарет и журналами, располагались торговцы. Медленно шли в церковь и выходили из нее старые дамы в черных шалях, попрошайничали мальчишки, а уличные музыканты, устроившись рядом с кафе, играли на своих маримба[8], пока продолжали падать монетки, хотя певцы уже прекратили петь. Девочки продавали ожерелья и сережки из морских раковин. С цветами в черных волосах, наряженные в броские платья, фланировали проститутки.

Поток нищих бесконечно варьировался. Они умели менять свои роли. Наскучив изображать слепых, внезапно появлялись, ковыляя на деревянных протезах. Но были и такие, кто не притворялся, — жуткие, как персонажи из ночных кошмаров: сморщенный ребенок, который лежал ничком на маленькой тележке и как-то умудрялся толкать ее вперед своими иссохшими ручками; скрюченная, как корень древнего дерева, старуха; вереница слепцов с гнойными язвами

[8] Примечания: 8

Маримба — ударный инструмент, состоящий из набора деревянных пластин, расположенных поверх металлических резонаторов, на котором играют палочками.

вместо глаз… При этом, как рассказывал доктор Эрнандес, все они отказывались от медицинской помощи и возмущались, если их пытались забрать с улиц, оторвать от религиозных процессий, фейерверков, джазовых концертов и потока посетителей в самых необычных костюмах.

И вот сейчас среди них, за соседним столиком, сидел американский заключенный с тем самым гидом.

По их оживленным голосам и многочисленным пустым бутылкам из-под текилы Лилиана поняла, на что пошел ее вклад в дело свободы. Сейчас они не в состоянии были узнать ее. Отсутствующие взгляды и развязные жесты словно обнажали Кони-Айленд ума с его каруселями, «щелкающими хлыстами», темными комнатами ужасов, кривыми зеркалами, «мертвой петлей» и бросающими вызов смерти мотоциклами опьянения. Языки стали точно резиновыми, слова выкатывались изо рта, как на гребне маслянистой волны, раскаты смеха напоминали внезапные выплески гейзеров.

Как только Лилиана села за столик, к ней подошел ирландец, человек невысокого роста, с лицом, не выдававшим возраста, и круглыми, абсолютно неподвижными глазками. Округлость

и неподвижность глаз придавали его лицу выражение предельной невинности. Ирландец поздоровался и попросил разрешения присесть за столик.

На нем были белые брюки, какие носят мексиканцы, синяя рубашка с распахнутым воротом, испанские сандалии. Он говорил отрывисто и настолько монотонно, что подчас невозможно было разобрать ни слова.

Зато его карманы были полны археологических редкостей — всевозможными головками, ручками, ножками, змейками, флейтами, керамическими изделиями индейского происхождения. Он доставал какую-нибудь вещицу из кармана, клал себе на ладонь и тихим голосом рассказывал ее историю.

Ирландец никогда не предлагал купить их, но если турист вдруг спрашивал: «Вы это продаете?», он соглашался с таким грустным видом, словно жалел расстаться с экспонатом из частной коллекции.

Всякий раз, встречая Лилиану, он показывал ей одну из своих вещиц и учил определять исторические периоды по тому, сделана она из глины или камня, по разрезу глаз и головному убору, по характеру украшений. Постепенно Лилиана

стала немного разбираться в истории Мексики.

О'Коннор не говорил ни о чем, кроме новых раскопок, в которых принимал участие, и происхождения археологических осколков. После чего обычно впадал в тропический транс.

Для полного счастья ему достаточно было наблюдать происходившие на площади театральные сцены: как ругаются матросы и встречаются влюбленные, как мексиканская семья празднует избрание дочери королевой красоты на карнавале, как одинокие мужчины играют после обеда в шахматы. Он жил жизнью других людей. Лилиана видела, что он наблюдает за людьми и постепенно как бы становится ими. Он сидел, откинувшись на стуле, словно освободившееся от духа тело, и Лилиана понимала, что он живет жизнью влюбленных, жизнью матросов…

Она считала, что О'Коннор способен выслушать и понять историю о заключенном и посмеяться над ее глупой доверчивостью. Но он смеяться не стал. Впервые за все время его глаза утратили стеклянную неподвижность и увлажнились эмоцией.

— Если бы я мог предупредить вас… Я даже не мог себе представить! Вы освободили узника, который того не заслуживает! Я никогда не гово-

рил вам… когда я не работаю с археологами, все свое время я трачу на помощь попавшим в беду иностранцам. То это матрос, затеявший уличную драку с мексиканцем, то турист, сбивший на дороге осла. А того, кто беден или ударит местного, мексиканцы просто готовы сгноить в тюрьме. Здесь полно людей, которым плевать на то, что произошло с другими. Они приехали сюда для удовольствий, сбежали от трудностей. Да еще что-то такое в климате… И вот теперь вы… идете и спасаете заключенного, который сделал это своей профессией, средством заработка, который делится со своим компаньоном-гидом тем, что получает от туристов, и живет на это, а потом возвращается в тюрьму, чтобы ждать следующего простака!

Лилиана от всей души рассмеялась.

— Я рад, что вы смеетесь. Наверное, я слишком серьезно все воспринимаю. Помочь заключенным выбраться из тюрьмы казалось мне вопросом жизни и смерти. Иногда я забывал о них на несколько дней и занимался своими экспедициями, плаванием, путешествиями. Но потом снова возвращался в тюрьму, к заключенным.

— Если вы так озабочены освобождением других, значит, пытаетесь освободить какую-то

часть себя.

— Я никогда об этом не думал… но отчаяние, с которым я работаю, та уйма времени, которую на это трачу… Словно порок, который я не в силах побороть! Открывать двери тюрем и искать осколки исчезнувших цивилизаций… Я никогда не думал о том, что это может значить. Видите ли, я приехал сюда, чтобы забыть о себе. Я сохранял иллюзию, что, занимаясь делами других людей, не касающимися меня лично, смогу избавиться от самого себя. Мне казалось, что интерес к истории Мексики и борьба за освобождение заключенных означают мой отказ от личной жизни.

— Неужели вас так мучает мысль о том, что ваша якобы бескорыстная деятельность на самом деле означает личную драму, в которую вы вовлечены? Что вы проигрываете свою частную драму с помощью других, реализуете ее через других?

— Да, очень мучает. Заставляет понимать, что мне не удалось бежать от себя. Хотя я и без того знал, что в каком-то смысле потерпел поражение. Потому что я должен чувствовать себя довольным, бодрым, как чувствуют те, кто отдает другим часть себя. А вместо этого оказываюсь каким-то безликим привидением, человеком, лишенным своего «Я», зомби. Очень неприятное ощущение.

Вроде той старинной сказки о человеке, потерявшем свою тень.

— Вы вовсе не отрекаетесь от себя, а просто находите новые способы проявления своей деятельности.

— Если вы понимаете, что означают обе мои навязчивые идеи, скажите мне. Я должен знать. Я понимаю, что все время обманывал себя. Еще до того, как мы начали разговор, когда я сел рядом с вами, я подумал про себя: «Ну вот, опять я буду вести себя как мертвец, буду говорить о своих вещицах, как экскурсовод…»

— Мы никогда не отрекаемся от своего внутреннего «Я». Оно требует от нас продолжать жить, даже если жизнь проявляется в виде безличной деятельности. Когда внутреннее «Я» страдает, оно пытается сообщить об этом через нашу деятельность.

— Не хотите ли вы сказать, что я сам был одним из тех заключенных, которых помог освободить?

— Да, я бы сказала, что тогда или в другое время вы впадали, фигурально выражаясь, в состояние рабства, которое удерживало вас от того, что вы на самом деле хотели делать; словно кто-то лишал вас свободы.

— Вы правы.

— И всякий раз, когда вам удается открыть одну из тюремных дверей, вам кажется, что вы платите по счетам какому-то бывшему заключенному. Или хотя бы пытаетесь это сделать, как я сегодня…

— Совершенно верно. Когда мне было пятнадцать, я испытывал такую страсть к археологии, что сбежал из дому. Я пытался попасть в Юкатан. Моя семья стала разыскивать меня через полицию. Вскоре поймали и вернули домой. С тех пор с меня не спускали глаз.

О'Коннор снова стал разглядывать площадь, и его экспедиция во внутренний мир закончилась. Глаза вновь стали застывшими и круглыми. Больше ему нечего было сказать.

Пока Лилиана наблюдала за ним, ей пришло на ум сравнение с животными, которые умеют принимать неподвижный вид и цвет дерева или куста чтобы остаться незамеченными. Она улыбнулась ему, но он уже отключился от настоящего и личного и вел себя так, словно ничего не говорил и вообще не был с нею знаком.

Лилиана поняла, что пребывание в тюрьме навсегда нарушило его связь с семьей и что там он утратил способность общаться. И теперь неважно, сколько статуэток он сумеет выкопать

и реставрировать, историю скольких предметов воссоздать. Часть его личности пропала и возвращению не подлежит.

Музыканты, игравшие на маримба, умолкли, как будто их инструменты были музыкальным автоматом, который включается только при определенном количестве монет, и замерли в ожидании платы.

По утрам, проникая в хижину, ее будили ослепительные лучи солнца над морем. Рассвет напоминал роскошную придворную сцену из «Тысячи и одной ночи». Слоистый коралл небесного шатра начинал полыхать, постепенно облизывая все извивы морских раковин, предшествовавшие появлению солнца, и это напоминало дуэль между огнем и платиной. Пока горел рассвет, казалось, будто и все море охвачено пожаром. Яркое пламя сменялось четко разделенными нежными парчовыми покрывалами, бирюзовым и коралловым, а потом в воздухе появлялись прозрачные занавеси, легкие, как тончайшие индийские сари. После такого начала оставшаяся часть дня могла где угодно показаться жалкой, но только не в Голконде. Заря была потоком красок, которые земля и море могли в течение дня смешивать, по своему усмотрению, с фруктами, цветами и

нарядами местных жителей. Это были не просто пятна красок, но всегда нечто живое, сверкающее и влажное, словно человеческие глаза. Краски были живыми, как цвет плоти.

Подобно тому как музыка в Голконде была непрерывной цепью мелодий, так же повсюду играли и краски. Там, где прекращали свои сверкающие драгоценностями прогулки и сворачивали языческие иллюминированные рукописи цветы, эстафету принимали фрукты. Несколько раз, пробуя фрукт, Лилиана вдруг переставала жевать. Ей казалось, что она поедает зарю.

Покачиваясь в гамаке, она видела и море, и залитое солнцем небо, и скалы внизу, застывшие среди покачивающихся звездообразных пальм. Еще она видела, как работает садовник — с той особой трепетностью, которая была его отличительным свойством. Это свойство заставляло его трудиться не равнодушно, не ради средств к существованию, а с нежностью к растениям, с лаской к бутонам. Он работал граблями так, словно танцевал в ритме свинга, его труд становился как бы актом религиозного поклонения.

Днем Лилиана была свободна до того времени, когда пора было выступать с оркестром на вечерних коктейлях и танцах.

Раньше ей казалось, что праздник начинается лишь с наступлением вечера, с приходом джазменов. Теперь она открыла для себя, что праздник может начинаться с изумительного восхода солнца и продолжаться до самой ночи, когда цветы не закрывают свои чашечки, сады не засыпают, птицы не прячут голову под крыло. Ночь наступала с такой мягкостью, словно расцветала некая новая жизнь. Если кто-нибудь касался ночью моря рукой, оно светилось взметнувшимися фосфорными искрами и так же искрился под ногами мокрый песок.

Иногда, когда она входила в воду и плавала на спине, море было таким переливчатым и обволакивающим, словно это не вода, а ртуть. Заметив, что на пляже появились местные музыканты, она тут же возвращалась к берегу.

Гитарист, скрипач, виолончелист и певец располагались под солнечным тентом. Певец пел так сладко и нежно, что даже гамаки замирали. Его голос покорял не только отдыхающих, но и самих музыкантов, и виолончелист, прикрыв глаза густыми ресницами, играл в такой расслабленной манере, как будто его смуглую руку удерживала лишь чудесная йоговская способность к левитации. Казалось, под его яркой рубашкой в стиле

южных островов нет ни нервов, ни мускулов. Скрипач играл на скрипке с одной порванной струной, море то и дело уносило прочь часть звуков, но никто этого не замечал.

Привлекаемые музыкой волны раскручивались, как рулон шелковой ткани, и с каждым разом оказывались все ближе к музыкантам, словно желая добраться до воткнутой в песок виолончели. Виолончелист, казалось, не обращал на волны никакого внимания, но всякий раз, когда они устремлялись к инструменту, успевал, продолжая играть, поднять виолончель в воздух. Волны омывали его ноги, потом откатывались.

После музыкантов приходили дети с корзинами на головах. Они продавали фрукты и жареную рыбу. Появлялся старый фотограф со старомодным фотоаппаратом-гармошкой и с большим черным чехлом, под которым он прятал голову. Фотограф был так опрятно одет, а его усы — так гладко причесаны, что он сам казался сошедшим со старинной фотографии, превратившимся в черно-белую абстракцию ушедшей эпохи.

Лилиана не любила фотографироваться и, чтобы избежать встречи с ним, отправлялась плавать. Но фотограф был человеком бесконечно терпеливым и ждал ее молча — маленький, хруп-

кий, с выпрямленной спиной. Из-за неизменной улыбки морщинки еще сильнее проступали на его лице. Подобно старому садовнику, он относился к работе как к ритуалу и был преисполнен такого достоинства, что Лилиана невольно извинялась:

— Простите, что заставила вас ждать!

— Ничего-ничего, — говорил он мягко, устанавливая фотоаппарат на песке. И, перед тем как исчезнуть под черным чехлом, добавлял: — У всех нас времени гораздо больше, чем жизни!

Когда Лилиана фотографировалась, за ней наблюдал Эдвард, рыжий, усыпанный веснушками человек, бывший скрипач. Он жил на пляже в автоприцепе. Календарь его жизни определялся многочисленными браками. «Взрыв яхты? Это случилось во времена моей второй женитьбы». Когда кто-нибудь пытался вспомнить американского чемпиона по плаванию, нырявшего здесь среди скал, он говорил: «Четыре жены тому назад!» При этом его жены исчезали, но дети оставались. Они были такими загорелыми, что отличить их от местных детишек было невозможно. Эдвард перебивался случайными заработками: расписывал ткани, занимался делами серебряных лавок, строил кому-нибудь

дом. Когда Лилиана его встретила, он распространял по всей Мексике календари с рекламой кока-колы. К его удивлению, людям календари нравились, и они вешали их на стены. Сейчас он развернул перед купальщиками картину с изображением человеческого жертвоприношения у майя. Юкатанская пирамида была на этой картине меньше женщины, которую собирались принести в жертву, а сама женщина похожа на цыганку Розу Ли. Гладко выбритый и очень худой жрец мало подходил на роль уничтожителя столь великолепного тела. Действующий вулкан по правую руку был размером с грудь приносимой в жертву девственницы.

Текила всегда вызывала у Эдварда желание полностью отречься от искусства. Он упорно твердил, что сбежал из мира музыки по собственному желанию:

— Музыка здесь никому не нужна. Голконда полна природной музыки, танцевальной музыки, музыки для песен, музыки для жизни. Мелодии уличных музыкантов лучше, чем сочинения любого современного композитора. Жизнь полна ритма сама по себе, люди работают и поют. Я ничуть не скучаю ни по концертам, ни по своей скрипке.

Второй стакан текилы давал волю воспоминаниям о концертных залах и музее современного искусства, словно до Голконды они были его домом. После третьего стакана начиналась лекция о бесполезности искусства:

— Здесь, среди лагун и джунглей, вам совершенно не нужны коллажи Макса Эрнста с его искусственными лагунами и болотами. Среди пустынь и песчаных дюн, где повсюду валяются кости коров и ослов, нет никакой нужды в картинах Танги, изображающих пустыню и побелевшие кости. А среди руин Сан-Мигеля кому понадобятся колонны Кирико? Меня здесь все устраивает. Не хватает только жены, которая согласилась бы питаться одними бананами и кокосовым молоком.

— Когда было холодно, — сказала Лилиана, — я отправлялась в отдел тропических птиц и растений в Sears Roebuck. Там было тепло, влажно, воздух едкий. Еще я ходила любоваться тропическими растениями в Ботанический сад. Уже тогда я искала свою Голконду. Помню, одна пальма выросла там до самой стеклянной крыши, и я видела, что она пытается пробить стекло, хочет выбраться наружу и освободиться. Я часто вспоминаю эту узницу в клетке, когда вижу в

Голконде пальмы, подметающие небо.

После третьего стакана текилы голос Эдварда переставал быть металлическим, и он то и дело бросал взгляд на левую руку, где недоставало одного пальца. Он никому не говорил, но все вокруг знали, что именно это сгубило его карьеру скрипача.

Знали и то, что его детей любили, кормили и защищали все жители Голконды. Дети таинственным образом воспринимали многочисленных матерей как одну-единственную мать, имеющую много обликов и говорящую на многих языках. Сейчас такой матерью стала Лилиана, как будто они чувствовали, что внутри нее есть полость для детей, уже сформировавшаяся, однажды использованная, хорошо знакомая, в которой детям так уютно. И Лилиана изумлялась их проницательности, удивлялась, откуда им известно о том, что когда-то у нее были дети и что она их потеряла.

Откуда было им знать, что она уже целовала такие же веснушки на носу и такие же худенькие локти, заплетала такие же спутанные волосы и знала, где найти потерявшиеся туфельки. Дети не только позволяли ей играть роль отсутствующей матери, но и сами играли роль ее отсутствующих детей, словно угадывая пустующую в ней нишу.

Она и дети обнимали друг друга с пониманием этого замещения, что привносило в их дружбу чувство такой близости, какой с другими временными матерями дети прежде не испытывали.

Ей одной они признавались в своем отношении к очередному выбору отца. Они тщательно изучали новенькую избранницу, оценивая ее возможности, и обнаружили следующую закономерность. «Если она любит в первую очередь нас, — говорили они, — это не нравится отцу. Если она любит больше его, то не хочет видеть нас».

Вскоре на пляже появилась победительница конкурса красоты, проводившегося американской авиакомпанией. Она преподносила себя так, словно оказалась на показе мод, где должна была как можно меньше двигаться, чтобы глаза присутствующих успели ее сфотографировать. Манера, с которой она держалась, не замечая остальных, делала ее похожей на глянцевую картинку, которую вырезают из плакатов и берут с собой, отправляясь на войну, молодые солдаты. Гладкая поверхность без единого пятнышка, без единой мысли в голове, от которой мог бы нахмуриться лоб. Она выставляла себя напоказ, никого при этом не признавая. Она не отправляла по-

сланий своим нервам и органам чувств и ничего от них не получала. Она приближалась к другим людям, не излучая ни тепла, ни холода. Она была воплощением идеальных волос, кожи, зубов, тела и формы, которое не имело права ни ржаветь, ни морщиться, ни плакать. Все выглядело так, будто при ее создании Господь использовал синтетические элементы.

Дети Эдварда чувствовали себя рядом с этой девушкой неуютно, потому что постоянно представляли себе, что их отца может околдовать совершенство предлагаемою ею образа — чистые голубые глаза, изящная прическа, безупречный профиль. Но вскоре она сделала собственный выбор: ее компаньоном по пляжным прогулкам стал отставной моряк, отправленный на пенсию после того, как вызвался участвовать в каких-то испытаниях, связанных с атомной бомбой, и что-то себе повредил. Никто не осмеливался спросить и даже не догадывался о природе этого повреждения. Сам он был крайне лаконичным: «Я получил внутреннее повреждение». Внешне ничего не было заметно. Он был высоким, сильным блондином с такой нежной кожей, что не мог загорать. Его голубые глаза вполне соответствовали голубым глазам королевы красоты

американской авиакомпании; и в тех и в других не было ни следа печали, и те и другие были созданы для того, чтобы ими восхищались. Он не любил рассказывать свою историю, но, выпив, признавался: «Я записался добровольцем и поэтому был помещен настолько близко, насколько возможно… и получил внутреннее повреждение. Вот и все».

Ни один из них не стремился к сближению, но, пребывая как бы в одной сфере, на одной высоте и обладая одинаковой беспристрастностью наблюдателя, они стали встречаться и вместе прогуливаться. Они никогда не смотрели друг на друга не отрываясь, как это свойственно влюбленным мексиканцам.

У обоих имелись фотоаппараты, и они методично фотографировали все подряд. Что же касается их самих, то они как бы договорились ничем не выдавать себя — ни словом, ни жестом.

Эдвард относился к ним небрежно, как к ходячим плакатам или плоским картонным фигурам. Но Лилиана считала, что их фасад, как и все остальное, не более чем маска.

— Они просто не знакомы со своим внутренним «Я», — сказала она.

— Может быть, вы представите их друг дру-

гу? — иронично спросил Эдвард.

— Но вы ведь знаете, что это очень опасно. Они могут не узнать свое «Я», сочтут меня нарушителем границ, а свое «Я» — квартирным взломщиком.

— Очень опасно предлагать человеку такое представление о нем, которое он не желает признавать.

Эти слова пробудили в ней то чувство опасности и тайны, которое всегда вызывал доктор Эрнандес. Она вспомнила его высказывание: «Мне надоели телесные болезни, с которыми я воюю уже пятнадцать лет, и потому я развлекаю себя ролью детектива-любителя, раскрывающего чужие тайны».

В другой раз доктор сказал:

— Я прекрасно понимаю, что вы сбили меня со следа, посвятив в тайную жизнь своих друзей вместо своей собственной. Но позвольте сказать правду, которая может вас шокировать. Вы греетесь не в лучах солнца, а в пассивности и фатализме моего народа. Мои соотечественники убеждены, что характер человека невозможно ни изменить, ни испортить, что человек — это непредсказуемая и неуправляемая природа. Они считают, что человека следует принимать таким,

какой он есть, как принимают бедность, болезнь, смерть. Принцип усилия и изменения им неизвестен. Ты рождаешься бедным, хорошим или плохим, или даже гением и живешь с этим точно так же, как живешь со своими родственниками.

— А бывает здесь так, что человек теряет над собой власть и становится одержимым? Как это случается на Бали, в Африке, на островах южных морей?

— Конечно. Когда люди, построившие свою жизнь на смирении, покорности, униженности и пассивности, попадают в ловушку, они не знают, как с ней справиться. Все, что они умеют, так это схватить нож или револьвер и убить.

— И никто не ищет причин, никто не побуждает их действовать?

— Никто, кроме меня. Но я буду за это наказан. Всякий, кто пытается коснуться этого животного стиля жизни, этого слияния со светом, этого отсутствия мысли, оказывается жертвой человеческой ненависти к знанию.

— У вас есть обезболивающие средства против физической боли. А почему нет ничего против тревоги?

— Есть, но они не помогают.

Как-то на яхте одного мексиканского генерала

был устроен маскарад. Со всех палуб по заливу пускали праздничные ракеты, и подвозившим гостей лодкам приходилось отважно маневрировать под дождем кометных хвостов.

Мексиканский генерал был единственным человеком без маски. Он встречал гостей у последней ступеньки трапа и каждого обнимал; у него была такая широкая грудная клетка, что в ответ на объятие Лилиана смогла поцеловать лишь одну из медалей на его груди.

За масками, перьями, красками и блестками Лилиана видела только глаза — глаза-как-море, глаза-как-у-зверя, глаза-как-земля, глаза-как-драгоценные-камни, застывшие, подвижные, текучие… Одни легко откликались на ее пристальный взгляд, другие ограничивались мимолетной вспышкой.

Лилиана узнала доктора только тогда, когда он заговорил. Он был в костюме воина-ацтека, с раскрашенным лицом и телом, с копьем в руке и острыми стрелами за спиной. Теперь настала его очередь наносить глубокие раны, такие же глубокие, как те, что приходилось лечить. В эту ночь его внешний вид словно запрещал женщинам прятать голову ему под крылышко и плакаться в жилетку. Прежде чем они успевали превратить-

ся в ревущих младенцев, он уже бросал вызов потенциальной любовнице.

Когда появилась Диана с Крисмасом, словно скрывающимся в ее тени, доктор сказал:

— Когда у моих пациентов голодные чувства, я посылаю их к Диане.

На Диане, чья голова выступала из пустой картинной рамы, была лиловая маска, а в волосы были вплетены водоросли. Она танцевала с Крисмасом.

Крисмас был одет в костюм инопланетянина. Этот намек на дистанцию Диану ничуть не смущал. Она целовала его, и рама охватывала их плечи, как спасательный круг, способный удержать на поверхности в неизведанном море чувств, чью зыбкость лишь усиливали джаз и фейерверк.

Облокотившись о перила, стояла какая-то пара, и Лилиана услышала, как женщина говорит: «Даже если это не так, скажи, что ты меня любишь, я тебе никогда об этом не напомню, я никогда тебя больше не увижу, но хотя бы сегодня скажи, что ты меня любишь, что ты меня любишь».

Неужели гарантия свободы от ответственности превращает любого человека во влюбленного и поэта? Способна вызвать лирическое признание?

В зеленом отсвете фейерверка Лилиана видела, что мужчина не решается создать иллюзию даже на одну ночь, и подумала, что ему подобает маска величайшего скупца!

Жаждущая иллюзии женщина исчезла среди танцующих.

Теперь все выделывали замысловатые фигуры мамбо — танца, который не только заставляет двигаться тело, но и порождает слова, которые без него сказать невозможно.

Благодаря своему костюму доктор преобразился. Лилиана была изумлена, наблюдая его в роли безжалостного любовника, способного наносить жестокие раны на поле любовной битвы и не знающего снисхождения. Он уже отделил Диану от Крисмаса, бросив несколько иронических замечаний, а еще одну женщину оставил в полном одиночестве на палубе среди сложенных кольцами канатов, напоминающих спящих анаконд.

На Лилиану действовало не только выпитое шампанское, но и особая нежность ночи, такая осязаемая, что с каждым вдохом Лилиана проглатывала ее часть: она чувствовала, как ночь течет по ее артериям, словно новый наркотик, еще не открытый химиками. Лилиана глотала ночь, она глотала льющийся свет фейерверка

и переливалась его цветами. Это было не только шампанское, но и веселые крики местных мальчишек, ныряющих на дно за серебряными монетками по обе стороны от яхты и карабкающихся потом по якорной цепи поглазеть на праздник.

Теперь для нее существовало много Голконд — одна над горизонтом, темные холмы в ожерельях дрожащих огней, другая — отражение на атласной поверхности залива, третья — Голконда масляных ламп в хижинах местных жителей, четвертая — Голконда свечей, пятая — Голконда холодного неонового света, неонового креста над церковью, неоновых глаз будущего, лишенных теплоты. Но все они казались красивыми, когда отражались в воде.

Доктор Эрнандес танцевал с женщиной, напомнившей Лилиане одну картину Мэна Рэя: огромный рот во всю ширину холста. Молодой человек, которому женщина предпочла доктора, выглядел обескураженным. Лилиана заметила, что он бледен. Опьянение? Печаль? Ревность? Одиночество?

Она сказала ему:

— Во всех Кони-айлендах мира есть такой аттракцион — скользкий вращающийся круг,

на котором надо удержаться. Он вращается все быстрее и быстрее, и люди не в силах удержаться на гладкой поверхности, они соскальзывают.

— Я знаю, как удержаться: надо поплевать на ладони.

— Тогда давайте оба поплюем на ладони, — сказала она и, увидев, как он поджал губы, испугалась, что он обиделся. — Мы соскользнули в один и тот же момент.

Его улыбка была такой натянутой, что казалась гримасой. Крики мальчишек-ныряльщиков, наркотические огни, фейерверк и танцующие ноги уже не трогали их, и они поняли, что пребывают в одном и том же настроении.

— Время от времени, на какой-нибудь вечеринке, в самый разгар веселья, я вдруг испытываю ощущение, будто выброшена из круга, — сказала она, — что я давно должна успокоиться, что я натолкнулась на препятствие. Не знаю, как это выразить…

— Я живу с этим ощущением не время от времени, а постоянно. Может, сбежим отсюда вместе? У меня есть красивый дом в старом городе, всего в четырех часах езды отсюда. Меня зовут Майкл Ломакс. Как вас зовут, я знаю. Я слышал вашу игру.

В джипе Лилиана задремала. Ей приснился

экскурсовод из местных жителей, с бронзовым обнаженным торсом, стоящий у входа в ацтекскую могилу. Он держал в руке мачете и спрашивал: «Не желаете ли пройти в гробницу?»

Лилиана собиралась ответить отказом, но проснулась — джип тряхнуло на неровной дороге так, словно она ехала на верблюде. Она услышала гул моря.

— Сколько вам лет, Майкл?

Он рассмеялся:

— Двадцать девять, а вам около тридцати, так что покровительственный тон вам не к лицу.

— Юность колюча, как кактус, — пробормотала Лилиана и снова заснула.

Ей приснился новый сон, напоминающий картину Кирико, — бесконечные развалины каких-то колонн и фигуры призраков между ними, то огромные, вроде греческих статуй, то крохотные, какими они являются иногда в сновидениях.

Но это был не сон. Она уже не спала. Занималась заря, и машина ехала по булыжной мостовой древнего города.

Ни одного уцелевшего дома. Руины некогда пышной архитектуры в стиле барокко, безмолвно покоящиеся с тех пор, как произошло изверже-

ние вулкана и дома были наполовину погребены под пеплом и лавой. Ни движения людей, ни дуновения ветра — полная неподвижность.

Индейцы жили за искореженными стенами тихо, словно в трауре по древнему великолепию. Жизнь каждой семьи протекала во внутренних двориках-патио, и поскольку выходящие на улицу окна были закрыты ставнями, у города был такой вид, словно его населяли призраки.

Ряды колонн, которым уже нечего было поддерживать, церкви, открытые куполу неба, пустые сиденья колизея, взирающие на изуродованные статуи на арене, которые опрокинула торжествующая лава. Монастырь без дверей, кельи, тюрьмы, потайные лестницы — все оказалось выставленным напоказ.

— Вот мой дом, — сказал Майкл. — Когда-то здесь был монастырь. А церковь, кстати сказать, — исторический памятник. Точнее, то, что от нее осталось.

Они пересекли патио, где звучала музыка фонтанов, и вошли в комнату с высоким потолком и покрытыми белой штукатуркой стенами. Темные деревянные балки, кроваво-красные занавеси, кованые решетки на окнах создавали те драматические контрасты, которые и составляют

сущность испанской жизни — конфликт между суровостью и страстью, поэзией и дисциплиной. Высокие стены придавали помещению чистоту и величественность, насыщенный и чувственный красный цвет — примитивную пылкость, темное дерево — сумрачное благородство. Железные решетки символизировали удаление от мира, позволяющее индивидуальности расцвести пышным цветом, чего не было уже после того, как были сметены барьеры знатности и сословного величия.

Церковные колокола, хотя и не звали на службу, продолжали настоятельно звонить, так что казалось, что они денно и нощно взывают к жителям города, несколько лет назад похороненным извержением вулкана.

Шагая рядом с Майклом по безмолвным улицам города, Лилиана удивлялась, насколько мирно и дружно живут теперь испанцы и индейцы-майя, не проявляя ни следа былой вражды. Если какое-то противостояние и сохранялось, оно было столь тонким и неявным, что ни испанцы, ни приезжие просто его не замечали. Майкл несколько раз повторил:

— Индейцы — самый упрямый народ в мире.

В темных сонных глазах индейцев белым

людям не удавалось поймать и проблеска одобрения. Если кто-то из белых приближался, индейцы не выражали гостеприимства, а просто молчали, и их подернутые пеленой обсидиановые глаза не проявляли никаких чувств, как будто люди превратились в глиняные горшки, покрытые черным лаком. Белые начинали пространно объяснять, какую еду им приготовить, какой дом построить, какое платье сшить, но в глазах индейцев не было преданности, лишь легкая насмешка над придурью пришельцев — и прошлых, и нынешних. Индейцы соглашались работать на белых чужаков, но не любили их эксцентричность и отказывались повиноваться. Внешне это выглядело как невежество и непонимание, а на самом деле являлось мощным пассивным сопротивлением переменам, которое, вопреки всем внешним влияниям, позволяло сохранять свой образ жизни.

Колокола католической церкви продолжали звонить, но для индейцев это была лишь еще одна внешняя форма, которую следовало принять, а затем непостижимым и ускользающим образом высмеять. По праздничным дням они смешивали тотемные столбы и статуи святых, ладан и индейские благовония, облатки и магическую пищу

майя. Им доставляли удовольствие церковное пение, орган, огонь свечей, кружево и парча; они играли с иконами христианских святых и заодно — с индейскими ожерельями из костей.

Тишина древнего города была столь явной и ощутимой, что Лилиане стало не по себе. Сначала она не понимала, чем именно это вызвано. Над ее головой повисло тревожное напряжение: в нем скрывалась та же угроза, что и в незнакомых звуках в джунглях, которые она слышала по пути сюда.

Она не могла понять, что заставляет Майкла жить здесь, среди развалин. Благодаря своей погруженности в прошлое город был насыщен поэзией, как города в изображении художников, оставляющих непрописанными некоторые детали, что позволяет зрителю заполнять пустоты по своему усмотрению. Отсутствующие на полупустом холсте элементы очень важны как свободное пространство, на котором человеческое воображение вычерчивает собственные представления, воссоздает архитектуру своих мифов с улицами и персонажами своего личного мира.

Власть руин, в которые превратился древний город, оказалась еще сильнее, она пробуждала

воображение, требовала мысленно отстроить его заново и тем самым устремляла в беспредельные высоты его красоту, не подверженную ни разрушению, ни затмению настоящим, не превращающую в обыденное, не обнаруживающую свои изъяны.

Чтобы достичь такой высоты, нужно было уметь отбрасывать детали, затрудняющие полет воображения и приземляющие его.

Тюрьмы, еще помнящие сцены ужасов, увитые побелевшими от времени потоками плюща, приобретали на солнце умиротворенность и пассивность, пропитывались духом смирения, прощавшего преступления человека против человека. Со временем даже самая лютая жестокость прощается просто потому, что священная личная ценность человека утрачивается, если его отец, мать, сын, брат, жена — то есть те, для кого его жизнь имеет особую ценность и незаменимость, — перестают существовать. Время бессильно любить человека, который остался один, и решительно его обезличивает. Его печали, мучения, смерть исчезают в безликой истории или превращаются в те поэтичные мгновения, которых так жаждут туристы, когда сидят на поверженных колоннах и наводят объективы

фотоаппаратов на разграбленные гробницы. И никто из них не подозревает, что среди этих развалин и блуждающего по ним эха они учатся обесценивать значение отдельного человека и подготавливают себя к исчезновению.

Древний город так подействовал на Лилиану, что у нее защемило сердце. Она не привыкла к таким путешествиям в прошлое. Ей казалось, что город до сих пор оплакивает своих усопших, хотя и не в силах вспомнить их поименно. Это напомнило ей руины с картин Кирико. Она спросила Майкла:

— Откуда эта гнетущая тишина?

— Здесь нет ветра, — ответил Майкл.

И вправду, отсутствие ветра придавало городу статическую красоту живописного полотна.

Была и другая причина тишины. Лилиана обнаружила ее только после обеда, когда, сидя в одиночестве на террасе, загорала.

Солнце было таким пронзительным, что одурманивало. Лилиана заснула и увидела сон. Огромный стервятник кружился над террасой, затем камнем упал вниз, и она почувствовала удар клюва в плечо. Проснувшись от собственного крика, Лилиана поняла, что это был не сон: стервятник оставил отметину на ее плече и те-

перь тяжело, медленно улетал прочь.

Там, где поселяются стервятники, они убивают всех певчих птиц. Отсутствие певчих птиц вместе с отсутствием ветра и было причиной мертвой тишины.

Ей переставал нравиться древний город. На краю города грозно вздымался вулкан. Он поднимался вверх так круто и высоко, что его вершина скрывалась в облаках.

— Я там был, — сказал Майкл. — Заглядывал в кратер и видел, как тлеет внутренний огонь земли.

В воскресенье Майкл сказал:

— Я бы хотел, чтобы ты каждую неделю проводила здесь выходные.

В тот вечер он, Лилиана и другие гости сидели в патио, как вдруг в небе появилась какая-то летящая комета, которая тут же взорвалась и рассыпалась фонтаном искр.

Лилиана подумала: «Вулкан!»

Они подбежали к выходящим на улицу окнам. Там стояла, смеясь и разговаривая, толпа юношей, одетых в аккуратные темные костюмы и сверкающие белизной рубашки. Фейерверк освещал их смуглые гладкие лица. Маримба звучали словно игрушечные детские пианино, и извлека-

емые из них легкие звуки были такие задорные, как будто инструменты заливались смехом.

Пиротехнические сооружения в виде высоких деревьев были устроены так, что срабатывали поочередно, ветка за веткой. С золоченых верхушек и красных веток свисали закрученные спиралью планеты, цветы и колеса, они вспыхивали и взвивались в небо, где взрывались, рассыпались и падали на землю, словно кто-то проткнул солнце, луну и звезды и это они брызнули потоком драгоценных камней света, частицами восторга.

Цветы рассыпали вокруг золотую пыльцу, планеты улетали в космос, оставляя за собой пепел и голые каркасы. Некоторые колеса, усиливая яростное вращение с каждым взрывом своих золотых спиц, срывались и навсегда улетали в небо, не возвращаясь ни золотым дождем, ни пеплом.

Дети мчались туда, куда падали искры, и становились под золотой дождь, словно он мог превратить в свет лохмотья их одежд и жизней.

Майкл стоял рядом с Лилианой, не получая от этого зрелища особого удовольствия. Он смотрел на парней с выражением, в котором угадывался холодный блеск голода, но никак не эмоция. Скорее даже холодный блеск глаз охотника, наводящего ружье на добычу перед тем, как ее убить.

— Эта фиеста предназначена только для мужчин, Лилиана. Мужчины здесь открыто любят друг друга. Взгляни, как они держатся за руки.

Лилиана поняла его слова по-своему: он хочет, чтобы это было так, именно так.

— Они хотят оставаться в кругу мужчин. Им нравится там, где нет женщин, — говоря это, он смотрел на нее без злости, но наблюдал за эффектом, который произведут его слова.

— Майкл, в детские годы я жила в Мексике. Здесь женщин держат вдали от улиц и кафе, держат дома взаперти. Но это вовсе не то, что ты думаешь…

Они смотрели на опрятно одетых молодых людей, любующихся фейерверком. Потом заметили, что окно на противоположной стороне улицы ярко освещено и в нем, за железным ограждением, стоит совсем юная девушка в белом платье. Комната позади нее наполнена людьми, и звучат маримба.

Воцарилась тишина. Один из юношей вышел вперед, встал с гитарой под окном девушки и запел серенаду, воспевающую ее глаза, улыбку и голос.

Она ответила ему ясным, нежным голосом, приняла комплименты, улыбнулась, но войти не

пригласила. Это означало, что серенада исполнена недостаточно артистично.

Это был ежегодный поэтический турнир, где в расчет принималось только мастерство стихосложения. Так что парни, которые танцевали друг с другом на улице, были всего лишь плохими поэтами, которых не пустили в дом!

Одна из серенад в конце концов понравилась девушке, и исполнивший ее юноша получил приглашение войти. Семья девушки встретила его у дверей. Остальные парни громко подбадривали.

Лилиана сказала:

— Я хочу потанцевать с плохими поэтами!

— Нет, — сказал Майкл. — Нельзя!

— Почему же?

— Здесь так не принято.

— Но я американка. Я не обязана соблюдать местные традиции.

Лилиана вышла на улицу. Когда она появилась на пороге, студенты уставились на нее с благоговейным ужасом. Потом довольно забормотали:

— Американке дозволяется танцевать на улицах.

Один из них, посмелее, пригласил ее на танец. Лилиана скользнула в его объятия. Маримба звенели, как музыкальные шкатулки, как тибетские

колокольчики, как балийские цимбалы. Фейерверк освещал небо и лица.

Молодые люди сомкнулись вокруг нее в ожидании танца. Протянули ей цветок, чтобы она украсила волосы. Тактично, словно живой стеной, оттеснили ее от своих пьяных приятелей. Она переходила из объятий в объятия. И всякий раз видела в окне лицо Майкла — холодное и сердитое.

Танцы становились все быстрее, смена партнеров — все стремительнее. Они пели ей прямо в ухо.

Вечер тянулся медленно, она уже устала от танцев на булыжной мостовой и к тому же слегка нервничала из-за того, что пыл и возбуждение окружавших ее юношей нарастали. Не прекращая танцевать, она двинулась к дому, где, стоя у окна, ее ждал Майкл. Парни поняли, что она хочет покинуть их, и те, с кем она еще не успела потанцевать, протискивались вперед, упрашивая не уходить. Но Лилиана решительно двинулась к двери — она уже задыхалась от долгого танца да к тому же потеряла каблук. Майкл открыл дверь и, как только она вошла, захлопнул. Юноши принялись колотить в дверь, в какой-то момент Лилиана испугалась, что они сорвут ее с петель.

Вдруг она заметила, что Майкл дрожит. Взглянув на его бледное, перекошенное, несчастное лицо, Лилиана ласково спросила:

— Что с тобой, Майкл? Что с тобой? Неужели это из-за моих танцев на улице? Или из-за того, что твои фантазии насчет мира без женщин не подтвердились? Почему бы нам не пойти в гости? Нас пригласили в дом Королевы!

— Я не пойду.

— Не понимаю тебя, Майкл. Ты явно дал мне понять, что хочешь жить в мире без женщин.

— Я не смотрю на тебя как на женщину.

— Но почему ты против того, чтобы я пошла на вечеринку?

— Потому.

Она вспомнила, что приехала сюда из-за того, что он был в подавленном состоянии и ей хотелось помочь ему, а не причинять новые огорчения.

— Хорошо, я останусь с тобой.

Они сидели во внутреннем дворике. Больше там никого не было.

Если город, который мы выбираем, думала Лилиана, отражает наш внутренний ландшафт, то Майкл выбрал себе величественную гробницу, чтобы жить среди руин своих прошлых любов-

ных историй. Красота его дома, одежды, картин и книг подобна драгоценным камням, урнам, благовониям и золотым орнаментам в гробницах египетских фараонов.

— Давным-давно, — сказал Майкл, — я дал себе обещание больше не влюбляться. Перевел свои желания в область анонимного.

— Но не чувствовать… не любить… Майкл, это все равно что умереть при жизни!

Похоронив свои чувства, он как бы умер. Труп прежних чувств, который он носил в себе, придавал ему, несмотря на всю его элегантность и здоровый внешний вид, ту статичность, которая и делала его похожим на мертвый древний город.

— Скоро начнутся дожди, — сказал он. — В доме будет холодно и сыро. Дороги станут непроходимыми. Я-то надеялся, что до той поры ты будешь продолжать работать в гостинице.

— А почему бы тебе не вернуться в Голконду?

— Это место соответствует моему нынешнему настроению, — ответил Майкл. — Веселье и жизнерадостность Голконды ранят меня точно так же, как слишком яркий свет твоих глаз…

— Какой странный у нас разговор, Майкл. В этом патио, похожем на иллюстрацию к «Тысяче

и одной ночи», с фонтаном, пальмой, цветами, мозаичным полом, невероятной луной, ароматом роз… И вот мы сидим здесь как брат с сестрой, пораженные таинственной болезнью. Рядом, на улице, люди танцуют, течет река удовольствия, а мы лишены всего этого… по собственной воле.

Ночью ее комната с белыми стенами, темной мебелью и решетками на окнах напоминала монашескую келью. Она знала, что не останется здесь, что Майкл просил ее разделить с ним уход от мира.

Во тьме она услышала шепот. Что-то страстно говорил Майкл, и кто-то ответил: «Нет, нет». Потом послышался звук передвигаемого стула. Быть может, Майкл пытался соблазнить кого-то из юных поэтов? Майкл, который говорил ей:

— Я не могу удержать тебя здесь, и единственное, о чем молю, это чтобы в следующей жизни ты родилась мальчиком, и тогда я полюблю тебя.

Однажды в Голконде она увидела автобус с надписью «Сан-Луис». Так назывался городок, рядом с которым жил Хэтчер. Она поднялась в автобус.

Он был переполнен, и не только людьми. Там были мешки с зерном, связанные вместе курицы, индюшки в корзинах, церковные стулья красного бархата, сумка с письмами, младенцы на руках.

На переднем сиденье сидел молодой тореадор, которого она в прошлое воскресенье видела на арене, совсем юное и хрупкое создание. Сейчас его темные волосы были распущены и растрепаны, а не прилизаны и завязаны пучком, как это принято у тореадоров. На арене он будто бы состоял из одних нервов, был упругим, наэлектризованным, эластичным. В белых штанах и свободной рубашке он казался уязвимым и нежным. Но Лилиана видела его дико разозленным на быка, видела, как он отчаянно бросился на него после того, как тот, напав на тореадора, продрал ему штаны и буквально раздел у всех на виду. Крохотный лоскут плоти, просвечивающий сквозь бирюзовую парчу штанов, пламенеющая, выставленная напоказ теплая человеческая плоть превратила случившееся в чувственную сцену, в дуэль между агрессором и жертвой, напряжение которой казалось скорее сексуальной схваткой, чем ритуальным состязанием между человеком и животным.

Эта демонстрация уязвимости подействовала на женщин возбуждающе, но задела достоинство тореадора, сделала его в тысячу раз злее, яростнее, отчаяннее…

Водитель автобуса подшучивал над ним. То-

реадор сказал, что едет в Сан-Луис навестить родителей, а водитель считал, что он едет навестить Марию. Тореадор не был расположен к разговору. Рядом с ним сидела какая-то старуха в черном платье. Она дремала, свесив голову на корзину с яйцами, которую держала на коленях. На следующей остановке вошел еще один пассажир с канделябрами в руках.

— Они что, церковь перевозят, что ли? — удивился мужчина с индюками.

Он стоял, не осмеливаясь присесть на один из красных бархатных церковных стульев. Потом поменялся местом с пассажиром, везущим кур. Мешок с зерном подскакивал на дорожных ухабах и в конце концов прорвался. Тоненькой струйкой посыпалось зерно. Курицы, связанные вместе, начали тянуть шеи к зерну и рваться на свободу. Хозяин мешка страшно разозлился и, не зная, что делать, просто сел на пол возле мешка и заткнул дыру рукой. На соседнем сиденье расположились англичанка и мексиканская девочка. Женщина была школьной учительницей. Ее английское платье было совсем изношенным, заштопанным и с заплатками, но она отказывалась носить мексиканскую одежду. Ее редкие желтые волосы прикрывала колониальная шляпка. Книжки, ко-

торые она везла с собой, были пожелтевшими и ветхими, уголки страниц — жеваными, обложки — порванными. Автобус то и дело останавливался, чтобы водитель передал письма и обменялся новостями, за что на каждой остановке получал по стакану пива. «Скажите Хосефе, что у ее дочери вчера родился сын. Скоро получите от нее письмо. Она приглашает вас на крестины».

Вошел еще какой-то мужчина. Брюки на нем были подвязаны бечевкой. Соломенная шляпа выглядела так, словно коровы жевали ее поля, пока не дошли до малоаппетитных пятен от пота. Рубашка не знала, что такое стирка. Мужчина вез кактусовые фиги.

На следующей остановке появился священник на велосипеде. Чтобы ряса не попала в велосипедные спицы, священник подвязал ее веревочками. Сейчас, соскочив с велосипеда, он позабыл их развязать и, когда побежал к автобусу, упал на белой пыльной дороге. Никто не засмеялся. Наоборот, священнику помогли вытащить из автобуса стулья и канделябры и расставить их на обочине. Потом женщины подхватили их и, водрузив себе на голову, последовали за священником в волнах белой пыли, вздымаемой его велосипедом.

Автобусные сиденья были сделаны из твердого

дерева. На каменистой, неровной, полуразбитой дороге автобус подпрыгивал, как мустанг. Лилиана с трудом удерживалась на своем месте. Тореадор сладко спал и совершенно не был похож на того молодого человека который подвергся символическому изнасилованию на глазах у тысяч людей.

Маленькая девочка лет семи, похожая на Лиетту, старшую дочь Эдварда, разговаривала с водителем звонким, как маримба, голоском. Лилиана почувствовала, как по всему ее телу разливается нежность к Лиетте, которая, несмотря на свою загорелую и темную, как у мексиканок, кожу, обладала той прозрачностью и открытостью, которые Лилиана невероятно любила. Такие дети словно сделаны из фосфора, и можно видеть излучаемый ими свет. Прозрачное дитя. Ее собственная дочь была точно такой же. Но в один прекрасный день дети утрачивают это свойство. Каким образом? Почему? В один прекрасный день, без всякой видимой причины, они зашторивают свои мысли, прячут под вуалью чувства, и прочесть что-нибудь, как раньше, по их лицам уже невозможно. Прозрачное дитя! Какое счастье смотреть на открытые чувства и мысли!

Маленькую девочку, которая говорила с водителем, ничуть не волновало, что тот ее не слушает. У нее были такие большие глаза, что, казалось, она должна видеть гораздо больше, чем другие дети. Глаза были окаймлены густыми ресницами и устремлены на дорогу.

Сама Лилиана тоже когда-то была прозрачной. Как возникли эта тяжелая ограда, тюремные стены, гнетущая тишина? Не подозревая о своей великой потере, утрате детской прозрачности, человек превращается в актера, чье занятие — манипулирование лицом так, чтобы у других возникла иллюзия, будто они читают его душу. Иллюзия! Как ей понравилась тогда ярость, с которой тореадор накинулся на быка. Этот мягкий и нежный юноша, что сейчас тихо спит, с какой злостью бросился он на направленные на него рога!

Когда же возникла затуманенность? Недоверие, страх перед осуждением. Автобус ехал через туннель.

Лиетта. Лилиана не могла точно сказать, пыталась ли она понять Лиетту, или своих родных детей, или ту Лиетту, которой сама была когда-то. Она вспомнила, как маленький носик Лиетты чуть заметно подрагивал от страха, когда к ее

отцу приближалась одна из ослепительных женщин.

Автобус подскакивал на ухабах, как дикий мустанг. Удержатся ли они? В темноте туннеля Лилиана потеряла образ Лиетты в голубом купальнике и вспомнила себя в этом возрасте, себя и других детей, с которыми она играла в Мексике в то время, когда ее отец строил мосты и дороги. Сначала она вспомнила свисток, которым мать отрывала ее от игры. У матери был очень громкий свисток. Дети слышали его, как бы далеко ни находились. Их игровой площадкой был город под городом, наполовину вырытое, но так и недостроенное метро американского типа. Города минувших столетий, похороненные под лавой, застывшей под нынешними домами, садами, улицами. На улицах имелись люки для слива дождевой воды — источники слабого света для тех, кто находился внизу. Люди шагали по улице, не подозревая, что проходят над другим городом. Соседские дети принесли в подземелье коврики, свечи, игрушки, шали и жили там своей тайной жизнью, куда более интенсивной, чем жизнь на земле. Им строго-настрого запрещалось спускаться вниз, их предупреждали насчет шахт, канализационных труб, подземных рек…

Дети всегда держались вместе и не решались удаляться от освещенных проходов. Они боялись заблудиться.

Из любого уголка подземного города Лилиана могла услышать, как мать зовет ее домой. Она не могла себе представить, что когда-нибудь ослушается свистка матери. Но однажды она заигралась с по-дружкой-мексиканкой, которая учила ее вырезать из бумаги животных и цветы, и так увлеклась возникающими из ничего фигурками, что, когда послышался свисток, притворилась, будто его не слышит. Ее братья и сестры ушли, а она продолжала вырезать кораблики, звезды, фонарики, солнца и луны. Вдруг ее свеча догорела и погасла.

Собрав всю кучу бумаг, она по памяти направилась к люку, выходившему к стене их сада. Вокруг стояла кромешная тьма. Глина под ногами была сухой. Лилиана шла уверенно, пока не почувствовала, что глина становится все более влажной. Сырой глины в тех местах, где они обычно играли, не было. Ей стало страшно. Она вспомнила рассказы про шахты, реки, сточные трубы. Мысль о том, что люди свободно гуляют там, наверху, прямо над ее головой, не подозревая, что она здесь, лишь усиливала страх. Она

еще не знала точного смысла смерти, но в тот момент поняла: это и есть смерть. Прямо над ее головой семья садится за ужин (ей даже померещились голоса), но они ее не услышат. Братья и сестры поклялись не выдавать секрета и никому не расскажут, где она.

Лилиана закричала в один из забранных решеткой люков. Улица была пустынной, никто не ответил. Она сделала еще несколько шагов по сырой глине и почувствовала, что ноги увязают все сильнее. Она споткнулась о какую-то деревяшку, подняла ее и принялась стучать по потолку и звать на помощь. Сверху посыпалась грязь. Тогда она села и заплакала.

И в тот самый момент, когда Лилиане показалось, что она умирает, появилась мать со свечой в руке в сопровождении братьев и сестер.

(Когда ты не отвечаешь на свисток долга и послушания, ты рискуешь умереть в одиночестве в заброшенных городах прошлого. Когда ты одержим восторгом создания розовых, голубых и белых животных и цветов, кораблей и солнечных систем, ты навлекаешь на себя одиночество и катастрофу. Когда ты предпочитаешь играть в свое царство вдали от родительских глаз, ты накликаешь смерть.)

Для некоторых Голконда была городом удовольствий, за посещение или любовь к которому следовало нести наказание. Быть может, отсюда и проистекали присущие авантюристам суеверие и тайна их обреченности на изгнание?

Отец Лилианы никогда не улыбался. Он весь зарос черными волосами, даже пальцы были волосатыми. Много пил и легко приходил в ярость, особенно при общении с местными жителями. Тропики и любовь к удовольствиям были его личными врагами — они мешали строительству дорог и мостов. Дороги и мосты были главными персонажами его жизни.

Мать тоже никогда не улыбалась. Ее дом был домом без улыбок. Отец, для которого строительство дорог и мостов являлось самым серьезным делом в мире, был недоволен тем, что местные жители не принимают его всерьез, а мать раздражало то, что дети растут «дикарями». Единственное, чему они научились, — это петь, танцевать, раскрашивать себе лица, делать игрушки, какие делают мексиканские дети, возиться с приблудными ослами и козлами и улыбаться. Мексиканские дети улыбались так, что Лилиане казалось, будто этой улыбкой они отдают все, что имеют, отдают себя целиком. В ее доме очень много говорили об

экономии, вероятно, она распространялась и на улыбки. Следовало экономить улыбки, улыбаться вполсилы, криво, косо. А мексиканские дети безрассудно жили в настоящем и не задумывались о будущем. Неужели эти ослепительные улыбки когда-нибудь износятся?

Смерч разрушил один из мостов, который построил отец Лилианы, и он воспринял это как личное оскорбление, словно природа надсмеялась над его самоотверженной деятельностью. Потом наводнение размыло дорогу. Еще одно личное оскорбление со стороны природы! Не из-за этого ли они вернулись на родину? Или из-за того, что на улицах начали стрелять и то и дело вспыхивали мятежи?

Однажды, когда Лилиана играла на школьном концерте на пианино, в зале раздался выстрел. Он предназначался директору, но лишь разбил люстру. Пока люди в панике покидали зал, Лилиана хладнокровно доиграла пьесу до конца. Интересно, если бы она не покинула тогда Мексику, сумела бы она вырасти такой непохожей на других?

Не живет ли каждый из нас в двух городах одновременно: один — над землей, под солнцем Голконды, а другой — под землей? И не превра-

щается ли время от времени в ребенка, каким он когда-то был?

Должен же найтись хоть кто-то, с кем можно вести разговор, оставаясь абсолютно честным по отношению к мыслям, которые приходят в голову?

В какой-то момент люди начинают вдруг замыкаться. И тогда понятие «прозрачный» становится ключевым. Лиетта была прозрачной. Девочка, болтавшая с водителем автобуса, была прозрачной. Водитель ее не слушал, но она была прозрачной, открытой.

Автобус остановился у широкой реки, за которой лежала деревня Сан-Луис. Автобус дожидался парома Паром представлял собой большой плот из связанных вместе бревен. Двое мужчин толкали его длинными бамбуковыми шестами. Сейчас паром был на полпути к берегу.

Старуха в черном расставила на продажу бутылки с соками и кока-колой. Тореадор выскочил первым.

— Приехал навестить своих, Мигелито?

— Да, — ответил он угрюмо. Ему явно не хотелось разговаривать.

— Что с тобой, Мигелито? Обычно ты владеешь языком так же ловко, как и шпагой!

Вот и он совершал свое путешествие по обоим городам одновременно. Быть может, все еще оставался на арене и злился на быка? А может, переживал из-за расходов на покупку нового костюма?

Плот приближался. На нем стоял джип Хэтчера.

Увидев Лилиану, Хэтчер заулыбался:

— Приехали навестить меня? Я мог бы вас привезти.

— Мне захотелось прокатиться на автобусе.

— Я хочу купить несколько бутылок воды, а потом сразу же обратно. Где ваша сумка?

— Я без багажа. Приехала на выходные, поддалась прихоти настроения.

— Моя жена будет рада с вами познакомиться. Ей здесь довольно одиноко.

Бутылки с водой погрузили в джип. Потом и джип, и автобус въехали на паром.

У Хэтчера были такие же волосатые пальцы, как у отца Лилианы. И, подобно ее отцу, он любил командовать. Паром как будто стал его собственностью, паромщики — подчиненными, переправа — его личной задачей. Он даже хотел изменить курс парома, установленный сотни лет назад. Его улыбка превратилась из полуулыбки в

четверть-улыбку, словно у него не оставалось времени излучать тепло и проявлять сердечность.

Лилиана уже жалела о том, что приехала. Вместо путешествия в солнечной ладье ее ожидало ночное путешествие в прошлое, тянущееся из прошлого. Вот уже три месяца она не в состоянии жить абсолютно новой жизнью в новом городе и потому, как пуповиной, привязана к фигуре своего отца. Хэтчер был эхом из прошлого.

Плот причалил, дальше надо было ехать по джунглям. Пыльная узкая дорога, места едва хватало для одной машины. Кактусы и банановые листья касались лиц. Они углубились в лес и отъехали уже на порядочное расстояние от жилья, как вдруг увидели на дороге молодого человека. В руках он держал небольшой чемоданчик вроде докторского саквояжа. На глазах темные очки.

— Я доктор Палас, — сказал он. — Подвезете?

Усевшись рядом с Лилианой, он объяснил:

— Я принимал здесь роды. А живу в Кулакане.

У него был с собой французский роман. Наверное, такие же романы возил когда-то в своем саквояже и доктор Эрнандес. Интересно, а этому все еще скучны и безразличны его пациенты-бедняки или он уже полностью им себя отдает? Лилиане захотелось спросить об этом. Словно

угадав ее вопрос, он сказал:

— Сегодня ночью глаз не сомкнул. В полночь пришел лесоруб, ему в глаз попала щепка. Я пытался отправить его домой, надеялся, что он устанет ждать и уйдет. Просто не мог заставить себя подняться. Но он торчал у меня на крыльце, пришлось встать. Даже во сне я слышал, как он зовет меня. Они зовут меня, как дети зовут мать. Целый год это терпеть!

Среди деревьев то и дело появлялись согнутые фигуры батраков с мачете в руке. Белые штаны, голый торс, сандалии и сомбреро. Заслышав машину, они выпрямлялись и провожали ее мрачным взглядом.

Один из них махнул Хэтчеру рукой, чтобы остановился. Лилиана увидела, что Хэтчер весь напрягся. Батраки подтолкнули к машине перепуганного ребенка:

— Возьмете его? Он слишком мал, чтобы идти всю дорогу пешком.

— Перелезай через бутылки, — сказал Хэтчер.

Но ребенок был очень испуган. Он уцепился за висевшее сзади запасное колесо, а когда джип стал медленно спускаться в глубокое ущелье, соскочил и скрылся в лесу.

— Вот здесь я живу, — сказал Хэтчер, после того

как они повернули налево и въехали на плато на вершине холма.

На этой открытой площадке он построил себе дом — крышу на столбах с одной задней стеной. Кухня на открытом воздухе. Женщина-мексиканка склонилась над корытом и подошла только после того, как Хэтчер ее позвал. Она была маленькая, приземистая, с печальным лицом, но взгляд, который она бросила на Хэтчера, был ласковым, а улыбка — на удивление теплой. Что касается гостей, то она старалась разве что быть вежливой.

— Мы просим извинений, дом еще не готов. Муж работает в одиночку, а дел так много.

— Принеси-ка кофе, Мария, — попросил Хэтчер.

Она ушла, оставив их за столом на террасе. Они не могли оторвать взгляда от полосы невероятно белого песка и ослепительно белой пены, которая сочилась из огромных ползучих растений на самой кромке песка. Птицы заливались, словно в исступлении, обезьяны на деревьях издавали смешные вопли. Все краски казались здесь чище, а само место — необитаемым.

Появилась Мария с кофе в термосе. Хэтчер потрепал ее по плечу и посмотрел с благодар-

ностью.

— Самая чудная из жен, — сказал он.

— А он — прекрасный муж, — сказала Мария. — В Мексике мужчины не любят распространяться о том, что женаты. А Гарри, когда приезжает в Голконду, всем говорит о своей жене.

Пока Хэтчер о чем-то беседовал с молодым доктором, она повернулась к Лилиане и добавила чуть потише:

— Не знаю, за что он меня любит. Я такая приземистая и толстая. Когда-то он был женат на такой, как вы, — высокой, с длинными накрашенными ногтями. Но о ней он никогда не рассказывает. А я работала у него секретаршей. Мы хотим построить здесь красивый дом. Только начали.

У задней стены была устроена спальня. Лилиана представила их вместе. Она была уверена, что Хэтчер спит, положа голову на грудь жены. А жена податлива, пассивна, предана ему до конца.

Лилиане было интересно знать, действительно ли Хэтчер счастлив. Уж больно подчеркивает свое счастье. С виду не скажешь, что он спокойный и склонный к созерцанию. Он перечислял все окрестные красоты, словно призывая их в свидетели. Когда же речь зашла об Америке, на его губах появилась гримаса.

— Нет, не скучаю. Ни по американским женщинам, ни…

Он замолчал, как будто впервые сообразив, что Лилиана была одной из этих женщин. Глаза Хэтчера остановились на ногтях Лилианы.

— Терпеть не могу накрашенные ногти! — сказал он. До сих пор он вел себя вполне дружелюбно. И вдруг тень воспоминания отбросила его на мгновение в город под городом, в подземные пещеры памяти. Потом он снова вернулся в настоящее и принялся описывать те виды работ, которые ему предстоит сделать. — Как видите, работа еще в самом начале.

На террасе бок о бок, как в казарме, стояло несколько походных кроватей, разделенных ширмами.

— Надеюсь, вы не против того, чтобы поспать на открытом воздухе?

Мексиканский доктор собрался уезжать:

— Завтра я еду в Голконду. Мои приятели собираются провести там несколько дней. Если хотите, мы вас захватим.

Лилиана решила пройтись до пляжа. Она оставила чету Хэтчеров за обсуждением меню ужина и спустилась по тропинке с холма. Открывающие ей навстречу свои кроваво-красные бархатные

лики цветы выглядели так выразительно, словно собирались заговорить. Песок был похож не на песок, а на затуманенное стекло, отражающее свет. Брызги и пена волн были необыкновенной белизны. Море слоилось вокруг нее, словно жидкий скульптор касалось пальцев ее ног, бедер, груди. Теплые руки моря лепили ее тело.

Она закрыла глаза.

Когда Лилиана вышла на берег и оделась, то почувствовала себя заново родившейся. Она закрыла глаза памяти. Почувствовала себя одним из этих красных цветков, поняла, что может говорить кожей, каждой ее волосинкой, всегда быть открытой и никогда больше не замыкаться.

Она подумала об упрощенной жизни. Готовить на костре, ежедневно плавать, спать на открытом воздухе, без простыней, под шерстяным мексиканским одеялом. Носить сандалии, чувствовать свободу тела в легких одеждах, мыть волосы в море, завивать их воздухом. Не красить ногти.

Когда Лилиана вернулась, Мария уже накрыла на стол. Его освещали висящие на проводе тусклые лампочки. Было слышно, как работает генератор. Деревья были полны светлячков, сверчков, острых запахов.

— Если желаете смыть с себя соль, там внизу,

слева, есть ручей и пруд. Возьмите свечу.

— Мне нравится соль на коже.

На столе стояли блюда с черными бобами, рисом и тамале[9]. И опять кофе в высоком термосе.

После ужина Хэтчеру захотелось показать Лилиане весь недостроенный дом. Она осмотрела спальню с побеленными стенами и занавесками в цветочек. За стеной находилась просторная кладовая.

— Он очень гордится своей кладовой, — сказала Мария.

Кладовая была гигантская, такая же большая, как вся передняя часть дома. Огромная, как супермаркет. С полками до потолка. Все четко организовано, расставлено по алфавиту, занесено в каталог.

Каждый вид консервов, каждый вид лекарств, одежда, очки, рабочие перчатки, инструменты, журналы, книги, охотничьи ружья, рыболовные снасти.

— Не желаете ли персиков? А может быть, спаржу? Хинин?

Его так и раздувало от гордости.

— Может, журналы? Газеты?

---

[9] Примечания: 9

Тамале — толченая кукуруза с мясом и красным перцем.

Лилиана заметила на крючке рядом с полкой пару костылей. Хэтчер поймал ее взгляд и сказал без тени смущения:

— На тот случай, если сломаю ногу.

Лилиана никак не могла понять, почему это место ее раздражает. Она вдруг почувствовала бесконечную усталость. Мария, казалось, была благодарна Лилиане за то, что та оставила ее наконец наедине с мужем. Они удалились в заднюю часть дома, а Лилиана присела на предназначенную ей койку на открытой террасе и разделась за ширмой.

А ведь она считала Хэтчера свободным! Вот что ее так расстроило. В течение нескольких недель она восхищалась этим человеком, отвоевавшим себе независимость, сумевшим жить как абориген, ведущим упрощенное существование с минимальными потребностями. А он не освободился ни от своего прошлого, ни от первой жены. Ведь доброта нынешней жены, ее теплота и услужливость требовались лишь для контраста между ней и той, другой. Лилиана почувствовала, что Хэтчер постоянно сравнивает ее со своей мексиканской женой. И та, другая, постоянно пребывает в памяти. Возможно, именно поэтому он и пригласил ее в самый первый день, когда

они ехали вместе в такси.

Она не могла заснуть, думая о неразрывности той пуповины, что связывает Хэтчера с его родиной-защитницей. (Только Америка может прислать костыли, если сломаешь ногу, только Америка вылечит от малярии, Америка-мать, доставленная в сарай для припасов в консервированном и бутилированном виде.) Он не смог бы жить здесь нагим, без имущества и провизии, с матерью-мексиканкой, на одних свежих фруктах и овощах, пусть даже их было бы в изобилии, на козьем молоке и дичи.

Закрыть глаза памяти…

Но свободна ли она сама? Пуповина Хэтчера задела ее собственные корни. Его страхи высветили перекрестки памяти, подобные двойной экспозиции, наложению двух изображений в одном кадре. Как тогда, когда один горе-фотограф снял ее в храме майя, и из-за случайной ошибки, из-за того, что он не повернул какой-то рычажок, Лилиана получилась на снимке одновременно и стоящей, и лежащей, ее голова оказалась в пасти гигантской королевской змеи, вырезанной из камня, а ступени пирамиды возвышались на фоне ее тела так, словно ее призрачная фигура проходила сквозь камень.

Чем дальше Лилиана путешествовала по незнакомым местам, тем с большей точностью могла воспроизвести карту, на которой существовали ее внутренние города.

Этот дом с колоннадой пальмовых стволов, упирающийся торцом в скалу, с рифленой крышей, на которой резвились обезьянки, был не похож ни на какой другой. Кактусы обретали ночью облик скрюченных артритом стариков, бородатых тропических пугал, пальмы колыхались в ритме веера на солнце, в ритме гамака в тени.

Неужели так и не будет открытой дороги — простой, ясной, единственной? Неужели все ее пути будут пересекать сразу несколько миров, соприкасаться со скользящими тенями других дорог, других гор? Любая деревенька, мимо которой пролегал ее путь в настоящем, была одновременно другой деревенькой в какой-то другой стране или даже в той стране, в которую она мечтала поехать и до которой так и не добралась!

Перед глазами Лилианы стояли двойные экспозиции памяти. Озеро, некогда виденное в Италии, втекало в лагуну, окружающую Голконду, гостиница на склоне снежной горы в Швейцарии была привязана к недостроенному горному дому Хэтчера длинным, бесконечным кабелем, а

раскладушка за мексиканской ширмой стояла в ряду сотен других коек в сотнях других комнат в Нью-Йорке, Париже, Флоренции, Сан-Франциско, Новом Орлеане, Бомбее, Танжере, Сан-Луисе.

Карта Мексики лежала у нее на коленях, но она не видела той жирной линии, что отмечала ее маршрут. Линия распалась на два, четыре, шесть, восемь запутанных клубков.

В одном и том же ритме Лилиана мчалась сразу по нескольким пыльным дорогам: по одной — как ребенок со своими родителями, по другой — как жена, которая ведет машину, сидя рядом с мужем, по третьей — как мать, отводящая детей в школу, по четвертой — как пианистка, совершающая турне по всему свету. И все эти дороги пересекались бесшумно, не причиняя друг другу вреда.

Раскачиваясь между наркотиком для забвения и наркотиком для вспоминания, Лилиана закрыла глаза, закрыла глаза памяти.

Проснувшись, она увидела дерево казуарины с оранжевыми, как языки пламени, цветами. Между его веток поднималась тонкая струйка дыма от brasero[10] Марии. Мария ловко разминала торти-

---

[10] Примечания: 10
Жаровня *(исп.).*

льи[11], в ровном ритме перебрасывая их с одной руки на другую, и одновременно присматривала за американскими блинами, приговаривая:

— Сеньорита, я пеку для вас tortillas a la Americana![12]

Стол был накрыт прямо на улице: посуда от Вулворта, клеенка, бумажные салфетки. Приехал молодой доктор с друзьями. Они отвезут ее назад в Голконду.

Мария задумчиво смотрела на Лилиану. Она пыталась представить себе, что когда-то какая-то женщина, похожая на нее, ранила Хэтчера так глубоко, что он не может даже рассказать об этом. Она старалась понять природу этой раны. Она знала, что Хэтчер больше не любит ту женщину. Но знала также и то, что он все еще ее ненавидит и что она по-прежнему присутствует в его мыслях.

Лилиане хотелось поговорить с Марией, помочь ей освободиться от образа американки с накрашенными ногтями. Но Хэтчеру было бы слишком одиноко, останься он без воспоминаний, одиноко без консервированной спаржи и

---

[11] Примечания: 11
Лепешки *(исп.)*.

[12] Примечания: 12
Тортильи по-американски *(исп.)*.

сделанных в Америке костылей. Любил ли он Марию, с ее маслянистыми черными волосами, материнским телом, полными сострадания глазами? Или он любил в ней только то, что она не была его первой женой?

Хэтчер холодно посмотрел на Лилиану. Быть может, потому, что она не захотела остаться? Но как объяснить ему, что она провела это время не на открытом воздухе, убаюкиваемая пряной тропической ночью, а в подземных городах своей памяти?

Доктора Паласа ночью несколько раз вызывали, и он пребывал во власти черного юмора. Его друзья отыскали на пляже новый отель и обнаружили, что там недостаточно комфортно.

— На кровати огромное пятно, как будто там кого-то убили. В москитной сетке — дыра, так что нас искусали комары. Утром пришлось умываться из ведра. Когда мы дали детям несколько монет, те от жадности чуть не расцарапали нам руки. А кормили одной рыбой и черными бобами, даже на завтрак!

— Когда я дострою дом, — сказал Хэтчер, — он всем понравится. Убежден, что сюда приедут даже киношники!

— Я решила, что вы искали здесь простой жиз-

ни.

— Не в первый раз человеком владеют два желания, прямо противоположные друг другу, — сказал доктор Палас.

В машине, когда ехали назад под безжалостно палящим солнцем, никто не разговаривал. Свет заполнял глаза, мозг, нервы, кости, и только оказавшись в тени, они покидали наркоз солнечного света. В тени они замечали женщин, стирающих белье в реке, детей, плавающих голышом, стариков, сидящих на оградах, мужчин, идущих за плугом или управляющих тяжелыми повозками, запряженными белыми браминскими волами. Взгляды у мексиканцев — не вопрошающие, не испытывающие; в них только смирение, покорность, пассивность, долготерпение. До тех пор, пока кем-нибудь из них не овладеет безумие, амок.

Иногда Лилиана чувствовала себя так же, как они. То были состояния, напоминающие о временах до сотворения мира, бесформенных, безыскусных, не отделенных одно от другого. Хаос. Горы, море и земля еще не разделены, перемешаны между собой. Состояние ума и чувства, которые не просветить никаким духовным рентгеном. Плотные, невидимые, недоступные

людскому пониманию. Да, она могла бы жить здесь, растворившись под солнцем, порвав последнюю ниточку знания. И при любой тревоге или угрозе вмешательства соскользнуть в море для следующего рождения. Ее тело вернулось бы к ней. Она ощутила бы свое лицо как лицо, лицо во плоти, загорелое, теплое, а не как маску, скрывающую поток мыслей. Она бы обрела новую шею — крепкую, живую, пульсирующую, теплую шею, а не подставку для тяжелой головы, пылающей в лихорадке и забитой вопросами. Она бы заново обрела тело, ее грудь освободилась бы из тисков эмоций, ноги снова стали бы гладкими и блестящими. Все тело стало бы прохладным, а мысли смылись бы морскими волнами.

Вместе с этими людьми она окунулась бы в молчание, в медитацию, в созерцание. Стирая белье в речке, ощущала бы только течение воды и обжигающее ей спину солнце. Свет солнца заполнял бы каждый уголок ее сознания, создавал бы преломления света и красок, посылал бы сигналы чувствам, растворяющимся во влажных сверкающих полях, пурпурных горах, ритмах моря и мексиканских песен.

Никаких мыслей, которые, подобно пальцам хирурга, прощупывают, где гнездится боль, отку-

да идет разрушение, какая клеточка повреждена, где находится разбитое зеркало, искажающее образы человеческой жизни.

Хаос был богатым, разрушающим и защищающим, как те джунгли, через которые они проезжали. Могла бы она вернуться в сумеречное болото предельно природного, невыразимого, импульсивного мира, чтобы почувствовать себя в безопасности от разглядывания и расспросов?

Но одна пара глаз, не ее собственных, преследовала ее по пятам и отыскала даже в этих джунглях. Глаза матери. Она впервые увидела мир глазами матери, впервые увидела себя глазами матери. Дети как котята: сначала у них нет зрения, и они видят себя отраженными в глазах родителей. Лилиана, увидевшая себя глазами матери.

Ее мать была настоящей леди. Она носила безукоризненно чистые платья, всегда надевала перчатки. Так аккуратно причесывалась, что никакой ветер не мог растрепать ее волос. Носила вуаль и пользовалась духами. Всегда останавливала бурные проявления любви, свойственные Лилиане: они мешали установленному ею порядку. «Не мни мое платье. Ты порвешь вуаль. Не порти мне прическу». А однажды, когда

Лилиана зарылась лицом в складки ее платья и закричала: «Мамочка, как ты хорошо пахнешь!», она сказала: «Не веди себя как дикарка!» Если это и есть женщина, подумала Лилиана, я не хочу быть такой. Она и без того была порывистой, а воздвигнутый матерью барьер вел ее к эксцессам, к преувеличенному буйству.

Лилиана разбрасывала одежду, пачкала и мяла платья. Никогда не причесывалась аккуратно. И в то же время чувствовала, что в этом и кроется причина материнской холодности. Ей не нравилась эта холодность. Она предпочитала быть безалаберной и грубой, зато теплой. Проявляя непослушание, впадая в неистовство, она чувствовала, что спасает свое тепло и естественность от педантичных рук матери. И вместе с тем пребывала в отчаянии из-за того, что была такой, какой была, и не может стать такой, как мать, а значит, ее никогда не полюбят. Лилиана со всей страстью отдалась музыке, но и тут ее диковатость и неприязнь к дисциплине мешали ей. В музыке требовалась высокая организованность. Да, Лилиана знала, что она недисциплинирована и своевольна, но только теперь, путешествуя по Мексике, стране тепла и естественности, и глядя в глаза, не смотрящие на нее критически,

осознала, что до сих пор не смотрела на себя своими собственными глазами.

Ее мать — очень высокая женщина с недоверчивым взглядом. Глаза у нее такие же, как у Лилианы, — яркие, цвета электрик. Лилиана заглядывала в них по любому поводу. Они были ее зеркалом. Она думала, что легко читает в этих глазах, но от того, что видела там, испытывала чувство неловкости. Никогда никаких слов. Только взгляд. Не была ли эта неудовлетворенность вызвана другими причинами? Взглядом мать останавливала Лилиану, когда та хотела слишком приблизиться. Что-то вроде сигнала. И лишь через много лет мать призналась, что считала Лилиану неуклюжей и слишком страстной, хаотичной и импульсивной, чересчур эмоциональной, не поддающейся воспитанию. Таковы были слова матери.

Лилиана никогда не видела себя собственными глазами. У детей и не бывает собственных глаз. Ты, словно на тончайшей сетчатке, существуешь в том образе, в котором видит тебя мать, в первом и единственно достоверном образе, в ее суждениях о твоих поступках.

Они добрались до затененного места у реки. Здесь надо было ждать паром, который перевезет

их на другой берег. Они вышли из машины и сели на траву. Какая-то женщина развешивала выстиранное белье на ветках невысокого дерева. Голубые, оранжевые, розовые тряпки смотрелись гигантскими цветами, попавшими под тропический ливень.

Подошла еще одна женщина, с корзиной на голове. Она сняла ее спокойным, неторопливым движением и аккуратно положила перед ними горку мелкой жареной рыбы.

— У вас не найдется пива? — спросил доктор Палас.

В домах возле реки не было стен. Пальмовые листья поверх четырех пальмовых бревен. Женщина, убаюкивая ребенка, монотонно раскачивала гамак. В пыли дороги и на берегу играли голые ребятишки.

Друзья доктора Паласа заметили, что радиатор серьезно протекает. Им ни за что не добраться до Голконды. Хорошо, если доберутся до Сан-Луиса, деревни на том берегу реки.

Лилиана подумала о том, что у Дианы, Крисмаса и других ее приятелей начинается сейчас красочное сафари на пляже.

Медленно, лениво подплыл паром. Пригнавшие его мужчины отирали с плеч пот. В их темных,

красновато-коричневых, вернее, желто-коричневых глазах сверкали золотые искорки. То ли от солнца, то ли от глубокой индейской иронии. Несчастье вызывало у них смех. Вероятно, какая-то религия, до сих пор неизвестная Лилиане? Как тогда на пляже, когда они смеялись, глядя, как тонет собака. А здесь протекающий радиатор, застрявшие в канун Нового года туристы… Они могут не попасть в Голконду, на фейерверк и уличный карнавал.

Сан-Луис представлял собой деревню с немощеными улицами, жалкими хибарками, стадом свиней, вольготно роющихся в отбросах, и кучей детей, выпрашивающих у иностранцев милостыню. Там были площадь с церковью, украшенной золотисто-голубой мозаикой, кофейня, бакалейная лавка и гараж. Туда-то они и пригнали машину. Доктор Палас, как переводчик, стал договариваться. Лилиана ухватила суть переговоров. С индейской стороны она состояла в том, чтобы избегать прямого ответа на вопрос «Когда будет готова машина?». Как если бы прямой ответ обрушил на них ярость небес, некое языческое наказание. Сказать прямо было невозможно. Может, посидите в кафе и подождете? Было четыре часа. Они просидели до шести. Доктор Палас

несколько раз наведывался в гараж. В перерывах между посещениями гаража он пытался продолжить по-испански, чтобы не поняли его американские друзья, интимный разговор с Лилианой. Ничего не зная о ходе мыслей, в которые была погружена Лилиана по дороге сюда, о ее размышлениях насчет глаз матери, которыми она видела себя, он восторгался ее глазами, ее волосами. Восторгался глазами, которые не были ее глазами, когда она смотрела на себя. Но когда она смотрела на других, она делала это с любовью, с состраданием. Она действительно их видела. Она видела, что чета американцев чувствует себя неуютно, не в силах принять смесь грязи и веселья. Зато дети радовались вовсю, гоняясь за свиньями и хрюкая.

Лилиана видела, что молодой доктор Палас еще не связан с бедняками по-человечески, как связан с ними доктор Эрнандес.

— Вы потанцуете со мной сегодня?

— При условии, что мы попадем в Голконду, — рассмеялась Лилиана. — Надеюсь, венгерский скрипач так всех очарует, что моего отсутствия не заметят!

В семь часов улицы опустели, начало темнеть. Хозяин кофейни был светлокожим испанцем с

любезными манерами. Он помог им скоротать время, пригласив гитариста и певца, и приготовил ужин.

Когда наконец все поняли, что сегодня не уехать и что машину скорее ломают, чем чинят, хозяин подошел и с чувством сказал:

— Сан-Луис выглядит притихшим, но это потому, что все готовятся к новогоднему празднику. Скоро все выйдут на улицы и начнутся танцы. А потом мужчины напьются. Советую к ним не подходить. Женщины знают, когда уйти. Постепенно они исчезнут и уведут с собой детей. А мужчины продолжат пить и скоро начнут стрелять по зеркалам, стаканам, бутылкам, по всему, что попадется. Иногда они стреляют друг в друга. Так что прошу вас, Señores y Señoras, оставаться здесь. У меня есть чистые комнаты, вы можете там заночевать. Настоятельно советую вам оставаться в них.

Комнаты, которые он им показал, выходили на мирное патио с цветами и фонтанами. У Лилианы возник соблазн выйти на улицу с доктором и потанцевать с ним. Но, памятуя о своей роли защитника женщин, он решительно отказался идти на такой риск. В десять часов начался фейерверк, зазвучала музыка, раздались крики,

вспыхнули ссоры. Они разошлись по комнатам. Комната Лилианы напоминала монашескую келью. Побеленные стены, койка под москитной сеткой, ни простыни, ни одеяла Стены не доходили до потолка, чтобы лучше циркулировал воздух, а через дверь доносились все звуки деревни. После фейерверка поднялась стрельба. Хозяин кофейни оказался прозорливым человеком.

Именно в таких комнатах Лилиана чувствовала внутреннее опустошение, сознавая, насколько она несвободна. На солнце, рядом с людьми, плавая и танцуя, она была свободна. Но, оказавшись в одиночестве, она опять возвращалась в подземный город своего детства, хотя знала магическую формулу: «Жизнь — это сон, жизнь — ночной кошмар, но ты всегда можешь проснуться, а проснувшись, убедиться, что все чудовища рождены твоим собственным сознанием».

О, если бы она могла пойти потанцевать с доктором Паласом, поддержать все возрастающее возбуждение, потом сесть за столик, позволить ему нежно положить руку на ее обнаженное плечо, принять участие в карнавале страсти!

Всем, всем трудно плыть в этом мире. Американская пара боится незнакомой действительности. Доктор Палас страдает от одиночества.

Да, я понимаю, что разгадка наших страхов — в искаженном зрительном восприятии реальных пропорций мира. У страха глаза велики. Мы преуменьшаем наши творения и нашу любовь, мы сужаем их своим зрением, то раздуваем их, то сжимаем сообразно прихотям нашего изменчивого зрения, а не в согласии с непреложным законом развития. Размер мира, в котором мы живем, индивидуален и относителен, а пребывающие в нем предметы и люди — для каждого ГЛАЗА различны.

Лилиана вспомнила, что в детстве верила в то, что ее мать — самая высокая женщина на земле, а отец — самый сильный мужчина Она вспомнила, что у матери не было ни одной морщинки на платье, ни один локон не выбивался из прически и что она всегда, словно хирург перед операцией, надевала перчатки. Ее присутствие было антисептическим, особенно в Мексике, где она оказалась не готова к местной жизни, к восприятию трещин, клякс, пятен, морщинок на платье. Дети искажали размеры всего, что видели, но то же самое можно сказать и о родителях. Родители все преуменьшали.

Лилиана замерзла и никак не могла заснуть. Едва зашло солнце, на Сан-Луис подул с гор ветер.

Теперь я преуменьшаю своим зрением родителей, и они наконец-то обретают истинные размеры. Отец был, вероятно, кем-то вроде Хэтчера и так же, как Хэтчер, безумно боялся чужой страны, от которой зависело его существование. Неужели я могла слышать свисток моей матери сквозь все подземные коридоры? Вероятно, это было эхо!

Если бы она продолжала слышать свисток, в ее душе жило бы эхо. Но она возвращает себе свои глаза и с помощью собственных глаз, благодаря собственному зрению, вернется домой.

В патио было много клеток с птицами. Шум фиесты разбудил птиц. Почему ее внутреннее «я» должно прятаться среди этих теней, скрытого освещения, уходящих куда-то вниз коридоров? Загнанное так глубоко под поверхность земли! ОНА чувствовала себя французским спелеологом, проникшим под землю на глубину нескольких тысяч футов и обнаружившим там древние пещеры с нарисованными и нацарапанными на стенах картинами. Но у Лилианы не было с собой ни фонаря, ни запаса провизии. Ничего, кроме облатки, которую вручают тем, кто верит в символы, облатка вместо хлеба. Ей оставалось лишь следовать предписаниям своих сновидений,

полустертым иероглифам на полуразрушенных статуях. Ничто не укажет ей путь в темноте, разве что крик, вырвавшийся из глаз статуи.

Утром она вернулась к жизни на земле. В патио был умывальник с прохладной водой из ручья. Зеркало было разбитым, полотенце — грязным. Но после испытанного во время ночного путешествия одиночества Лилиана была счастлива воспользоваться общим полотенцем, увидеть свое лицо в двух половинках разбитого зеркала, которые можно было совместить. Она совершила долгое путешествие, путешествие улыбки и глаз. Для таких открытий нет нужды в декорациях. В реальности ее путешествие заняло всего три месяца. Если судить по календарю, оно длилось ровно столько, сколько длился контракт с ночным клубом. Но экспедиция под землю продолжалась намного дольше и увела ее гораздо глубже. Лилиана должна вернуться в Голконду, чтобы испить последнюю чашу текучего золота, радужной воды, солнца и воздуха, упаковать свои сокровища, геологические находки и статуи, столь красноречивые после того, как она вытащила их из-под земли.

Когда они приехали в Голконду, новогодние празднества подходили к концу. Улицы были

усыпаны конфетти. Уличные торговцы, завернувшись в пончо, спали возле пустых корзин. В воздухе стоял запах малабара и сгоревшего фейерверка.

Лилиана спустилась с холма к центру города, прошла мимо пожилой женщины в черном, продававшей разноцветные фруктовые соки и белые сласти из кокоса, потом мимо церкви с так широко распахнутыми дверями, что были видны свечи и женщины, которые молились и обмахивались веерами. Пока шла месса, в церковь беспрепятственно забегали и выбегали из нее собаки и кошки, рабочие на лесах продолжали свою работу, дети плакали или сосали грудь, лежа, как в гамаке, в шалях своих матерей.

Лилиана шла в сверкающем потоке солнечного света, который уничтожал все мысли и оставлял бодрствовать лишь глаза, только процессию образов, мельтешащих на сетчатке глаз. Она и не пыталась как-то осмыслить или истолковать эти образы.

В плоских сандалиях, в которых ходят местные жители, она шла тяжелее, чем на обычных каблуках. Хотя Лилиана весила сейчас ровно столько же, сколько в день приезда, она чувствовала, что стала тяжелее, и лучше воспринимала свое тело.

Плавание, солнце, воздух — все это помогло ей обрести крепкое, эластичное, сбалансированное, свободное в движениях тело.

Лилиана собиралась поговорить с доктором, как он того желал. Утром она проснулась с очень ясным представлением о характере доктора.

Доктор Эрнандес в первый день в такси, озабоченный состоянием здоровья жителей своей деревни, ведающий о настроениях и чаяниях других, неспособный забыть тайную печаль своей жизни. Доктор Эрнандес, расспрашивающий о ее жизни с профессиональной убежденностью в своем праве расспрашивать и при этом избегать встречных вопросов.

Ей довелось увидеть доктора в домашней обстановке, в испанском интерьере, и познакомиться с его женой, прибывшей с одним из своих кратких визитов. Под маской подчиненности, озабоченности поднесением ему питья, спасением от телефонных звонков скрывалась издевка, проявлявшаяся в ее отношении к его пациентам. Это отношение передалось и детям и проявлялось в том, как ее дети играли «в доктора» — совсем не так, как другие дети. Они испытывали неприязнь к профессии своего отца. Больной не был для них по-настоящему болен, а больного, пришедшего из

мира бедняков, да еще и страдающего ужасными болезнями вечно голодных аборигенов, и жена и дети вообще игнорировали.

Лилиана видела в глазах доктора печаль, несоизмеримую с иронией детей. Он наблюдал за их игрой «в доктора». Пациенткой всегда оказывалась красотка-кинозвезда. Она была завязана бинтами. Эту роль исполняла дочь доктора Эрнандеса. Как только «доктор» появлялся, она сама разматывала бинты, бросалась к нему, обнимала и говорила: «Раз ты пришел, я уже не больна!»

Пока Лилиана шла к доктору и думала о нем, эти фрагменты сложились в цельный образ человека, попавшего в беду, и Лилиана поняла что его настойчивые попытки добиться от нее исповеди были защитой от всего, в чем он сам страстно хотел исповедаться.

Сначала она не поняла ни его игры, ни потребности. Она разобралась во всем только сейчас. И даже если доктор подразумевал, что прежде всего (если уж вести игру по его правилам) она должна довериться ему, Лилиана была согласна и на это, только бы помочь ему избавиться от своей тайны. Доктору привычнее было играть роль исповедника, во всех остальных ролях он чувствовал себя неуютно.

Улица поднималась на холм; приемная доктора находилась на полпути. Пациенты ждали своей очереди в патио, где среди посаженных в бочки пальм и каучуконосов были расставлены плетеные стулья. Розовые и лиловые бугенвиллии спускались по стенам. Служанка в шлепанцах мыла шваброй мозаичный пол. Медсестра была одета так, как в Голконде одеваются все местные девушки, когда идут на работу: на ней было нарядное, розово-пастельное платье, делавшее ее похожей скорее на жрицу наслаждений, чем на целительницу болезней. Волосы были перевязаны лентами, в ушах перламутровые серьги.

— Доктор еще не приехал, — сказала она.

Обычно доктор опаздывал. Помимо особенностей профессии и неопределенного графика работы виной тому был свойственный местным жителям культ вневременности. Они категорически отказывались жить по часам и подчиняли свои движения исключительно своему настроению.

Но Лилиана почувствовала беспокойство и потому решила прогуляться, а не дожидаться в приемной.

Она пошла мимо пристани, глядя, как рыбаки возвращаются домой. На мачте каждой лодки,

везущей богатый улов, развевался флаг. Ветер колыхал флаги, как юбки и ленты в волосах женщин.

Лилиана зашла в маленькую кофейню и выпила чашечку крепкого кофе, наблюдая за снующими вверх и вниз лодками и прогуливающимися семействами. Как они умеют жить в настоящем! Они воспринимают происходящее так, как будто ничего другого больше не существует, будто нет ни работы, которая их ожидает, ни дома, в который им предстоит вернуться. Они всецело отдаются этому ритму, позволяя ветру шевелить их шарфы и волосы, словно любое волнообразное движение или пульсация цвета погружают их в гипнотическое состояние удовольствия.

Когда Лилиана вернулась в приемную доктора, уже начало темнеть.

Никто из пациентов не выказывал беспокойства. Но медсестра сказала:

— Ничего не понимаю. Я звонила доктору домой. Он ушел час назад и сказал, что идет прямо в приемную.

Не успела медсестра зажечь свет, как электричество отключили. Такое в Голконде случалось нередко, электроэнергии не хватало. Но сейчас это неприятно подействовало на Лилиану, уси-

лило тревогу, и, чтобы избавиться от нее, она отправилась к дому доктора пешком, надеясь встретить его на полпути.

Долгий подъем по холму утомил ее. Электричество снова дали, но дома здесь располагались поодаль друг от друга, и, пока она шла, сады становились все мрачнее и гуще.

Потом она увидела на пустыре машину, врезавшуюся в электрический столб. Вокруг собралась толпа.

В темноте цвет машины было не разобрать, но она услышала крик жены доктора.

Лилиану охватила дрожь. Он старался подготовить ее к этому.

Она сделала еще несколько шагов и даже не почувствовала, что плачет. Жена доктора отделилась от толпы и, словно не видя ничего вокруг, побежала навстречу Лилиане. Та обняла ее и попыталась удержать, но женщина яростно сопротивлялась. Из ее искривленного рта не вырывалось ни звука, как будто крик был задавлен. Жена доктора упала на колени и зарылась лицом в платье Лилианы.

Лилиана не могла поверить в смерть доктора. Она утешала его жену так, как утешают ребенка в преувеличиваемом им горе. Она слышала, как

подъехала карета «скорой помощи», та самая, на покупку которой доктор достал деньги. Видела столпившихся вокруг машины врачей и людей. И поняла, что электричество отключилось именно тогда, когда машина врезалась в столб. А жена доктора все твердила бессвязно:

— Они его застрелили, все-таки застрелили. Застрелили, и машина врезалась в столб. Я хотела, чтобы он уехал отсюда. Кому понадобилось убивать такого человека? Кому? Скажите мне. Скажите…

Кто бы посмел убить такого человека? Кто бы посмел, если бы подумал о больных, которым он нужен и которые теперь его не дождутся, если бы подумал о том, как он дорожил короткими минутами отдыха и не роптал, когда этот отдых прерывали. О том, каким счастьем было для него исцеление больного. О том, как он пытался пресечь торговлю наркотиками и отказывался распространять опасные товары для забвения. О том, как он ночами напролет изучал индейские рецепты снадобий, позволяющих не забывать, а помнить. Какой подземный мир, совершенно неведомый ни Лилиане, ни жене доктора (но при этом воспринимаемый ею как опасный), был открыт ему как портовому врачу?

Лилиана помогла жене доктора подняться на холм. Она помогла женщине, ненавидевшей город, который он любил, чью ненависть случившееся оправдало.

— Я должна подготовить детей, но они еще маленькие. Что я скажу о смерти таким малышам?

Лилиана не хотела ничего знать о том, потерял ли он много крови, порезался ли стеклом. Ей казалось, что все равно никто, кроме него, не смог бы перевязать раны, остановить кровь, его исцелить.

Звук сирены «скорой помощи» становился все тише. За Лилианой и женой доктора молча шли люди.

Если то, что мы делаем для других, является тайным выражением того, что хотим испытать сами, значит, он сам мечтал о той заботе, которую дарил другим и в которой нуждался сам.

Разве мог он признаться в этом своей жене, этой особе в туфлях на высоких каблуках, с закрученными в узел черными волосами, темными ревнивыми глазками, маленькими ручками и ножками, если с самого начала она отвернулась от города и больных, которых он так любил?

Лилиана не верила в смерть доктора Эрнандеса и в то же время слышала выстрел, всем телом

чувствовала скрежет врезавшейся в столб машины, улавливала миг смерти, словно все это случилось не с ним, а с ней.

Он должен, обязан был сказать ей что-то, чего не успел сказать, и ушел, унеся с собой свою тайну.

Если бы он не отложил этот глубокий и безумный разговор, прорывающийся из-под земли мифами сновидений, кричащий трещинами архитектурных сооружений, вопящий глазами статуй, доносящийся из глубин древних городов, что скрываются в наших душах, если бы дал знать о своем страдании не этим последним жестом, словно глухонемой… Если бы осознание выступило не только из расщелин памяти, среди полос света и тени… Если бы люди не жили, задернув шторы, да еще и изменив личину, в уединенных кельях с надписью на дверях: «Не время для откровений»… Если бы они спустились вместе вниз, в пещеры души, захватив с собой кирки, фонари, веревки, кислород, рентгеновские лучи, пищу, следуя по меткам на картах геологических глубин, где скрывается наше не знающее свободы «Я»…

По определению, «тропик» означает «поворот» и «изменение». В тропиках Лилиана повернула и

изменилась. Она раскачивалась между наркотиком забвения и наркотиком воспоминания так же, как местные жители раскачиваются в гамаках, как джазовые музыканты раскачиваются в унисон со своим ритмом, как море раскачивается в своей колыбели:

повернула,
изменилась.

Лилиана ехала домой.

Пассажиры были нагружены мексиканскими корзинами, шалями, серебряными украшениями, раскрашенными глиняными фигурками, мексиканскими сомбреро.

У Лилианы с собой ничего не было, ибо ничто не могло быть материальным воплощением того, что она увозила: мягкости атмосферы, нежности голосов, ласкающих красок и тихого шепота, доносящегося, постоянно напоминая о своем присутствии, из подземного мира памяти, разбегающегося лабиринтом при каждом ее шаге и являющегося прошлым, которое она не смогла забыть. Ее муж и дети совершили это путешествие вместе с ней. Разве она не любила Ларри в образе того заключенного, которого освободила? Она вспомнила, как впервые его увидела Ларри стоял за железной оградой сада и смотрел, как она

танцует, — единственный из ее однокурсников, кого она не пригласила на празднование своего восемнадцатилетия. Он стоял, вцепившись пальцами в решетку, точно так же, как стоял тот заключенный в мексиканской тюрьме, и она видела, что он — пленник собственного молчания и застенчивости. И освободить она хотела не того фальшивого заключенного, а Ларри. И разве не своих детей она любила в детях Эдварда, когда целовала веснушки Лиетты как веснушки Адели, и сидела с ними вечерами, потому что их одиночество было одиночеством ее собственных детей?

Она возвращалась, везя с собой новые образы своего мужа Ларри, как будто, пока она отсутствовала, явился фотограф с каким-то новым химикатом и отпечатал со старой пленки новые снимки, проявившие незаметные ранее детали. Как будто новая Лилиана, более мягкая, впитавшая что-то от мягкого климата, что-то от расслабленной грации мексиканцев, что-то от их гениального искусства быть счастливыми, обрела не в пример прежним обостренные чувства, сфокусированное зрение, чуткий слух. Когда улеглось ее внутреннее смятение, она смогла увидеть всех гораздо четче. Перестав бунтовать, Лилиана поняла, что когда Ларри нет рядом, она

либо должна становиться им, либо находить его в других.

Она боялась разговора с доктором Эрнандесом только потому, что он пытался вывести на поверхность то, что он считал ее не окончательно потерпевшим крушение браком.

Доктор Эрнандес. Уже в самолете она вдруг ясно представила себе, как он склонился над своим саквояжем, как разматывает бинты. Но не могла восстановить черты его лица. Он словно отвернулся, ведь она так и не доверила ему ту тайну, о которой он просил. Его расплывчатый образ как будто мелькнул на стекле и исчез, растворился на солнце.

Диана сказала Лилиане перед ее отъездом:

— Кажется, я знаю истинную причину его смерти. Он чувствовал себя очень одиноким, был разлучен с женой и обречен лишь на случайную, быстротечную дружбу с людьми, каждый день с новыми. Его убила вовсе не пуля. Он созрел для самоубийства, но у него был слишком богатый опыт борьбы со смертью, он привык считать ее своим личным врагом. Поэтому он ушел из жизни таким окольным путем, таким изысканным способом и сумел убедить себя в том, что в своей смерти не виновен. ОН ВПОЛНЕ МОГ ИЗБЕЖАТЬ

КОНФЛИКТА С ТОРГОВЦАМИ НАРКОТИКАМИ. Это было не его дело. Он мог передать их в руки полиции, куда более оснащенной для борьбы с ними. Но что-то заставило доктора искать опасность, бросить вызов этим жестоким людям. ОН БУКВАЛЬНО ПРИЗЫВАЛ ИХ УБИТЬ ЕГО. Я его неоднократно предупреждала, а он только улыбался в ответ. Я знаю, что его убило: груз поражений, знание того, что даже жена любит в нем не мужчину, а доктора. Известно ли тебе о том, что, когда они встретились, она была при смерти, а он ее вылечил? И что, после того как они поженились, она начала его ревновать ко всем, кого он выхаживал? Могло показаться, что он окружен любовью, но сам он ощущал, что вся эта любовь адресована человеку с волшебным чемоданчиком. Голконда — место для скоротечных дружб, поэтому многие иностранцы приезжают сюда всего на несколько дней и тут же уезжают. Как-то доктор осудил меня за чрезмерную подвижность и гибкость. Он сказал: «Вы не желаете ни за что зацепиться. Вашему неустойчивому темпераменту соответствует непрерывное течение. А мне хочется чего-то глубокого и постоянного. Чем больше вокруг меня веселья, тем сильнее мое одиночество».

Лилиана, вероятно, усугубила это чувство. Она не сумела, доверившись доктору и открыв свою душу, подарить ему возможность исповедаться самому. Она не догадывалась, как он страдал от подобных отказов, как устал от того, что люди в его жизни появляются и тут же исчезают. Приезжают в Голконду, сидят на пляже, обедают с ним, беседуют столько времени, сколько требует консультация, а потом отправляются на родину. Какое несказанное облегчение испытал бы он, окажись сам среди тех, кто уезжает, а не остается!

Диана была уверена в том, что доктор тайно искал смерти. Теперь Лилиана могла добавить к этому образу другие, которым до сих пор не находилось места. Мысль о его душевных страданиях потянула за собой целый шлейф впечатлений, полученных в разное время, но до сих пор не сопоставленных и бессвязных, как импрессионистские фрагменты. Доктор как бы срывал с ее глаз шоры, чтобы разоблачить тревогу, уныние, одиночество, все, что контрастировало с ландшафтом, насыщенным оранжевым, бирюзовым и золотистым. Полагая до сих пор, что он плывет вместе с потоками жизни Голконды, Лилиана видела только то, что лежало на поверхности.

И вдруг неожиданно объявилось его внутреннее «Я», доселе пребывавшее на периферии, за кулисами. А вместе с ним обнаружились все те прежде невидимые области его жизни и жизни других людей, которые видят глаза души, но которые отвергаются сознанием, хотя временами эти «привидения» поглощают живого человека, и тогда по сцене начинает двигаться пустой, сомнамбулический персонаж. Увидев истинного доктора Эрнандеса, одинокого, отделенного от жены и детей ее ревностью и ненавистью к Голконде, возникшей в исполненной страданий, трагической жизни города удовольствий, Лилиана впервые сумела увидеть за одномерным профилем своего мужа — отправляющегося на работу, склоняющегося над детьми — совершенно новую личность. Теперь это был Ларри, пленник собственного молчания, которого она освободила, посетив того мошенника в тюрьме. Сквозь прутья решетки мексиканской тюрьмы она сумела прочесть молчаливые послания Ларри. Образ двоился, троился, словно в калейдоскопе, разбивающем узор и повторяющем его в бесконечных комбинациях. Теперь она видела по меньшей мере двух Ларри: одного — с выражением голода и желания на лице, которое впечатлило ее в день

рождения куда больше, чем веселость танцующих гостей, и другого — добропорядочного мужа и семьянина, расточающего заботу, подарки и нежность, подобно доктору Эрнандесу, и так же, как он, мечтающего о недоступных наслаждениях.

А в самолете, за толстым стеклом иллюминатора возник еще один образ: Ларри, стоящий за стеклянной перегородкой в телевизионной студии. Лилиана вспомнила, как однажды она записывалась с оркестром, а Ларри сидел в комнате звукозаписи. Он забыл о том, что она его не слышит, и, когда музыка кончилось, вскочил с места и, улыбаясь и жестикулируя, высказал тот прилив чувств, что вызвала в нем музыка. Недоуменное выражение ее лица заставило его усилить жестикуляцию, проявить свои чувства в несвойственной ему театральной манере в надежде, что экспрессия тела и лица поможет ему передать свое послание и без помощи слов.

Тогда эта сцена сбила Лилиану с толку, но теперь стала совершенно прозрачной. Она не услышала Ларри потому, что он не воспользовался обычными средствами общения. Эти два образа словно выразили всю суть драмы их брака. Сначала ее отклик на невысказанную потребность,

на немой призыв, затем неспособность принять его послание. Он был пленником собственного молчания. А она воспринимала это молчание как отсутствие.

Он-то ответил на ее потребность! А она требовала от любви того, чего не может дать ни один человек. Она жаждала любви настолько сильной, чтобы она нейтрализовала ее комплекс неполноценности, любви, которая днем и ночью была бы занята восстановлением образа достойной любви Лилианы, образа, который она разрушила бы сразу, как только он появился. Любви, которая бы с математической точностью занималась поддержанием внутреннего равновесия между ее шаржем и той Лилианой, которую она могла бы принять. Любви, которая бы без устали повторяла: Лилиана, ты красивая, Лилиана, ты чудесная, Лилиана, ты благородная, добрая, вдохновенная, и все это в то самое время, когда она твердила бы себе: Лилиана, ты злишься без повода, ты не подумала, ты его обидела, ты не была терпелива с ребенком.

Бесконечная бухгалтерия, безостановочная проверка счетов.

Но чего хотел Ларри? Правда, что он принял это отречение от жизни и казался удовлетво-

ренным тем, что Лилиана вместо него живет в мире музыкантов (раньше он сам хотел стать музыкантом, но его желание не сбылось). Правда, что он казался удовлетворенным своей молчаливостью, тем, что позволяет играть и говорить ей и ее джазовым музыкантам. Эта побочная жизнь казалась вполне естественной. Но разделение труда превратилось в шараду. Когда они устали от этого (Лилиана — от его молчаливого контроля, Ларри — от ее доминирующей роли), они уже не знали, как поменяться ролями. Ларри начал принимать определенную форму, не имея непосредственного выхода в поток жизни, лишенный собственного акваланга, собственного запаса кислорода. Они напоминали сиамских близнецов с одной парой легких на двоих. А Лилиана лишь пыталась поддержать это течение, уходя в чужую жизнь за иллюзией завершенного цикла. Но никакие другие отношения не давали ей ощущения целостности. Ларри был единственным, с кем ей хотелось разделить свою жизнь, и в конце концов она начала искать его в других людях.

Отправившись в путешествие без него, она столкнулась с собственным несовершенством. Она обманывала себя, полагая, что легкие, позволяющие дышать и жить, принадлежат ей

одной. Как много от Ларри она взяла с собой в путешествие — и поступала так, как поступал бы он, окажись здесь вместо нее. Теперь это уже она молчала, позволяя мексиканцам вести быстрые и плавные разговоры, а доктору Эрнандесу произносить монологи. Теперь это уже она отчуждалась от жизни Голконды, лишь на короткий миг подпадая под убаюкивающее воздействие того наркотика, каким была природа. Она вела себя точно так, как вел бы себя Ларри. Ее храбрость, ее вовлеченность в поток жизни существовали только в связи с Ларри, в сопоставлении с его уходом от жизни. А что делал он, освобожденный от ее присутствия? Быть может, он уже изжил тот образ Лилианы, который носил в душе, забыл ее черты? К какому Ларри она возвращается?

Разве исполнение роли любимого не является актом любви? Разве это не похоже на ту странную одержимость, которая случается, когда теряешь одного из родителей? Когда мать умерла, Лилиана на протяжении долгого года траура словно бы стала ею. Это была едва заметная одержимость, ибо Лилиана не принадлежала к народу, который практикует позволяющие ее воплотить ритуалы. Ритуалы, в которых дух ушедшего входит в тело живущего, в которых дух умершего родителя

может войти в тело сына или дочери и жить в нем до тех пор, пока не будет удален оттуда либо с помощью молитв, либо посредством изгнания. Очевидно, все происшедшее с Лилианой не было связано с этими первобытными верованиями. И тем не менее дух матери перешел в нее. Когда мать умерла, Лилиана не поняла, что приобрела часть ее настроений, характерных особенностей, взглядов. Она просто думала, что чем старше становишься, тем меньше сопротивляешься влиянию семьи и больше подчиняешься фамильному сходству.

Лилиана смеялась над первобытными ритуалами одержимости, которые ей приходилось видеть на Гаити. И однако же существовала какая-то первобытная Лилиана, которая сопротивлялась окончательной потере матери, вбирая в себя ее манеры и черты характера (те самые, против которых она восставала, пока мать была жива, те самые, которые ранили ее в период взросления). Она стала пользоваться свистком, когда дети играли за пределами дома, и все чаще ругала детей за то, за что когда-то бранила ее мать: за неаккуратную одежду, за импульсивное и хаотичное поведение. Странный способ воздвигнуть памятник матери, утвердить ее непрерывность.

Точно так же она была одержима сейчас Ларри, и именно его пристрастное отношение к людям противилось свойственной Диане неразборчивости. В Голконде она, как и Ларри, стала впервые отстраняться от людей, не соответствующих ее уровню. Предпочитать одиночество нелегкому притворству, будто бы они ей интересны.

Приближаясь к дому, она думала: а что, если бы каждый из них не принял навязанную потребностью другого роль как условие брака? Потребность диктовала роль. А роли, продиктованные потребностью, а не личностью в целом, со временем становятся причиной угасания брака. Они как бы были женаты лишь на части друг друга. Как доктор Эрнандес был женат на женщине, любившей в нем только доктора и не желавшей узнать человека, который пытался избавиться от этой роли, войдя в жестокий мир наркоторговцев, желая оказаться в сердце жизни даже ценой смерти.

Лилиана сначала испытывала вину за смерть доктора, но теперь поняла, что ее личной вины здесь не было; ведь она сама жила только с частью Ларри, а тот, кто живет с частью человека, символически приговаривает оставшуюся часть к безразличию, к забвению.

Она знала, что доктора Эрнандеса убила не пуля. Он сам оказался на пути пули. Конечно, его ум и знание человеческой природы должны были предупредить его о том, что, отказываясь передавать дельцам врачебный запас наркотиков или подписывать фальшивые заявки на новые партии, он играет со смертью.

Блуждая по подобным тропинкам лабиринта, Лилиана поняла, что не смерть любви стала причиной ее отдаления от Ларри, а отсутствие связи между всеми частями их личностей, теми сторонами характеров, которые каждый из них боялся открыть другому. Каналы эмоций подобны пронизывающим наше тело капиллярам. Когда какая-нибудь болезнь заполняет эти капилляры, они становятся все ***у***же и ***у***же, и в конце концов недостаток кислорода и крови приводит к смерти. Каналы их взаимосвязи пересохли. Каждый из них выбрал один-единственный образ другого, словно первую фотографию, и пытался жить с ним, независимо от реального изменения и роста. Они поселили этот образ в сердце, будто поставили на свои письменные столы фотографии, она — фотографию Ларри, когда он впервые появился за воротами сада, немой и голодный, он — фотографию Лилианы, когда она пребывала в

отчаянии от того, что ее вера в себя была убита родителями.

Если бы они плыли по жизни вместе, они бы не создали вокруг себя эти зоны пустоты, куда могли проникнуть другие отношения, как если бы доктор Эрнандес был любим и счастлив в Голконде, он сумел бы укрыться от своих врагов. (У Дианы были доказательства того, что его предупреждали об опасности и предлагали помощь, но он пренебрег и тем, и другим.)

Та манера, с какой Лилиана в конце концов, словно каменной стеной, отгородилась от жизни в Голконде, выдала ее (равно как и ее мужа) манеру пренебрегать новым опытом и жить по устоявшимся схемам.

Диана сказала:

— Люди обращались к доктору Эрнандесу только тогда, когда попадали в беду. Когда же устраивали вечеринки, ни один человек о нем не вспоминал. Я знаю, что он давал другим то, о чем сам страстно мечтал. Это его сочувствие… к тем, кто попал в беду. Я уверена, что он бедствовал сильнее, чем любой из нас.

Его смерть привела в движение цепь исчезновений и осознание их опасности. Страх словно пробудил Лилиану, вернул к жизни, расшевелил

чувства. Внезапная смерть продемонстрировала ценность человеческой любви и человеческой жизни. Все отрицания, разлуки, проявления безразличия стали казаться предвестниками абсолютной смерти и подлежали осуждению. Лилиана зримо представила себе мир без Ларри и детей и поняла, что ее любовь к Голконде оказалась возможной лишь потому, что она прекрасно знала: ее отсутствие будет временным.

Теперь она поняла смысл слов, сказанных тогда доктором Эрнандесом: «Нам кажется, что мы забыли какого-то человека, какое-то место, образ жизни, свое прошлое, и однако же то, что мы делаем в жизни, — всего лишь отбор новых актеров, чтобы создать максимально точную копию друга, любовника или мужа, которого мы стараемся забыть. Мы хотим, чтобы ту же драму сыграли дублеры. Но однажды открываем глаза и видим, что повторяем все ту же историю. А разве может быть иначе? Схема-то исходит из нас самих. Она внутри нас. Это то, что древние мистики называли кармой, повторяющейся до тех пор, пока духовный или эмоциональный опыт не будет осознан, уничтожен, достигнут».

Все персонажи были здесь, и их невозможно было описать словами. Они были представлены

серией образов. Заключенный тронул ее потому, что смутно напоминал Ларри, когда она впервые увидела его за железными воротами. И хотя заключенный оказался мошенником, его появления хватило для того, чтобы разбудить в Лилиане чувства к тому первому Ларри, которого она узнала, к Ларри, попавшему в беду, которую она всецело с ним разделила и из-за которой вышла за него замуж, но не столько из сочувствия, сколько по причине духовного родства. Она пыталась замаскировать это тем, что окунулась в жизнь, в новые взаимоотношения, и старалась казаться бесстрашной и страстной.

И только подлинная свобода Голконды, ее плавная, мягкая, тягучая жизнь обнажили несвободу Лилианы. Она была гораздо больше похожа на Ларри, чем думала. Как и он, она испытывала страх. Только страх заставлял ее быть активной, подвижной, заниматься флиртом, любить, давать, искать, и точно так же страх заставлял Ларри прятаться в своей норе и молчать. Утратив первое интуитивное знание о существующей между ними связи, Лилиана утратила и знание о самой себе. Ее увлек миф о своей храбрости, миф о своей теплоте и жизнерадостности. Вера в этот миф заставляла ее осуждать пассивность

Ларри, закрывая глаза на собственную тягу к пассивности.

Как-то раз доктор Эрнандес, Фред, Диана и Эдвард решили отправиться вечером туда, где местные жители Голконды устраивали танцы, — на немощеные улочки за рынком. Они перебрались через сточную канаву, ступили на земляной пол и сели за покрытый красной клеенкой стол. Тропические растения, растущие в бочках из-под бензина, загораживали от них улицу. Красные лампы на проводах отбрасывали угольного цвета тени и раскрашивали небо в меняющиеся тона пляшущих языков пламени. Расстроенное пианино издавало звуки, напоминавшие звон разбиваемого стекла. Дробь громких, как африканские тамтамы, барабанов заглушала и песни, и мелодии автоматического проигрывателя. Дома напоминали крытые сады. Смешивались воедино самые разные звуки — гитары, кубинский танцевальный оркестр, женский голос. Но танцующие подчинялись ритму, задаваемому барабанами.

У местных жителей кожа была всевозможных шоколадных, кофейных и древесных оттенков. Было много белых костюмов и платьев, а также одежды ярких расцветок, находящихся в таком

же отношении к платьям из набивной ткани, в каком старинные натюрморты с цветами и фруктами, написанные старыми девами, находятся к полотнам Матисса и Брака.

Здесь были все те, кого она встречала в Голконде: таксисты, полицейские, лавочники, водители грузовиков, спасатели, пляжные фотографы, продавцы лимонов и даже владелец лодки с прозрачным дном. Мужчины танцевали с голкондскими проститутками, в которых Лилиана узнавала тех самых девушек, которые днем мирно шили, сидя у окна, продавали мануфактуру или торговали на рынке фруктами. Они приходили на свою вечернюю работу с теми же опущенными долу глазами, нежными голосами и пассивным спокойствием, что и днем. Одеты они были более соблазнительно, с открытыми плечами и руками, но не вызывающе.

А напивались и горланили только мужчины. Полицейские привязывали свои ремни к стульям.

Местные жители танцевали босиком, Лилиана тоже сбросила сандалии. Земляной пол был теплым и сухим, и, как в тот раз, когда она, танцуя на пляже, почувствовала, как море лижет пальцы ее ног, она ощутила неразрывную связь между

землей и своим телом, как будто по ним текли одни и те же жизненные ритмы и соки, золотые, зеленые, водянистые и огненные, если вдруг затрагивалась глубинная суть.

Все пытались поговорить с доктором Эрнандесом. Даже те, кто пьяно покачивался, кланялись ему с уважением.

Певец исполнял незамысловатую мексиканскую песню о невыносимости причиняемых страстью страданий. Рекой лилась текила, вкус которой обостряли лимон и соль. Голоса становились хриплыми, фигуры — размытыми. Голые ноги утрамбовывали землю, тела утрачивали свою индивидуальность и, движимые одним ритмом, сливались в едином танце. Жар земных недр согревал ноги.

Доктор Эрнандес нахмурился и сказал: «Лилиана, наденьте сандалии!» Тон был покровительственным. Она понимала, что он мог обосновать свое требование врачебным авторитетом, но ей хотелось отчаянно бунтовать против всякого, кто мог положить конец ее волшебному слиянию с людьми, с землей, с танцами, с происходящим между танцующими обменом чувственными сигналами.

Лилиана была безотчетно сердита и на Фреда

за то, что он выглядел бледным и отстраненным, наблюдал, а не участвовал. Он не стал разуваться, и даже монотонное ликование певца не могло расшевелить этого иностранца, этого чужака. И вот уже рядом сидел не Фред, наблюдатель и флегматик, а все те, кто мешал ей прикоснуться к той самой огненной сердцевине, к которой постоянно прикасалась Сабина.

Растения, которые проникали на танцплощадку и поглаживали плечи танцующих, незваные гости из джунглей, жгучий запах текилы, кактусовое молоко, крики на улице, похожие на крики зверей в лесу, птица, обезьяна, глаза подглядывающих из-за кустов попрошаек, горящие и фосфоресцирующие, словно глаза диких котов; вода в канавах, бьющая как фонтан, такси, освещающие танцующих фарами, подобными маякам в волнующемся море чувств, мокрые от пота спины, касание пальцев ног, куда более интимное, чем касание пальцев рук, круглые столы, вращающиеся как на спиритическом сеансе и выдающие предосудительные послания, ласковое обращение — вся эта оркестровка сверкания тропиков служила тому, чтобы контрастно оттенить те мгновения бытия, которые не расцвели до конца и были прожиты тускло, те совпадения

и слияния, которых на самом деле не было.

Ларри и Лилиана соприкоснулись в одной точке, поймали друг у друга взгляд неприкрытого массой внутреннего «Я», но так и не слились. Слабая восприимчивость, слабая соединяемость, а временами вообще отсутствие контакта. Лилиана знала, что полное владение одного тела другим — чистой воды иллюзия: оно запросто могло ускользнуть. Она видела, как Фред добивается этого, наглухо закрываясь от чувственности этого места и этих людей.

«Наденьте сандалии!» — повторил доктор Эрнандес, и Лилиана поняла его приказ так: он хочет защитить ее от промискуитета. Такова была его роль. А она вынуждена была пренебречь им, чтобы не вызвать новых коротких замыканий, новых нестыковок. И пренебречь Фредом, который, как в тех сновидениях, где личность героя не совсем ясна, стал воплощением всех, кто не ответил на ее любовь, в том числе и первого среди них, Жерара. Когда Фред начал танцевать с ней — неуклюже, слишком трезво, — она взглянула на его ботинки, показавшиеся ей намеренным оскорблением, оттолкнула его и сказала:

— Ты истоптал мне все ноги своими башмаками!

Прошло то время, когда ее тело могли похитить пришельцы из мира вины. Восхитительного ощущения, какое вызвал поцелуй в ложбинку на сгибе локтя, которым одарил ее незнакомец во время танца, когда-то было достаточно для того, чтобы она покинула танцы. Но сейчас уже никто не мог лишить ее чувства единения с Голкондой. Она изменяла Ларри со всеми сладострастными телами и острыми запахами, она изменяла ему с самим наслаждением.

Девушки, должно быть, заметили, что Лилиана не танцует с Фредом, подошли и сели рядом с ним. На одной было черное атласное платье, отороченное белым кружевом, создающим видимость нижней юбки, как бы высовывающейся из-под платья. На другой была шаль, которая, словно по мановению невидимой руки, то и дело соскальзывала с ее плеч. У первой было выражение задумавшейся над домашним заданием школьницы. Ее волосы были влажными после купания и свисали прямыми прядями, как у таитянки. Вторая девушка улыбнулась и положила изящную, маленькую ручку Фреду на колено. Потом наклонилась к его уху и, продолжая улыбаться, шепотом задала какой-то вопрос, от которого кровь прилила к его лицу, а тело па-

нически напряглось. Девушка слева, подрагивая крохотными сережками и держа между пальцами, словно сигарету, голубой эмалевый медальон с изображением Святой Девы, добавила:

— А может, обе сразу? Это тебя больше возбудит?

Фред бросил отчаянный взгляд на Лилиану, и она рассмеялась. Одна из девушек уже целовала мочку его уха, другая скользнула рукой ему под рубашку.

— Лилиана, спасай меня!

Фред не мог выпутаться сам. Он встречал этих девушек на пляже, они продавали раковины, рыбу, кружева. Он видел, как они, с черными вуалями поверх волос, входят в церковь.

Осознав всю глубину его отчаяния, Лилиана сказала:

— Пойдем купаться. Слишком жарко для танцев.

И правда; их одежды прилипли к телу, а волосы были такими мокрыми, словно они только что вылезли из воды.

Девушки вцепились в Фреда:

— Останься!

Лилиана наклонилась к ним и сказала по-испански:

— В другой раз. Сегодня ему хочется побыть со мной.

Девушки убрали руки с его плеч.

И вот они уже в такси, трясущемся по немощеным дорогам.

Фред не знал, что в этот вечер он перестал быть в глазах Лилианы собой и стал Жераром, ее первым поражением от рук пассивности. Жераром, чей паралич она теперь узнала во Фреде и которого больше не желала. Невозможно вожделеть стену, препятствие, инертную массу, даже если когда-то Лилиана и соблазнилась ее мягкостью и пассивностью. Это успокоило ее страхи. Она не знала тогда того, что знает сейчас: это была встреча со страхом куда большим, чем ее собственный. Она могла страстно желать Жерара только потому, что инстинктивно знала, что он не ответит на ее желание. Она могла желать его безо всякой сдержанности (даже восхищаясь собственной необузданностью) только потому, что сдержанность была благополучно заложена в него самого. Лилиана была свободна в своих желаниях, поскольку знала, что ее не закружит вихрь слияния. Ей казалось абсурдным говорить, что следует отказаться от стакана воды, если хочешь пить, но что делать, если этот стакан таит

в себе все опасности любви? Когда Лилиане было шестнадцать-семнадцать лет, исполнение желания само по себе казалось рискованным, любовь — опасностью, а разделенная страсть — рабством. Она боялась попасть под власть другого человека (как Фред боялся попасть под власть женщин). Как будто, желая того, кто не желает ее, она могла позволить этому пламени пылать, чувствуя при этом: какая я живая! я способна желать! А бедный Жерар, он такой трус. Он боится жизни. Он тоже испытывает боль, думала она, но не от ощущения себя живым, а от фрустрации.

Как ликовала она, что не соблазнилась безмолвными призывами и последующими отступлениями Фреда. Как была счастлива, что открыла для себя не очередное неудачное любовное приключение, а секрет неудачи любовного приключения, заключающийся в неверном выборе партнера, в выборе, проистекающем из страха. Лилиана обнаружила, что именно страх двигал ее жизнью, страх, а вовсе не желание и не любовь.

Если бы они не пришли слишком скоро в ту тайную бухту, что была известна доктору Эрнандесу, ей хватило бы времени самой сделать неизбежные выводы. Они с Ларри выбрали друг друга, и каждый играл роль, которая спасала его

от собственных страхов. Как они могут осуждать друг друга за то, что каждый играет роль, навязанную другим? Ты, Ларри, не должен меняться, не должен двигаться, оставайся таким, какой ты есть, и люби меня неизменно. А ты, Лилиана, меняйся и двигайся за обоих, чтобы поддержать миф о свободе.

Фред боялся ночи, боялся Дианы, которая, когда ей было жарко, оттягивала платье с груди и колыхала им перед собой, как веером. Он боялся Лилиану, потому что она обмахивалась подолом своего ситцевого платья, и тогда видна была кружевная нижняя юбка.

Они вышли из такси на вершине холма, и доктор Эрнандес повел их через камни и кусты вниз, в свою тайную пещеру.

Фред боялся ночи, боялся, что его тело ускользнет от него, растворится в пурпурном бархате с алмазными глазами, в тропической ночи. Ночь и была безжизненной, как раскрашенная фотография, ее наполняли шепоты, и казалось, что у нее, как у листвы, есть руки.

Красота была наркотиком. Маленький пляж сверкал перед ними, как ртуть. Волны поглощали слова, и удавалось расслышать только смех или имя. Раскрашенная лунным светом Диана

вошла в волны, как фосфоресцирующая Венера. Масляные лампы на рыбачьих лодках дрожали, словно свечи. Неоновые огни, размытые туманом, отбрасывали на залив лучи, похожие на свет миниатюрных прожекторов.

Фред был взволнован так, словно встретил поющих сирен. Он не стал раздеваться. Доктор Эрнандес заплыл далеко, он знал здесь каждый камень. Лилиана с Эдвардом плескались возле берега. Усталость и жар танца были смыты. Море раскачивалось, как гамак. Можно было нарастить на себе новую кожу. Вздохи моря повторяли их вздохи, точно у моря и пловцов были общие легкие.

Из совершенной красоты тропической ночи, совершенной луны, совершенного сияния звезд, совершенной бархатистости ночи должна была родиться совершенная женщина. И никаких больше разрозненных фрагментов, ведущих разобщенную, келейную жизнь, обитающих иногда во временном жилище, каковой оказывается жизнь других.

Фред стоял чуть поодаль, цепляясь за свои замки, часы, острова, мосты. Водитель такси курил сигарету и напевал любовную песню.

Пассивность Фреда, который отказался от на-

поминающего крещение погружения в воду, вызвала в памяти образ пассивного Ларри. Но покуда душа меняется, она воссоздает смысл, и слово «устойчивость» некогда было признано достоинством. Лилиана любила устойчивость Ларри, нуждалась в ней, потому что в ее хаосе и потрясениях устойчивость стала символом неизменности, вечности. Постоянная любовь. Как несправедливо менять ее значение теперь, когда постоянная любовь превратилась в теплицу, в которой она родилась как женщина. Возможно ли начать новую жизнь с нуля, зная, что скрывается за созданными кем-то шарадами? Должна ли она сорвать маски, которые сама нацепила на лицо Ларри? Теперь она поняла, что несет ответственность за символическую драму их брака.

Лилиана возвращалась домой. Запутанные ходы лабиринта привели ее не к утрате иллюзий, а к открытию неисследованных измерений. Археологи души никогда не возвращаются с пустыми руками. Лилиана и раньше догадывалась, что у нее под ногами существует лабиринт, подобный подземельям Мехико, но боялась войти в него и встретить там Минотавра, который ее растерзает.

Теперь она столкнулась с ним лицом к лицу,

и оказалось, что Минотавр похож на кого-то, давно ей известного. Не чудовище, а отражение в зеркале, женщина в маске, Лилиана собственной персоной, тайная, скрытая под маской и до сих пор неведомая ей часть натуры, которая управляет всеми ее поступками. Теперь она схватила этого тирана за горло, отныне он не сможет ей вредить. Это было видно по лицу, отражающемуся в зеркалах круглых иллюминаторов пробирающегося сквозь облака самолета, — по ее ускользающему лицу, которое приобрело ясные и четкие очертания, только когда стемнело.

По узкому проходу между сиденьями бегала взад и вперед маленькая девочка лет шести-семи.

И пока самолет доставлял Лилиану домой в Уайт-Плейнс после трехмесячного контракта в Голконде, она, глядя на эту девочку, словно вернулась в прошлое, в дни своего детства, когда ее отец, измученный загадочными мексиканцами и стихийными бедствиями, приходил домой как в единственное царство, где его воля не оспаривалась. Он выслушивал от матери обычный отчет о случившемся за день. И как бы мягко она это ни делала, как бы снисходительно ни умаляла провинности детей, сказанного было достаточно

ему для того, чтобы отправиться с детьми на забитый пыльным барахлом чердак и там одного за другим их отшлепать.

Поскольку в остальное время отец не разговаривал и не играл с ними, не обнимал их, не пел и не читал, и вообще вел себя так, словно их не было, мгновения на чердаке вызывали у Лилианы два противоречивых чувства: унижения и наслаждения от близости. А так как других случаев близости в отношениях с отцом Лилиана не знала, она стала относиться к чердаку как к месту не только телесного наказания, но и единственного ритуала, в котором ей доводилось участвовать вместе с отцом. Однако, рассказывая об этом, она делала упор только на несправедливости и постыдности наказаний, подчеркивала то, что однажды она все-таки восстала и заставила отца отказаться от них.

Но как-то, прогуливаясь по Парижу, она зашла в Аркаду и увидела там людей, смотревших грошовые порнушки в автоматах с таким восторгом и интересом, что, увлеченная, тоже встала в очередь и опустила монетку в щель автомата. Последовал короткий ряд кинокадров, нескладных и сбивчивых, как фильмы двадцатых годов. Семья сидит за обедом: отец (усатый), мать (в

гофрированном платье), трое детей. Юная симпатичная горничная подает суп. Она вся в черном. На ней очень короткое платье. Видна белая кружевная нижняя юбка. На голове — белая кружевная наколка. Девушка проливает суп на колени отца семейства. Папаша в ярости вскакивает и уходит из-за стола переодеться. Горничная следует за ним; она должна не только помочь ему переодеться, но и искупить свой грех. Фильм позабавил, но не слишком тронул Лилиану, и она собиралась уже уходить, как вдруг автомат щелкнул и начался новый фильм. На этот раз действие происходило в школе. Ученицы — маленькие девочки шести-семи лет (именно столько было Лилиане, когда отец имел привычку ее шлепать), одетые в старомодные платья с оборками и рюшами. Учитель, рассердившись на их шалости и хихиканье, велит им подходить поочередно, чтобы в наказание отшлепать (точно так же Лилиана, ее сестры и братья строились и направлялись по лестнице на чердак). У Лилианы дико заколотилось сердце. Она подумала, что снова испытает боль и унижение, причиняемые ей когда-то отцом.

Но когда учитель на экране поднял маленькую девочку, положил ее себе на колени, задрал юб-

ку, стянул с нее трусики и принялся хлестать, Лилиана, спустя двадцать лет, испытала не боль, а всепоглощающую радость чувственного возбуждения. Как если бы эти шлепки, когда-то причинявшие ей боль, были единственной лаской, получаемой от отца. К боли неизменно примешивалась радость от его присутствия, извращенная близость таинственным образом перетекала в наслаждение. Ритуал наказания стал единственным актом интимности, единственным контактом, в котором место ласки и нежности занимали гнев и слезы.

О, как бы ей хотелось оказаться на месте этой девочки!

Дрожа от радости, она поспешно выбежала из Аркады, как будто возвращалась с любовного свидания.

Итак, истинным диктатором, организатором и распорядителем ее жизни была потребность в химической смеси, где столько-то унций боли были смешаны со столькими-то унциями наслаждения согласно формуле, известной лишь подсознанию. И все неудачи происходили из-за расхождения между теми пропорциями, в которых она нуждалась, и теми, которые ей доставались. Нуждалась на более глубоком

уровне, более востребованном. Эта потребность порождалась целой совокупностью отрицаний и искажений. Лилиана ошибалась, думая, что в своем отношении к Джею была рабой страсти: она была также рабой потребности. Она думала, что ее пребывание в Париже было вызвано страстью к Джею, на самом деле оно было предопределено теми днями в Мексике, когда ей было шесть или семь лет от роду.

А в химической формуле ее брака с Ларри доля боли оказалась недостаточной.

Ученые в лабораториях пытаются обнаружить вирус, вызывающий рак. Джуна считала, что можно выделить вирус, который разрушает любовь. Ей резко тогда возражали: такое открытие означало бы конец всех иллюзий, а ведь на самом деле это было бы только началом! От Джуны Лилиана узнала, что каждая здоровая клетка, отделенная от больной, способна начать новую жизнь.

Свернуть с привычной колеи. Лилиана была не так уже сильно привязана к отцу и могла обрести иные привязанности. Но сама форма, сам тип отношений превратились в досконально известный шаблон. Она пользовалась им механически, слепо ступала по привычной колее боли и насла-

ждения, обретая близость за счет боли.

Лилиана вспомнила слова Джуны: «Человек не распадается на части. Да, он подвергается своего рода расщеплению, но я верю в тех, кто старается изолировать больные клетки с тем, чтобы после расщепления каждая часть светилась и жила в ожидании нового слияния».

Не потому ли Лилиана всегда плакала на свадьбах, смутно сознавая, что каждый человек, как в гипсовую повязку, попадает в сочиненный им миф, а затем, утратив подвижность и способность к изменению, тащится по привычной колее, обозначенной прошлым?

Джей появился сначала как носитель радости. Лилиане нравилось его полное единение с землей, его приятие себя как голодного, ненасытного зверя. Он жил, не снимая с глаз шор, отыскивая удовольствия, избегая ответственности и обязанностей, умело перемещаясь по поверхности и не доверяя глубине, жил во внешнем мире, предпочитая многих избранным, одурманенный жизнью, куда бы она его ни заносила, не зная верности ни людям, ни идеям, стремясь оказаться в потоке и жить одним мгновением, не оборачиваясь назад и не заглядывая в будущее.

Разговоры Джея о насилии соответствовали ее

беспокойной натуре. После чего он нежно занимался с ней любовью без малейшего намека на насилие и спрашивал:

— Ты ожидала, что я буду грубым?

Она не знала этого человека. Первая комната, в которую он ее привел, была жутко убогой. Джей тогда сказал:

— Смотри, какой потертый ковер.

А она видела только золотое сияние, солнце за занавеской. И слышала его слова:

— Лилиана, какие у тебя удивленные глаза. Ты ежедневно ждешь чуда.

Его коричневая рубашка висела за дверью, на двоих имелся всего один стакан, и высилась целая гора набросков и эскизов, которые она должна была перебрать, рассортировать и составить из них альбом. У него не хватало времени на то, чтобы остановиться. На улицах было так много интересного. Недавно он обнаружил алжирскую улицу, благоухающую шафраном и звучащую арабскими мелодиями, которые доносятся из мрачных средневековых порталов.

Лилиане казалось, что вместе они смогут пережить нечто новое. Они познакомились в Нью-Йорке, когда Лилиана рассталась с Ларри. Джей уехал в Париж, чтобы жить рядом с ху-

дожниками, которыми он восхищался. Лилиана заключила контракт, согласно которому несколько месяцев в году могла проводить в Париже. Новое заключалось для нее в его полном приятии жизни — со всем ее уродством, нищетой и чувственностью. Всецелое приятие, без отбора, без пристрастий, без отстранения. Лилиана видела в нем нежного дикаря, страстного каннибала. Материнство готовит женщин к такого рода самоотречению. Лилиана соглашалась со всеми его увлечениями и порывами; сидела с ним за столиком кафе, разглядывая оранжевый циферблат и проститутку с деревянным протезом; играла в шахматы в Café de La Regence за тем самым столиком, за которым некогда играли Наполеон и Робеспьер; помогла ему собрать и записать пятьдесят слов со значением «пьяный».

Лилиана бросила классическую музыку и стала джазовой пианисткой. Классическая музыка не могла вместить в себя ее импровизации, темп, страсть.

Она следила за работой Джея, прочесывала парижские магазины в поисках самых лучших красок, узнавала секреты их изготовления у старых мастеров. Привела в порядок альбом его эскизов, отвезла в Нью-Йорк и продала там. Люди

расспрашивали ее о Джее. Они восхищались его талантом, свободой, отсутствием одной темы, внезапными поворотами, позволявшими им заглянуть в интимный, частный документ, что-то вроде дневника.

Где бы Джей ни оказывался, обстановка его жилья всюду была одинаковой: жесткая железная кровать, твердая подушка, стакан. Но это жилье освещалось оргиями: интересно, как долго мы сможем заниматься любовью, сколько часов, дней, ночей подряд?

Когда Лилиана уехала в Нью-Йорк навестить детей, он написал ей: «Я невероятно жив, но исполнен болью и абсолютно уверен в том, что ты нужна мне. Я должен скорее увидеть, какая ты яркая и чудесная. Хочу еще ближе узнать тебя. Люблю тебя. Я полюбил тебя, когда ты пришла и села на край кровати. Весь тот день был как теплый туман. Будь ближе ко мне, обещаю, что все будет здорово. Я так люблю твою искренность, твою как бы застенчивость. Я никогда не сумею этого разрушить. На такой, как ты, мне следовало бы жениться».

Крохотная комнатка, убогая, словно альков в стене. Но ее сразу же наполнили богатство голоса Джея, ощущение погружения в мягкую плоть,

пробуждение с каждым движением тела все новых точек наслаждения.

— Как хорошо, как хорошо, — бормотал Джей. — Но я, наверно, оказался не таким зверем, как ты ожидала? После моих диких картин ты хотела большего?

Эти вопросы обескуражили Лилиану. По какой мерке он себя мерит? По мерке сочиненного им мифа о том, чего хотят женщины?

На картинах Джея все выглядело крупнее, чем на самом деле. Не было ли это попыткой соответствовать собственной экстравагантности? Если у него в глазу увеличительное стекло, не видел ли он себя в жизни совсем мелкой фигурой?

В том же письме он писал: «Не знаю, чего ожидаю от тебя, Лилиана, но это что-то на пути к чуду. Хочу потребовать от тебя всего, даже невозможного, потому что ты сильная».

Но потом возникла боль, и ее причиной была скрытая слабость Лилианы. Ей необходимо было зеркало, в котором она видела бы себя такой, какой ее любит Джей. Или кумирня, где идолом была бы она. Уникальная, незаменимая Лилиана, как для Ларри. Но с Джеем это оказалось невозможно. Целый мир протекал сквозь его существо за день. Лилиане доводилось обнаружить, что на

ее стуле сидит (или на ее кровати лежит) самая неприглядная из женщин — тощая, косматая, безымянная, заурядная, подцепленная Джеем в кафе. Ее присутствие он мог объяснить только полной противоположностью Лилиане. На ней было пальто, оставленное Лилианой в его комнате. Рядом сидела серая противная собачонка. А Джей, до сих пор ненавидевший животных, воспылал вдруг любовью к этой пыльной, линючей дворняге.

Доброта Джея была высшим выражением его анархизма. Она означала пренебрежение принятой всеми логикой доброты: доброты к тем, кого любишь, с кем живешь. Его доброта была издевательством над законами любви и преданности. Он не мог ничего дать Лилиане. Джей был щедр лишь к чужакам, к тем, кому он ничего не был должен. Он дарил краски тем, кто никогда не писал картин, покупал выпивку тому, кто уже был вдрызг пьян, отдавал свое время тому, кто его не ценил, а картину, которая нравилась Лилиане, вручал первому встречному.

Его дары были показным пренебрежением к общепринятой шкале оценок. Он хотел придать ценность тому, что другими презиралось или отрицалось. Его ближайшим другом был самый

посредственный из художников, карикатурное отражение самого Джея, его приглушенное эхо. Подражая Джею, он мямлил слова и кивал. Он смеялся тогда, когда смеялся Джей. На пару они исповедовали дадаизм: все есть абсурд, все есть ирония. Иногда Джей начинал бурно восхвалять картины своего, как называла его Лилиана, Санчо Пансы.

Лилиана спрашивала:

— Почему ты им восхищаешься? Он что, действительно крупнее Гогена? Сильнее Пикассо?

Джей смеялся над ее серьезностью:

— Да нет же, просто я увлекаюсь собственными словами и, стоит мне начать говорить, не могу остановиться. Возможно, я имел в виду свою собственную живопись. Мне нравится мистифицировать, смущать, противоречить. Ты ведь знаешь, что в глубине души я во все это не верю.

— Но люди тебе верят!

— Им и без меня нравятся плохие художники!

— Ты лишь усиливаешь абсурд!

Лилиане казалось, что Санчо вообще не существует. Однажды ее познакомили с этим человеком с китайским лицом, но когда Лилиана попыталась к нему приглядеться, она обнаружила лишь неуловимую улыбку, которая была

отражением улыбки Джея, симпатию, которая оказалась своеобразной формой вежливости, собственное мнение, которое при малейшем возражении испарялось. Лилиана увидела перед собой метрдотеля на банкете, принимающего пальто камердинера, тень на верхней ступеньке лестницы. Его глаза ничего не выражали. Касаясь Санчо, она чувствовала под пальцами подвижное, неуловимое, анонимное тело. Он никогда не отрицал того, что утверждал Джей. Он подражал приключениям Джея, но Лилиана догадалась, что он не в состоянии ни овладеть жизнью, ни утратить ее, ни жадно проглотить, ни выплюнуть. Он был шерстяной стелькой комнатных шлепанцев, второй оконной рамой, войлочным подбоем молоточков пианино, амортизатором автомобильной рессоры. Он был человеком-невидимкой, и Лилиана никак не могла понять связывающих их уз. Она страдала, глядя на уменьшенную копию Джея, на его ссохшегося двойника.

— Тебе обязательно нужно было сближаться с этой уродиной сразу после меня? — спросила однажды Лилиана.

— Не бери в голову! — сказал Джей. — Райхел считает меня бессердечным, аморальным, небла-

годарным типом. Он думает, что раз у меня есть ты, я должен быть счастливейшим человеком на земле. Его назидания раззадорили меня, и я вошел в роль, чтобы шокировать его. Я говорил с ним о шлюхах и заставил возмущаться тем, что я безжалостен по отношению к тебе. Понимаешь? Для меня все это детский лепет, не бери в голову. Эй, Санчо!

Санчо, как всегда, залился истерическим смехом, «прикинулся деревенским дурачком», как это называла Лилиана. Она рассмеялась вместе с ними, но не от всей души.

— Я открываю свой собственный мир, — говорил Джей. — Определенные условия существования, вселенную чистого бытия, где человек, подчиняясь инстинктам, живет как растение. Никакого желания. Великое безразличие, подобное безразличию индуса, пассивно ожидающего, когда внутри него прорастут некие семена. Что-то среднее между европейской волей и восточной кармой. Я хочу радости просветления, радости того, что вижу вокруг себя. Хочу принимать вибрации. Восприимчивость ко всему в жизни. Приятие. Вбирание в себя. Только быть. Такова испокон веков роль художника — демонстрировать радость, экстаз. Моя жизнь была долгим

противостоянием воле. Я привык позволять событиям происходить самим по себе. Избегал службы и обязанностей, хотел выразить в живописи освобождение от воли и напряжения ради чистого наслаждения.

Такую вот атмосферу создавал вокруг себя Джей, и Лилиана откликалась на нее: расслабленность тела и жестов, подчинение потоку, стремление к наслаждению, которое, насытившись сам, он дарил другим. Когда что-либо угрожало его наслаждению, он умел мастерски избежать опасности. Джей создал нечто, на первый взгляд не тронутое свойственной его времени тревогой, но Лилиана чувствовала, что во всем этом есть некий изъян. Не знала только, какой именно.

Изъян, как потом выяснилось, заключался в том, что его мир, подобно миру ребенка, зависел от заботы и преданности других, от всех тех, кто взваливал себе на плечи его заботы.

Джей получил письмо от своей первой жены, в котором говорилось об их дочери, девочке четырнадцати лет, о том, что она проявила недюжинный талант к живописи. Джей застонал:

— Я ничем не могу ей помочь!

Он вспомнил, как говорил ей, пятилетием: «Запомни, я тебе брат, а не отец!»

Мысль об отцовстве была ему неприятна. Она угрожала его желанию сохранить вечную свободу и молодость.

— Пусть она приедет и поживет с нами, — сказала Лилиана.

— Нет, — ответил Джей. — Я хочу быть свободным. Меня ожидает очень много работы. Я собираюсь вынуть мои картины из рам. Хочу, чтобы они стали частью стены, непрерывным фризом. Краски вот-вот посыплются с холста! Не буду их удерживать. Пусть сыплются!

Пока Лилиана готовила ужин на маленькой кухоньке рядом с мастерской, он заснул. А когда проснулся, уже не помнил ни о дочери, ни о своей вине.

— Ужин готов? Тебе нравится это вино?

«Как бы я хотела, чтобы его безразличие стало заразным, — думала Лилиана. — Он может забыть свою дочь, но я-то забыть своих детей не могу. Каждый вечер я покидаю Джея, чтобы через океан пожелать им доброй ночи. Я должна любить Джея той же любовью, какой любила детей. Любить так, словно не существует иного способа выражения любви, кроме заботы и преданности».

Лилиана занималась тем, что утешала друзей

которых он эксплуатировал, возвращала его долги, следила за тем, чтобы бунт Джея не слишком дорого ему обходился.

Когда они впервые встретились, Джей служил корректором в редакции одной газеты. Картины его тогда еще не продавались. Работа была очень утомительной для глаз. Возвращаясь домой, он первым делом промывал воспаленные веки. Лилиана смотрела на него, на его покрасневшие глаза, обычно веселые, а теперь поблекшие от усталости, слезящиеся. Эти глаза, так необходимые для настоящего труда, он портил корректорской работой, корпя над сероватой бумагой при слабом освещении. Глаза, которые хотели впитать в себя весь мир, всю глубину его образов.

— Джей, — сказала Лилиана, протянув ему стакан с красным вином, — выпей за окончание своей работы в газете. Тебе никогда больше не придется этим заниматься. Я играю на пианино по ночам и зарабатываю достаточно, чтобы хватило на обоих.

Иногда Джей был похож на гнома или сатира, иногда — на серьезного ученого. Его тело казалось хрупким по сравнению с его безудержностью. У него был ненасытный аппетит к жизни. Родители дали Джею денег на учебу в колледже. Он сунул

их в карман и отправился странствовать по Америке, соглашаясь на любую случайную работу, а то и вообще без работы, путешествуя с бродягами и автостопом, нанимаясь сборщиком фруктов и мойщиком посуды, отыскивая приключения, обогащая свой опыт. С тех пор он много лет не виделся с родителями. Одним ударом отрезал себя от детства, от юности, от всего прошлого.

Какое богатство, восхищалась Лилиана, какой могучий поток! В мире, остуженном разумом, его творчество извергалось вулканом и поднимало температуру окружающей среды.

— Давай, Лилиана, выпьем за мой Писсуарный период. Я изображаю на холсте радость мочеиспускания. Как чудесно мочиться, разглядывая Сакре-Кёр и размышляя о Робинзоне Крузо. А еще лучше — в сортире Ботанического сада, слушая рычанье львов, а тем временем обезьянки скачут по деревьям, наблюдают за тобой и пытаются тебе подражать. В природе все прекрасно.

Джей любил шумные улицы. Гуляя по ним, он чувствовал себя счастливым. Он любовно запоминал их названия, словно имена женщин. Знал их досконально, замечал, какие из них исчезли, какие появились. Он водил Лилиану на Rue d'Ulm, что звучало как название поэмы Эдгара Аллана

По, и на Rue Feuillantine, напоминавшую шелест листьев, и на набережную Valmy, где баржи у шлюзов терпеливо ожидают подъема воды, а тем временем жены шкиперов развешивают белье на палубах, поливают цветы в горшочках и гладят кружевные занавески, отчего баржи напоминают деревенский дом. Rue de La Fourche, подобная трезубцу Нептуна или дьявола, Rue Dolent с окружающей тюрьму скорбной стеной. Impasse du Mont Tonnere! Как он любил Impasse du Mont Tonnere. У входа, словно караульный пост, располагалось маленькое кафе с тремя круглыми столиками на мостовой. Ржавые железные ворота, некогда их открыли для проезда экипажей, да так и оставили распахнутыми навсегда. Гостиница, переполненная алжирцами, которые работают на соседней фабрике. Гортанные голоса, монотонные песни, крики, аромат пряностей, жестокие ссоры, ножевые раны.

Как-то раз, пройдя за железные ворота по неровной булыжной мостовой, они попали в Средневековье. Собаки рылись в отбросах, женщины шли на базар в домашних тапочках, старая консьержка смотрела на улицу из-за полуоткрытых ставен. Ее кожа была цвета мумии; она прошамкала что-то сморщенным ртом, но Джей

ее не расслышал. «Кто вам нужен?» — задала она классический вопрос консьержек. Джей ответил: «Марат, Вольтер, Малларме, Рембо».

Он сказал:

— Всякий раз, когда я вижу консьержку, вспоминаю, что в Средние века верили, что если замуровать в стене строящегося дома кошку, это принесет удачу. Консьержки кажутся мне теми самыми кошками, которые вернулись из глубины времен и, чтобы отомстить за себя, теряют почту и вводят гостей в заблуждение.

Через вход, такой же черный и узкий, как вход в гробницу майя, они вошли в аккуратный внутренний дворик со скромно цветущими растениями в горшках и треснувшим окном, которое, как считалось, когда-то распахнула Нинон де Ланкло. Маленькое окно с кривой рамой и нависший над ним клобук покрытой шифером серой остроконечной крыши были столько раз запечатлены на живописных полотнах, что слились с застывшим и вечным прошлым так же, как остановившие время перламутровые облака, которые не в силах унести прочь никакой порыв ветра.

Джей сидел за маленьким кофейным столиком, как охотник в ожидании добычи. Лилиана сказала:

— Художники и писатели так возвеличили эти места и их обитателей, что в произведениях они кажутся более живыми, чем нынешние дома и люди. Я вспоминаю слова Леона Поля Фарга, а не те слова, что доносятся сейчас. Я слышу стук его трости по мостовой отчетливей, чем звук собственных шагов. Неужели та жизнь была такой богатой и напряженной? Или ее возвысили художники?

Время и искусство сделали из Сюзанны Валадон, матери Утрилло, то, чем Джей никогда бы не смог сделать Сабину. Наслоение придает картинам особый привкус, лессировка — поэтичность. Художники того времени помещали предмет изображения в поток света, проникающий в нас навсегда, заражающий нас их любовью. А с Джеем, как и со многими современными художниками, все было наоборот: сам того не сознавая, он выражал свою неспособность любить, свою ненависть.

Однажды Джей сказал:

— Я прибыл на том же судне, на котором доставляют на Дьявольский остров заключенных. И подумал, как странно получилось бы, если бы на обратном пути я плыл с ними уже как обвиняемый в убийстве. Это было в Марселе. Я подцепил

в кафе двух девчонок, и мы, проведя вечер в ночном клубе, возвращались в такси. Одна из девиц все твердила, чтобы я не дал себя облапошить. Когда мы подъехали к гостинице, водитель назвал до нелепого высокую сумму. Я начал с ним спорить. Я страшно разозлился, но даже в этот момент четко сознавал, что смотрю на его лицо с невероятным напряжением, словно хотел его убить, но я-то его убивать не собирался, просто моя ненависть была увеличительным стеклом, через которое я рассматривал подробности — мясистое, пористое лицо, волосатые бородавки, взмокшие волосы на лбу, замутненные глаза цвета перно. В конце концов мы пришли к соглашению, но в ту же ночь мне приснилось, будто я его задушил. На следующий день я нарисовал его таким, каким увидел во сне. Словно задушил на самом деле. Люди будут ненавидеть эту картину.

— Нет, скорее полюбят, — ответила Лилиана. — Джуна говорит, что преступник освобождает людей от желания совершить убийство. Он принимает на себя преступления всего мира. На своих картинах ты запечатлеваешь желания тысяч людей. То же самое можно сказать о твоих эротических картинах. Твою свободу полюбят.

На заре они остановились на Place du Tertre,

среди домов, которые, казалось, вот-вот рухнут, расползутся. Слишком долго они были фасадами домов Утрилло.

Трое полицейских прогуливались по площади. Уличный телефон истерически зазвонил в рассветном тумане. Полицейские кинулись к нему.

— Кто-то совершил за тебя убийство, — сказала Лилиана.

Два официанта и женщина бросились за полицейскими. Громкий звонок не умолкал. Один из полицейских схватил трубку и ответил на какой-то заданный ему вопрос:

— Нет, нет, никак нет. Ничего не случилось. Все абсолютно спокойно. Очень спокойная ночь.

Лилиана и Джей сели на поребрик и рассмеялись.

Но в чем бы ни состоял секрет свободы Джея, он не мог поделиться им с Лилианой, она никак не могла им заразиться. Только чувствовала его тайные потребности: «Лилиана, ты мне нужна. Будь моим ангелом-хранителем. Лилиана, чтобы работать, мне нужен покой». Любовь, верность, внимание, преданность создавали вокруг Лилианы такие же барьеры. Такие же ограничения, такие же табу.

Джей избегал в людях красивого. Он подчерки-

вал их сходство с животными: плоть изображал дряблой, кожу — прыщавой, волосы — сальными, ногти — грязными. Он относился к красоте с тем же подозрением, с каким пуритане относятся к макияжу, а толпа — к фокусникам. Он отделял природу от красоты. Природой была небрежность, незастегнутые пуговицы, нерасчесанные волосы, бездомность.

Лилиану смущало несоответствие картин Джея тому, что на них изображалось. Они вместе гуляли вдоль Сены, и Лилиана видела реку шелковисто-серой, извилистой, блестящей, а он рисовал ее матовой, илистой, с винными пробками, застрявшими среди водорослей в стоячей воде отмелей.

Джей обнаружил одну бродяжку, которая ночевала в одном и том же месте напротив Пантеона, прямо на мостовой. Она отыскала вентиляционный люк, из которого шло тепло, а иногда — бледный серый дым, и тогда казалось, что женщина горит. Бродяжка лежала аккуратно, положив голову на хозяйственную сумку с теми немногочисленными вещами, что у нее еще оставались, натянув коричневое платье на локти, туго завязав шаль на подбородке. Она спала спокойно, с достоинством, словно в собственной

постели. Джей запечатлел ее грязные ноги в царапинах, мозоли на пальцах ног, черные ногти. И не обратил ни малейшего внимания на связанную с ней историю, которая так понравилась и запомнилась Лилиане. Когда они попытались отвести ее в дом к одной старушке, бродяжка отказалась: «Предпочитаю остаться здесь, где похоронены все великие люди Франции. Мы с ними одна компания. Они за мной присматривают».

Лилиана вспомнила слова из Талмуда: «Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какие мы есть».

Лилиана приходила в такое замешательство от хаотического образа жизни Джея, его дадаизма и его противоречий, что обращалась к Джуне за разъяснениями. «Реализм» Джея, его потребность все выставлять напоказ, «развенчивать», как он сам говорил, не казались Лилиане такими же реальными, как интуитивное толкование их поступков, которое делала Джуна.

Лилиана не была уверена в себе как в женщине возможно, потому, что отец хотел, чтобы она родилась мальчиком. Она не считала себя хорошенькой и девочкой любила надевать на себя одежды брата, сначала для того, чтобы понравиться отцу, а потом для того, чтобы ощущать

себя сильной и избегать проблем, с которыми неизбежно сталкиваются женщины. Коротко подстриженная, в джинсах, толстом свитере и теннисных туфлях, она словно бы надевала на себя не одежду брата, а его уверенность в себе. Лилиана пришла к убеждению, что мужчины сами определяют свою судьбу, а женщины нет. Она выбрала мужской костюм по той же причине, по какой дикари надевают маски, чтобы отпугнуть врагов. Но мистерия, в которой она принимала участие, была слишком таинственной. Притворяться мальчиком в то время, когда хочешь, чтобы кто-нибудь из мальчиков тебя полюбил! Играть роль активного любовника так, чтобы любовник понял, что на самом деле именно этот она ждет от него. Она играла роль активного любовника не потому, что была агрессивной, а потому, что хотела показать, что это такое…

Отец хотел, чтобы Лилиана родилась мальчиком, и потому она приобрела некоторые мужские черты: храбрость, деловитость. Однако, перестав играть активную роль, почувствовала куда большую уверенность в себе и поняла, что женщина может полюбить ее за другие качества, подобно тому, как мужчину любят за силу, талант и ум.

Сабина, которая появилась сначала как на-

турщица Джея, а потом постепенно вошла в их интимную жизнь, увлекла Лилиану своим хаотическим и неудержимым потоком и повергла в почти настоящую страсть. Но затем с помощью Джуны Лилиана вскрыла истинную природу их связи. Это было желание невозможного союза: она хотела затеряться в Сабине и стать Сабиной. Желание быть Сабиной она приняла за любовь к Сабининой ночной красоте. Она хотела лежать рядом с нею, становиться ею, быть с нею одним существом, воспрять вдвоем в одной женщине. Прибавить себя к Сабине, придать сил женщине в себе, скрытой женщине по имени Лилиана, которую она никак не могла освободить. Погрузиться в присущие Сабине свободу, способность к импульсивному действию, безразличие к последствиям. Пригладить свою буйную гриву гладкими волосами Сабины, смягчить свою грубую кожу прикосновением к шелковистой коже Сабины, зажечь свои голубые глаза пожаром желтовато-коричневых глаз Сабины, пить голос Сабины вместо своего собственного и, переодевшись Сабиной, избавиться от своего тела ради своего блага, стать, наконец, одной из тех женщин, которые так нравились отцу.

Таким образом, она любила в Сабине нерож-

денную Лилиану. Добавляя себя к Сабине, она становилась как бы более сильной женщиной. В присутствии Сабины была более живой. Она выбрала тело, которое могла любить (презирая при этом свое собственное), свободу, которой могла подчиняться (и которой у нее никогда не было), и лицо, которому могла поклоняться (недовольная собственным лицом). Она верила, что любовь способна осуществить такую метаморфозу.

Эти чувства были смутными, невысказанными до той ночи, когда они втроем отправились прогуляться и Сабина одна выпила целую бутылку перно. Она почувствовала себя так плохо, что Джей и Лилиана принялись за ней ухаживать. Сабина лежала как в бреду. Как это нередко бывало, у нее начался жар, и Лилиана не на шутку встревожилась, глядя, как лицо Сабины словно бы разъедается изнутри. Она легла рядом, чтобы приглядывать за ней, а Джей отправился спать в мастерскую.

Согласно первой версии этой ночи, возникшей из наркотического бреда Сабины и уклончивых признаний Лилианы, Джей понял, что ревность к нему пролегла между ними и разделила их. Но это было поверхностным впечатлением. Позже Лилиана обнаружила совершенно другую драму.

И Сабина, и Лилиана, оказавшись лицом к лицу с некой женщиной, поняли, что испытывают не желание, а чувство близости. Они целовались, вот и все. В Лилиане Сабине была интересна ее неопытность, ее свежесть. Она как бы хотела начать жить заново. Обе желали чего-то неуловимого. Того, что невозможно было объяснить Джею, для которого все всегда было предельно ясным и сводилось к простейшим действиям. Он не чувствовал атмосферу, настроение, таинство…

Настоящим волшебным мостом оказалось понимание того, что в Сабине жила спящая Лилиана. Та самая Лилиана, которую Джей не в силах был разбудить, освобожденная Лилиана. А он нуждался в Лилиане преданной.

Сабина была воплощением свободы — в каждом своем жесте, в каждом слове. Она была свободна от верности, лояльности, благодарности, преданности, обязанности, ответственности, вины. Даже роли, которые играла Сабина, она выбирала сама.

Достигнув высшей точки своих фантазий о возможной близости с женщиной, ни одна из них не захотела идти дальше. Обе поняли эту комедию притворства. Поняли, что есть что-то абсурдное в их браваде в отношении всего прежнего опыта

и той роли, которую играл Джей. Они не могли ускользнуть от женственности, отказаться от женской роли, пусть даже очень трудной.

Просочившись наружу, история обернулась поэзией, мифом, драмой. Становилось все труднее и труднее открыть правду, которая была простой и человечной. Лилиана скрывала тайну, потому что чувствовала, что она может усилить любовь Джея к Сабине. Джей решил, что Сабина любит женщин и это объясняет ее замкнутость.

А если бы Джей подумал об их колебаниях, неловкости, о замешательстве обеих? Он бы только осмеял их! Тем не менее каждая играла свою роль: Сабина — по-театральному, с плащом, гримом, ночными приходами, драматическими эффектами, исчезновениями, тайнами; Лилиана — роль, продиктованную ее внешней естественностью и честностью. «Я жду от тебя честности», — говорил Джей. Все знали, что Сабина — актриса, но верили в то, что Лилиана искренна.

Лилиана любила изменчивость Сабины, потому что мечтала о ней для себя. Думая, что соблазняет женщину, она соблазняла свой дар к избежанию всего, что может прервать течение страсти, что может вмешаться в жизнь как приключение.

Однажды они поцеловались. Поцелуй был нежный и приятный, но ощущение такое, будто трогаешь собственную плоть. Все это было на поверхности их тел, не в сердцевине. Сабину тронула ослепленность Лилианы. Она улыбнулась как победительница.

Лилиана вообразила себе, что от любви к Сабине может произойти чудесное превращение. То, что случилось в ту ночь, было не лесбиянством, надеждой на обмен душами.

Джей интересовался только чувствами Сабины.

Но было много такого, о чем Лилиана не могла рассказать ему. И много такого, о чем он не желал слушать. Джей полагал, что сумеет растворить Сабинину мощь в кислотной ванне голой правды. Он пытался испытать ее силу.

Он никогда бы не поверил, что они искали союза друг с другом потому, что чувствовали себя неполноценными, обнаженными, не такими сильными, как он себе представлял. Джей был абсолютно глух ко всевозможным слабостям, потребностям, мгновениям беспомощности.

Он не поверил бы, что каждая из них ищет в другой сестринского или материнского утешения из-за его сумасбродного поведения, его бесконеч-

ных предательств.

Антифонная музыка сталкивающихся желаний повторялась до бесконечности. Джей, как незваный гость, хотел, чтобы правда была черно-белой, тогда как разгадка таилась в предваряющих действие мифах, появляющихся в снах с закрытым лицом, безмолвных, не поддающихся расшифровке.

Так продолжалось до тех пор, пока Джуна не отделила все струны от боли и слепоты, от боли слепоты.

Странно, что здесь, в этом свете, высоко над землей, над морями облачной ваты, над горами снега, Лилиана почувствовала, что летит сквозь зоны осознания, куда ее привел метод восхождения Джуны, которому она в конце концов у нее обучилась. Используя слова Джуны, этого авиатора языка, «воздушной силы для земных жизней».

Некоторое время Лилиана была привязана одновременно и к Джею, и к Сабине. Но чего хотел Джей? Владеть ими обеими? Она вспомнила его письмо к ней: «Ты по-настоящему сильная. Но предупреждаю тебя: я не ангел. Я ненасытен и потребую от тебя невозможного. А чего именно, и сам еще не знаю».

Некоторое время спустя Джей потребовал от

нее, чтобы она согласилась на присутствие Сабины — сначала на его полотнах, потом в их жизни. Он даже хотел, чтобы Лилиана помогла ему узнать Сабину получше.

Покидая Париж в последний раз, отказываясь от Джея, Лилиана сказала ему:

— Пришло время и мне рассказать тебе о Сабине, потому что это заставит тебя любить ее больше. Понимаешь, то, что мне довелось увидеть, было проблеском ее невинности. В ту ночь… мы обе мечтали вырваться из своих тел, из своих форм. На определенной стадии экзальтации все границы стираются, личность утрачивается. Сабина испытывала ту же неловкость, что и я. Она понятия не имела, как вести себя с женщиной, и повторяла: «Я хочу, чтобы все в моей жизни только начиналось, чтобы я могла верить, чтобы у меня не было опыта, чтобы я, как и ты, могла отдаваться целиком, могла доверять». Она хотела моей невинности, а то, чего мы хотим, — это то, что мы есть. А я, которая всю свою жизнь не могла толком ни жить, ни даже дышать из боязни причинить кому-либо вред, я увидела, что Сабина берет то, что хочет, и получает за это любовь. Я хотела заразиться от нее безответственностью. Теперь ты будешь любить ее больше.

— Нет, — ответил Джей, — гораздо меньше. Потому что она никогда не сказала бы мне того, что сейчас сказала ты. Я не могу ненавидеть то, что ты описала, в этом есть своя красота. Теперь я понимаю: то, что я тебе давал, было слишком грубым и плоским по сравнению с этим.

— Нет, Джей, ты сделал из меня женщину. А Сабина хотела вернуть в состояние полуженщины, сделать такой, какой я была до встречи с тобой.

— Даже если между нами нет любви, — сказал Джей, — мы можем быть друзьями. А с Сабиной это абсолютно невозможно. Мне ненавистны ее заморочки.

— Зато интересны. Они действуют на тебя как наркотики. Я не могла дать тебе ничего подобного, всегда предлагала что-то слишком обыденное. Я — не наркотик.

Лилиана смотрела на светло-серые волосы на его затылке и понимала, что сможет оставаться рядом с ним даже тогда, когда он полон страсти к Сабине. Но была убеждена в том, что в конце концов тело Сабины восторжествует. Оба были жестокими и лучше подходили друг другу. Но что станется с тем нежным Джеем, которого она знала?

Она сказала:

— Я должна ехать к детям. Адель больна.

— Все, что ты делаешь, правильно. Впервые я вижу в этом некую красоту.

Полет продолжался в наступившей ночи. Временами самолет трясло как бы от слишком долгих усилий, затраченных на набор высоты. Джей был озабочен тем, чтобы быть любовником всего мира, давать имена всему, что есть в мире, ласкать его своими короткими и грубыми руками, присваивать и исследовать. А Джуну интересовали лишь долготы, широты и высоты, на которых пребывают люди по отношению друг к другу.

В какой-то момент Лилиана решила, что за бортом самолета гроза. Зажглась надпись, велевшая пристегнуть ремни. Пассажиры спали, уверенные в том, что, пристегнутые к креслам, приземлятся благополучно. Лилиана отодвинула шторку и сквозь стекло иллюминатора устремила взгляд на небо, в чьей бескрайности исчезают все наши печали. Она смотрела на луну, словно устанавливая с ней связь, словно уверяя ее в том, что земные бури ей не страшны. Чем пристальнее Лилиана вглядывалась в луну, тем более ровно, как ей казалось, летел самолет.

В тот год внимание всего мира было прикован о к Луне. «Первым исследуемым объектом

Солнечной системы, вне всякого сомнения, будет Луна». Но как мало мы знаем о людях, думала Лилиана. Все телескопы нацелены на отдаленные планеты. Никто не хочет обратить зрение внутрь самого себя.

То, что она видела в Ларри на протяжении их замужества, было лишь тем, что он позволял ей видеть, — гигантскими крыльями альбатроса, крыльями доброты. Она не способна была видеть ничего выше или ниже его крыльев. Ларри предлагал ей свою доброту. Он никогда не говорил: «Я хочу, я люблю, я возьму», но всегда: «Что ты хочешь? Что тебе нравится?» Он сознательно препятствовал ее попыткам заглянуть в его душу.

«Луна — ближайший сосед Земли».

Они спали рядом, бок о бок. Ночью и на рассвете тело Ларри было здесь. Она чувствовала его тепло. В голосе Ларри была ласка, в симпатии — тропический бальзам, в доброте — Вселенная. Его внимательность ослепляла. Если у него была другая жизнь, другие «Я», то он был похож на планету, обращенную к Лилиане одной стороной.

«Ракета, которой понадобилось бы несколько месяцев для того, чтобы достичь одной из больших планет, сможет добраться до Луны за один-два дня».

«Автоматической станции, оказавшейся на Луне, гораздо легче осуществлять связь с Землей, чем такой же станции на Марсе или Венере». Не нужно было кружить вокруг Ларри, не нужно было уезжать в Париж, в Мексику. Наконец-то она стала приемником для посылаемых Ларри сигналов!

«Исследователям, поглощенным замечательными достижениями современной астрономии и физики, Луна казалась мертвым, неподвижным и не знающим изменений миром».

Но ведь это только потому, что она не заглянула под маску. Слишком плотным кольцом окружала Ларри его собственная доброта, безличная, почти анонимная. Он присутствовал только тогда, когда был востребован, а востребован бывал только бедой. Конечно, в восприятии Лилианы закрепился искаженный образ, но эту маску предложил ей сам Ларри.

«Луна — космическая скрижаль. На ее поверхности сохранились записи о древних событиях, и потому она хранит ключ ко всей Солнечной системе».

Ключ к ее браку? Ларри достиг неподвижности.

А Лилиана была создана «из воздуха и воды,

которые обеспечивают на Земле жизнь, постепенно размывающую ее поверхность. Процессы, происходящие внутри Земли, заставляют подниматься горные цепи и разрушают их силами эрозии. Эти циклы созидания и эрозии от одной эпохи к другой и дают портрет прошлого Земли». Таков был портрет внутренних метаний Лилианы, выраженный на астрономическом языке! Картина того, как Ларри цепляется за прошлое, картина их совместной жизни.

«Луна не имеет ни атмосферы, ни океанов и никогда не размывается водой и ветром. Более того, круговые образования на поверхности Луны, определяющие ее топографию, свидетельствуют о том, что ее кора не подвергалась тем жестоким изменениям, которые происходят в процессе образования гор на Земле».

Ларри хотел подарить Лилиане нетронутую и открытую для исследований поверхность. Но ее ровность была такой же маской, как и театральные переодевания Сабины. «Что ты чувствуешь? Где ты? Разделишь ли мои порывы? Мою дружбу?»

Что именно отбросило Ларри из гущи жизни на позицию наблюдателя, находящегося так далеко от Земли? Что заставило его окружить себя

атмосферой безличности, которой невозможно дышать, что заставило исчезнуть из собственного тела? Наверное, те несколько эпизодов, о которых ей было известно, но которые она никогда не сопоставляла Сейчас она впервые высаживается на новую планету под названием Ларри. «Каждая планета в момент своего рождения является холодной». Его мать не хотела, чтобы Ларри родился. Это было первым отрицанием. Он явился без приглашения любви, отвергнутый отцом.

«Холодное рождение не исключает последующего нагревания и плавления планетных тел под воздействием находящихся в них радиоактивных веществ».

Ребенок, испытавший «холодное рождение», искал тепла и убегал из дома к хижинам негров, живших неподалеку и работавших на его отца. Отец служил в американской компании, которая занималась бурением нефтяных скважин в Бразилии.

У матери были выцветшие голубые глаза, она носила белые платья с оборками, удушающие, закрывающие шею и руки, испещренные тысячами плотных, наползающих друг на друга, контролирующих каждый дюйм стежков, как будто в страхе перед тем, что материальный мир может

всколыхнуться, развалиться или улететь прочь.

Отец верил в упорный труд, не допускающий ни праздности, ни мечтания. Казалось, он следил за ходом Вселенной, то и дело вытаскивая из кармана часы, как судья у беговой дорожки. Мать была охвачена страхами. Всякое удовольствие казалось ей опасностью. Плаваешь — можно утонуть, занимаешься пиротехникой — можно оторвать палец, охотишься на светлячков — можно разъярить гремучую змею, общаешься с аборигенами — можно превратиться в дикаря.

Хижины негров влекли Ларри теплотой голосов, жестов, пищи. Ему нравилась их нагота, их мягкий смех. Дома казались ему гнездами радостной плотской близости. Ласки расточались здесь очень щедро, все довольно мурлыкали, ворковали словно голуби. Насилие врывалось и исчезало, как тропический ливень, не оставляя за собой следов. (Дома любая ссора сопровождалась неделями молчания и обид.) Так Ларри впервые сблизился с людьми. Он сбросил слишком тесные одежды. Няня-негритянка, заменившая ему мать, умилялась его белой коже. Ее цветастое ситцевое платье пахло пряностями, она двигалась легко, словно пушинка. Когда няня бывала в хорошем настроении, ее тело колыхалось от смеха Белье

на веревках раздувалось, как паруса, и казалось живее, чем радуга.

Но и она его предала.

Ларри играл с голыми черными ребятишками. Искупавшись во всех запретных речках и лагунах, они открыто восхищались друг другом и полушутя друг друга ласкали. Как-то дома Ларри решил повторить эти игры со своим младшим братом, но не во время купания на природе, где все происходило среди растений, травы, тростника, а в ванной. Ларри думал, что изучение тела пройдет здесь так же весело, как на берегу реки. Его младший брат был очень изящным, у него были тонкие волосы и нежная, как у девочки, кожа. С наслаждением сравнивали они оттенки кожи, ширину грудной клетки, длину и силу ног. Это научно-эротическое исследование не ускользнуло от глаза няни, подсматривавшей за ними через окошко. На природе она лишь смеялась над тем, о чем сейчас не преминула сообщить родителям, словно полицейский на границе некой запретной зоны.

Шокирующее предательство мира, который он любил с доверчивой страстью, пришло вовсе не оттуда, откуда он ожидал, то есть не от отца с его насупленными бровями и глубоко посажен-

ными на усталом лице глазами и не от бледной матери с ее холодным взглядом. Предательство пришло от пропахшей пряностями, босоногой, добросердечной черной матери, которую он так любил. Такого рода обстоятельства отбрасывают человека прочь от людей. Людские нападки вышвыривают в пустое пространство. Разве не могла няня не смеяться над детьми, изучающими чудеса, которые дарует тело? Разве не могла она не смеяться над их играми, как смеялась над ними во время купания? Разве она не клала свою теплую сухую руку на его жеребячьи ключицы, не расчесывала ему своей пятерней волосы? «Чтобы ощутить их шелковистость». А ведь с нею он уже почти достиг Земли, почти родился для новой, «расплавленной» жизни.

Ребенок задал курс своей планете, выбрал себе место во внешнем мире, следуя волнам гостеприимства и страха, с которыми он сталкивался. Боль была инструментом, позволявшим ему дрейфовать и определять курс. Солнце, неважно какое, золотое, белое или черное, не оправдало его ожиданий. Отныне он будет существовать в зоне умеренных температур, более сумрачных, но не так подверженных опасности.

Поначалу Лилиана неверно истолковала его

молчание. Он мог общаться только с детьми и с животными. Его отсутствие (если бы только она знала, где он находится, после того как ушел) выводило ее из себя. Гораздо позже она поняла, что в качестве безопасного места он выбрал периферию, область отсутствия боли, то место, где другие не могут до него добраться.

Первое предательство вышвырнуло его в космос, заставило кувыркаться на приличном расстоянии от источника столкновения.

Лилиана представила себе, как на него повлияла мысль о том, что он никому не нужен. Все равно что завести семью, а потом испытать предательство. Атмосфера веселья и свободы тут же изменилась. Когда одна из негритянских хижин сгорела от случайного пожара, он ни капельки об этом не пожалел. Когда его отправили на пароходе с бразильской планеты на английскую, он был мрачен. Родители считали, что ему не следует превращаться в дикаря. Ему нужно заняться делом. А он предпочитал английским песням шестнадцатого века игру на барабане. Он любил шлепанье босых ног больше, чем вальсирование высоких каблуков и лакированных туфель. Ему нравились живые розовые краски, а не бесцветные материнские платья. Ему хотелось

тратить время на мечты, а не забивать его, как отец, работой.

Ларри попал в холодную атмосферу дисциплины и пуританства. Теперь за ним следила тетка, сестра матери. И ее розга. Любой его проступок жестоко наказывался. Долгий путь в школу был высчитан до секунды. Покупка водяного пистолета была преступлением. Дернуть за косичку девочку или толкнуть ее на траву тоже было преступлением. Не говоря уже про тайну, откуда растут ее ноги, или вопрос о том, не скрывается ли под ее пышным платьицем венчик, подобный венчику в сердцевине мака… Любая пища, которую подавала тетка, была навязанной и потому безвкусной. Она измеряла и принуждала время и аппетит, подобно тому как приказывала цветам расцвести к определенной дате.

Ларри спрятался за фасадом послушания. Это было Море Спокойствия на Луне, и Ларри там жил. Никаких складок на поверхности. Внешне казалось, что он приспособился, — до тех пор, пока он не женился на Лилиане. Лилиана была напоминанием о счастливых днях в Бразилии, ибо сама она провела детство в Мексике.

«Невозможно объяснить относительную гладкость лунной поверхности».

Большая часть мужской энергии тратилась на решение такого рода задач. Энергия Лилианы пошла на формирование характера Ларри. Оба ума были обращены к космосу. Лилиана размышляла о поворотах чувств Ларри.

Ее постоянное присутствие стало магнитом. Она требовала, чтобы он вернулся, чтобы он покинул молчание. Интересовалась его чувствами, молчанием, отречением. Первое желание матери Ларри: «Лучше бы его вообще не было», сталкивалось с желанием Лилианы: «Он должен существовать более полнокровно и возвышенно». Она превратила его отступления в игру, притворялась, что ищет его пещеры. И в самом деле, он словно заново родился в ее тепле и в ее убеждении, что он существует.

Какой тонкой была форма, которую он подставлял под окуляры мира, каким тонким — ломтик души, осьмушка месяца, какой бывает иногда по ночам Луна. Лилиана не обманывалась возможностью очередного лунного затмения. В бескрайнем космосе она слышала эхо, подобное тому, что слышится в musique concrete и соответствует новым измерениям в науке, эхо, которого не услышать в классической музыке.

Лилиана понимала, что в муже, играющем роль

мужа, ученом, играющем роль ученого, отце, играющем роль отца, всегда существует опасность отстраненности. Нужно было закрепить Ларри на Земле, дать ему тело. Она дышала, смеялась, волновалась и возбуждалась за него. Вместе они двигались как одно живое тело, и Ларри страстно стремился быть рожденным, на этот раз навсегда. Ларри, Ларри, что я могу тебе дать? Тесную связь со всем миром? Ведь Лилиана была со всем миром накоротке, а он жил в мире, где существовала или, по крайней мере, царила одна Лилиана.

Такая вот одержимость идеей достижения Луны, только потому, что им не удалось достичь друг друга и каждый из них остался одинокой планетой! И в тишине, в тайне человек формировался, взрывался, сталкиваясь с пролетающими мимо телами, сгорал, оказывался покинутым. И потом снова рождался в расплавленной любви той единственной, которой было до него дело.

Шпионка в доме любви

Когда зазвонил телефон, Детектор Лжи спал.

Сначала ему показалось, что это будильник, но потом он окончательно проснулся и вспомнил, какова его профессия.

Голос в трубке звучал глухо, словно был изменен намеренно. Но было неясно, отчего именно этот голос звучит неестественно: из-за алкоголя, наркотика, тревоги или страха.

Голос был женским. Это мог быть подросток, выдающий себя за женщину, или женщина, выдающая себя за подростка.

— Кто говорит? — спросил он. — Алло! Алло! Алло!

— Я должна с кем-нибудь поговорить. Я не могу спать. Мне нужно было кому-нибудь позвонить.

— Вы хотите в чем-то признаться…

— Признаться? — недоверчиво откликнулся голос; на этот раз по восходящей интонации речи без всяких сомнений можно было заключить, что говорит женщина.

— Вы не знаете, кому звоните?

— Нет, я набрала номер наугад. Я и раньше

так делала. Ведь так приятно, когда среди ночи просто услышишь чей-нибудь голос.

— Но почему вы звоните постороннему? Позвоните приятелю.

— Посторонние не задают вопросов.

— Но задавать вопросы — моя профессия.

— Кто вы?

— Я — детектор лжи.

После этих слов наступило глубокое молчание. Сейчас она повесит трубку, подумал Детектор Лжи. Но потом услышал, что она кашляет.

— Вы еще тут?

— Тут.

— Я думал, вы повесите трубку.

В трубке послышался смех, слабый, бисерный, закрученный спиралью смех:

— Но вы же не занимаетесь этим по телефону?

— Не занимаюсь. Но ведь вы вряд ли позвонили бы мне, если бы не чувствовали за собой какой-нибудь вины. Вина — это груз, который трудно нести в одиночку. За совершенным преступлением сразу следует телефонный звонок или признания посторонним.

— Но я не совершала никаких преступлений!

— Есть только один путь к спасению — признание, арест, суд, наказание. Это идеальный

путь для любого преступника. Но он не так прост, как кажется. Да, одна половина внутреннего «Я» жаждет искупления и избавления от мук вины. Но другая половина хочет остаться на свободе. Первая половина сдается и взывает: «Арестуйте меня!» Другая половина создает препятствия, трудности, ищет лазейку. Это напоминает флирт с правосудием. Если правосудие достаточно гибко, то ключ к разгадке преступления будет найден с помощью самого преступника. Если нет, то преступнику придется самому позаботиться об искуплении.

— Это хуже, чем первое?

— Пожалуй. Я думаю, что мы сами судим себя гораздо строже, чем профессиональные судьи. Мы судим не только свои проступки, но и свои мысли, намерения, тайные проклятия, тайную ненависть.

Она повесила трубку.

Детектор Лжи позвонил оператору и попросил выяснить, откуда был звонок. Звонок был из бара. Уже через полчаса он сидел там.

Он не стал осматриваться, изучать лица. Только напрягал слух, надеясь узнать голос.

Когда она заказывала выпивку, он оторвал взгляд от газеты.

Вся в красном и серебряном, она и звучанием, и внешним видом напоминала несущуюся по улицам Нью-Йорка и наполняющую сердца предчувствием катастрофы пожарную машину. Вся в красном и серебряном, неистовом красном и серебряном, прорубающем путь сквозь плоть. Как только он взглянул на нее, то сразу почувствовал: все сгорит!

И из этого сочетания красного и серебряного, вместе с несмолкающим воем сирены, адресованным поэту, живущему в каждом человеке точно так, как в нем живет ребенок, этому поэту она неожиданно, прямо посреди города, выбросила пожарную лестницу и повелела: «Взбирайся!»

Когда она появилась, стройные линии городских строений словно рухнули перед этой лестницей, по которой еще предстояло взобраться, перед лестницей, которая вела прямо в космос, подобно тому как лестница барона Мюнхгаузена вела в небо.

Но только ее лестница вела в огонь.

Он снова посмотрел на нее, на этот раз профессионально нахмурив брови.

Она не могла сидеть спокойно, болтала без умолку — лихорадочно, не переводя дыхания, болтала, словно боялась замолчать, сидела как

на иголках, словно не могла сидеть долго, а когда встала, чтобы купить сигарет, ей тут же захотелось вернуться на прежнее место. Нетерпеливая, подвижная, осторожная, словно постоянно ожидающая нападения, неутомимая, увлекающаяся, она спешила напиться. Улыбалась же так мимолетно, что вроде бы и вообще не улыбалась. Когда к ней обращались, слушала вполуха. Если кто-нибудь из присутствующих отворачивался и произносил на весь бар ее имя, она откликалась не сразу, словно это имя принадлежало другой.

— Сабина! — окликнул ее человек, сидевший у стойки бара, опасно наклоняясь, но держась за спинку стула, чтобы не свалиться.

Кто-то, сидевший ближе к ней, любезно повторил ее имя. Она наконец откликнулась. К тому времени Детектор Лжи перестал тешить себя игрой воображения, которую вызвали в нем ночь, этот голос, наркотическое состояние сна и ее присутствие, и пришел к выводу, что она ведет себя как человек, явно в чем-то виновный: например, она смотрела на дверь так, словно искала подходящего момента, чтобы убежать; говорила невпопад и не заканчивала фразы; жестикулировала хаотично и порывисто, безо всякой связи с тем, что говорила; ее речи были

полным сумбуром; иногда она внезапно мрачнела и замолкала.

Друзья подходили к ней, присаживались рядом, а потом возвращались за свои столики, и ей приходилось повышать голос, вообще-то довольно тихий, чтобы ее услышали сквозь звуки слащавого блюза.

Она говорила о какой-то вечеринке, на которой случилось что-то не вполне понятное, смутные сцены, в которых Детектор Лжи не мог четко отделить героиню от жертвы. Она словно рассказывала прерванный сон, с пропусками, повторами, сбоями, давая простор фантазии. Сейчас она была в Марокко, мылась там в бане вместе с местными женщинами, делясь с ними куском пемзы, учась у проституток, как подводить глаза сурьмой, которую она купила на базаре. «Это угольный порошок. Он должен попасть в глаза. Сначала это вызовет раздражение, и тебе захочется плакать. Тогда слезы вынесут его наружу, на веки. Только так можно создать сверкающий угольно-черный ободок вокруг глаз».

— А ты не могла получить инфекцию? — спросил кто-то, сидевший справа от нее, кого Детектору Лжи не удавалось толком разглядеть, — маловыразительный тип, на которого

она не обращала никакого внимания, хотя и ответила:

— Нет, конечно! Ведь проститутки освящают сурьму в мечети.

Когда все рассмеялись над тем, что для нее смешным вовсе не было, она засмеялась вместе с ними. Теперь казалось, будто все то, что она прежде сказала, было написано на огромной школьной доске, а она взяла губку и все это стерла одной фразой, которая оставила всех в недоумении, что же за женщины были тогда с ней в бане; а может быть, это был случай, о котором она где-то вычитала или услышала в баре. В любом случае, как только эта история стиралась из памяти слушателей, она начинала другую…

Лица и фигуры ее персонажей были вычерчены только наполовину, и как только Детектор Лжи начинал их различать, наплывали другие фигуры и лица, как это бывает во сне. Когда ему казалось, что она говорит о женщине, персонаж оказывался не женщиной, а мужчиной; когда образ этого мужчины уже начинал складываться, оказывалось вдруг, что Детектор Лжи неверно что-то расслышал; это уже был женоподобный юноша, который был когда-то неравнодушен к Сабине; и этот молодой человек в мгновение ока

превратился в группу людей, однажды ночью ее унизивших.

Ему не удавалось ни восстановить последовательность людей, которых она любила, ненавидела, от которых убегала, ни проследить, как еще она менялась при этом, по случайно брошенным фразам, вроде «в то время я была блондинкой» или «в то время я была замужем», ни определить, кто именно был ею забыт или предан. Когда он отчаянно пытался зацепиться за повторяющиеся слова, это все равно не давало цельной картины, скорее было чем-то противоположным. Она упорно повторяла слово «актриса», и, несмотря на это, даже после нескольких часов наблюдения Детектор Лжи не мог бы с уверенностью сказать, была ли она актрисой, или только хотела ею стать, или просто притворялась ею.

В своей исповедальной лихорадке она иногда словно приподнимала край вуали, но если кто-то вдруг начинал слушать слишком внимательно, она пугалась, снова брала в руку гигантскую губку и стирала все только что сказанное категорическим отрицанием, словно это смущение само по себе было для нее защитной мантией.

Сначала она зазывала, заманивала в свой мир, а потом перекрывала все проходы, смазывала

все образы, как бы для того, чтобы помешать расследованию.

Она замолчала только тогда, когда, словно последняя угроза, словно самый злейший ее враг, в дверях бара появился рассвет. Она поплотнее закуталась в плащ. Она не могла адресовать свой лихорадочный бред рассвету. Сердито взглянув на занимающуюся зарю, она вышла из бара.

Детектор Лжи пошел за ней следом.

Сабина еще не успела проснуться, ко ее темные глаза полыхнули жестким блеском драгоценных камней, пробивающимся сквозь щелочку приоткрытых век, чистым сиянием темно-зеленого берилла, еще не согретого ее лихорадочностью.

И тут она мгновенно пробудилась, словно все время была начеку.

Это было не медленным пробуждением человека беззаботного, вверяющего себя новому дню. Как только свет или звук дошли до ее сознания, она сразу почувствовала разлитую в воздухе опасность и села в постели, чтобы нападение не застало ее врасплох.

Ее лицо сразу стало напряженным, совсем некрасивым. Состояние тревоги, лишавшее энергии ее тело, одновременно придавало ее лицу дрожащую, колеблющуюся размытость, подоб-

ную несфокусированному изображению. И в этой размытости не было красоты.

С началом нового дня ей нужно было сфокусировать изображение, совместить тело и мозг. Это давалось ей с трудом, как будто после ночного растворения и рассеивания своего «Я» ей было трудно себя собрать. Она была как актриса, которая должна «сделать себе лицо», подготовиться к встрече с новым днем.

Угольный карандаш был нужен ей не только для подкрашивания светлых бровей, но и для уравновешивания беспорядочной асимметрии. Макияж и пудра были нужны не просто для того, чтобы кожа казалась фарфоровой, не для сокрытия обычных неровных припухлостей после сна, но чтобы разгладить глубокие морщины, вызванные ночными кошмарами, убрать изъяны и шероховатость щек, стереть следы противоречий и конфликтов, нарушающих ясность черт лица, чистоту его форм.

Ей приходилось заново создавать свое лицо, разглаживать сведенные тревогой брови, разделять слипшиеся ресницы, смывать следы тайных внутренних слез, подправлять рот, как бы прорисовывая его на холсте, и возвращать ему обычную лучезарную улыбку.

За всей этой беспорядочностью в лице, прическе и одежде стоял внутренний хаос, готовый, как те тайные вулканы, что внезапно вспарывают аккуратные борозды мирно вспаханного поля, яростно вырваться наружу через первую попавшуюся щель.

Вот теперь из зеркала на нее смотрело румяное, ясноглазое, улыбающееся, гладкое лицо — красивое лицо. Самообладание и тщательный грим почти полностью скрыли следы тревоги. Теперь, когда она чувствовала себя готовой к встрече с новым днем, к ней вернулась ее природная красота, до того смятая, искаженная тревогой.

К подбору одежды она подходила так же, как к встрече нового дня, проникающего через закрытые окна и двери, — с учетом возможных внешних опасностей.

Убежденная, что отовсюду — и от вещей, и от людей — исходит опасность, она прикидывала, какое платье, какие туфли, какое пальто больше подойдут ее тревожному сердцу и телу? Ведь костюм — это тоже вызов, это дисциплина, это ловушка. Стоит в нее попасть, как сразу придется вести себя по-другому.

В конечном счете, она выбрала платье с дырочкой на рукаве. В последний раз она была в нем,

когда стояла перед роскошным, безумно шикарным рестораном, не решаясь войти. И вместо того, чтобы честно признаться самой себе: «Я боюсь туда войти», она нашла отговорку: «Я не могу войти, потому что у меня на рукаве дырочка».

Она отобрала тот плащ, который показался ей наиболее защищающим, наиболее окутывающим.

А кроме того, в его покрое было нечто такое, что казалось ей присущим исключительно мужчине, — некий порыв, некая дерзость, некая уверенность в свободе, недоступные женщине.

Набрасывая плащ на плечи, она ярко представила себе дразнящую мулету тореадора, развевающийся стяг средневекового всадника, раздувающийся на ветру парус, забрало рыцаря, отправляющегося на бой.

Расстеленный плащ был ложем кочевников, развернутый — флагом авантюристов.

Теперь она была в костюме, более всего подходящем для полетов, битв, турниров.

Занавес ночной беззащитности поднимался, и на сцене появлялась героиня, которая была готова.

«Готова», — сказало зеркало, «Готова», — сказали туфли, «Готова», — сказал плащ.

Она стояла и разглядывала себя в зеркале. Да, одета она была отнюдь не для мирной или доверительной встречи с жизнью.

Выглянув из окна, она совсем не удивилась, увидев, что мужчина, накануне преследовавший ее, стоит на углу и притворяется, что читает газету.

В этом не было ничего удивительного. Материализовалось ощущение, преследовавшее ее многие годы. Ощущение того, будто некий посторонний Глаз постоянно наблюдает за нею.

Она пошла по 18-й стрит к реке. Шла неровной походкой, учащенно дыша, делая большие шаги и наклоняясь вперед, как жокей.

Вдоль улицы сплошными рядами тянулись гаражи для грузовиков. В это время суток тяжелые железные ворота то и дело раскрывались и тогда, загораживая собою солнце, оттуда выкатывались огромные машины. Их колеса были ростом с Сабину.

Грузовики выстраивались один за другим, и за ними уже нельзя было увидеть ни улицу, ни дома напротив. Справа от Сабины — целая стена рокочущих моторов и гигантские колеса, начинающие вращаться. А уже открываются ворота слева, и оттуда тоже медленно выкатываются все

новые и новые грузовики, медленно приближаются, словно хотят ее поглотить. Надвигаются угрожающе, бесчеловечно, и их кабины расположены так высоко, что водителей даже не видно.

Сабина почувствовала, как все ее тело подбирается. От грохота она съеживалась, а грузовики, наоборот, все увеличивались, разрастались до чудовищных размеров, вращение их колес казалось неуправляемым. Сабина почувствовала себя ребенком, попавшим в жуткий мир страшных великанов. Она почувствовала, как беззащитны ее ноги, обутые в сандалии. Она почувствовала себя хрупкой и уязвимой. Ее охватил ужас, страх перед механизированным злом.

Сабина так остро ощущала в этот момент свою хрупкость, что даже испугалась, когда рядом с ней появилась и пошла с нею рядом какая-то женщина. Сабина глянула на нее, высокорослую, уверенную в себе, и сразу успокоилась. Хотя та тоже была в черном, в ее походке не было ни тени ужаса.

И вдруг женщина исчезла. Точно зеркало разбилось. Это Сабина встретилась с собой, со своей копией, которая появилась рядом с ее съежившимся от страха подлинным «Я», чтобы еще раз доказать несоответствие между ее ощущениями

и внешней правдой.

Как уже много раз до того, Сабина опять почувствовала, сколь она мала и сколь велика опасность, но потом увидела в зеркале высокую, сильную, зрелую тридцатилетнюю женщину, готовую к тому, что ее окружает. Отражение в зеркале — то, чем она была теперь, ее образ, явленный миру. И в то же время ее потаенное внутреннее «Я» могло испытывать ужас перед колесом огромного грузовика.

Как всегда в моменты полного бессилия, в сознании Сабины всплыл образ ее мужа Алана. Наверное, этому воспоминанию способствовало само состояние ее слабости, внутреннего неравновесия, преувеличения страхов. Образ Алана возник как точка, зафиксированная в пространстве. Спокойное лицо. Спокойная манера поведения. Высокий, выделяющийся в толпе, он точно соответствовал ее представлению о его уникальности. Образ Алана возник у нее перед глазами как моментальный снимок. При этом ее тактильная память молчала, молчали и все другие чувства. Она видела его только глазами. Она не помнила его прикосновений, его голоса. Он, как фотография, навеки запечатлелся в ее сознании в характерной для него застывшей позе:

очень спокойный, возвышающийся над людьми среднего роста и оттого слегка наклоняющий голову, словно в знак благословения. Она не могла представить его веселым, улыбающимся, беспечным или беззаботным. Он никогда не начинал разговор первым, не выказывал своих настроений, пристрастий, неприязни, он только ждал, как это делают исповедники, когда ему будут доверены слова или настроения других людей. Он играл роль пассивного слушателя, отражателя. Она не могла себе представить, чтобы он хотел чего-нибудь страстно (разве что ее прихода домой) или рассчитывал получить что-то для себя. Она носила при себе два его снимка: две ипостаси, дополняющие одна другую. На одной фотографии Алан был внимательным, ждущим, мудрым и отстраненным, на другой был погружен в медитацию, как сосредоточенный созерцатель.

И в любой ситуации, когда Сабину охватывала паника (как теперь во время этого обычного спуска по 18-й стрит), когда все ее тело сжималось от страха, перед глазами у нее возникали эти два образа Алана, а с ними и желание вернуться домой.

Она пешком вернулась в ту комнату, где проснулась сегодня утром. Вытащила из-под кровати

чемодан и начала упаковывать вещи.

Кассир за конторкой отеля улыбнулся ей, когда она направилась к выходу. Улыбка, как показалось Сабине, содержала в себе вопрос, сомнение. Портье недоуменно смотрел на ее чемодан. Сабина подошла к нему и, запинаясь, спросила:

— Мой… муж оплатил счет?

— Ваш муж позаботился обо всем, — ответил портье.

Сабина вспыхнула. Она была готова сказать: «Что же вы тогда уставились на меня? Отчего на ваших лицах ирония?» Почему же саму ее так смутило слово «муж»?

Насмешливое отношение служащих гостиницы лишь усугубило ее чувство слабости и усталости. Чемодан в руке казался теперь гораздо тяжелее, чем был на самом деле. В таком состоянии потерянности всякий предмет становился ужасно тяжелым, любое помещение — гнетущим, любая задача — невыполнимой. А вдобавок ей еще стало казаться, что весь мир смотрит на нее с осуждением. Улыбка кассира представлялась ироничной, а пристальный взгляд портье — не слишком дружелюбным.

До Хейвена было всего два квартала, но ей это расстояние казалось огромным, почти непреодо-

лимым препятствием. Поэтому она остановила такси и назвала адрес: «55-я авеню».

Водитель такси возмутился:

— Да вы что, сударыня, это же в двух кварталах отсюда! Вы такая крепкая, что и пешком дойдете.

И умчался.

Она медленно потащилась дальше. Дошла до нужного дома — роскошного, но без лифта. Здесь таких было много. И рядом никого, кто бы помог поднести чемодан. Подъем на второй этаж казался продолжением ночных кошмаров с их бесконечными лестницами. Она чувствовала, что на этот подъем уйдут ее последние силы.

Но теперь я в безопасности. Он сейчас спит. Он будет счастлив, что я пришла. Он там. Он обнимет меня. Он приютит меня. Мне не нужно будет больше бороться.

Еще не поднявшись на площадку последнего этажа, она увидела тоненький лучик света, выбивающийся из-под двери. По телу пробежала теплая волна радости: Он там. Он не спит.

Как будто все, что она до сих пор пережила, было тяжким испытанием, а теперь она пришла в укрытие, обитель счастья.

Я не понимаю, что заставляет меня покидать

все это. Ведь это и есть счастье.

И как всегда, когда эта дверь открылась, ей показалось, что в комнате не произошло никаких изменений. Мебель стояла на прежних местах, свет был рассеянным, тихим, как в церкви.

Алан стоял у двери, и первое, что бросилось ей в глаза, — его улыбка. У него были очень крепкие, ровные зубы и длинный, узкий череп. Улыбка не позволяла рассмотреть его глаза, узкие, светло-карие, излучающие мягкий свет. У него была почти армейская выправка, но по причине слишком высокого роста ему приходилось все время наклонять голову, как бы под ее собственной тяжестью, а на самом деле для того, чтобы посмотреть на Сабину.

Он всегда встречал ее с нежностью, как бы предполагающей, что у Сабины всегда большие проблемы. Он автоматически бросался утешать и предлагать свою помощь. Манера, с которой он обнимал ее, и тон, которым он ее приветствовал, означали: «Сначала я должен тебя утешить и успокоить, прежде всего я должен склеить тебя заново, ведь этот внешний мир тебя совсем раздолбал».

В его присутствии, уже у самого порога, сразу снималось то странное, постоянное, почти болез-

ненное напряжение, которое она испытывала вдали от него.

Он неторопливо взял ее чемодан и аккуратно поставил в стенной шкаф. В его движениях была какая-то центростремительность, ощущение безупречного подчинения закону всемирного тяготения. Его чувства и мысли вращались вокруг определенного центра, наподобие четко организованной планетарной системы.

К его ровному голосу, теплому и одновременно светлому, к его гармоничным манерам, в которых не бывало ничего резкого или грубого, к его мыслям, которые он взвешивал, прежде чем высказать, и даже к его вполне заурядной проницательности она испытывала такое сильное доверие, что готова была полностью подчиниться ему, полностью отдаться.

Доверившись, она прибилась к нему, благодарная и теплая.

Ясный, не похожий ни на кого, он отличался для нее от всех прочих мужчин. В потоке ее чувств он занимал свою, четко определенную позицию.

— Устала, Малышка? — спросил он. — Трудная была поездка? Все прошло успешно?

Он был всего на пять лет старше ее. Ему было только тридцать пять, но уже седые виски, и он

говорил с ней отеческим тоном. Всегда ли он так говорил с ней? Она попыталась вспомнить его молодым, совсем молодым. Когда ей было двадцать, а ему двадцать пять. Но вырисовывался портрет, мало отличающийся от нынешнего. В двадцать пять он стоял перед ней точно так же, говорил точно так же и даже тогда называл ее «Малышкой».

Его ласковый голос, явное приятие и любовь так подействовали на нее, что у нее возникло искушение сказать: «Алан, я не актриса. И не было у меня никаких гастролей. Я вообще не уезжала из Нью-Йорка. Я все выдумала. Все это время я жила в отеле с...».

Она затаила дыхание. Как всегда, затаила дыхание, чтобы не сказать правду. Так было всегда, а не только сейчас с Аланом, и не только с любовником в гостиничном номере, когда тот начал расспрашивать ее про Алана. Ей пришлось затаить дыхание, чтобы утаить правду. Проявить себя настоящей актрисой, хотя таковой себя не считала, сыграть роль, которую она не признавала, описать путешествие, которого не совершала, вернуть образ той женщины, которая отсутствовала восемь дней, сделать все, чтобы с его губ не сошла улыбка, не испарились его доверчивость

и счастье.

Короткая задержка дыхания позволила ей совершить это превращение. Теперь перед Аланом стояла актриса, заново проигрывающая прошедшие восемь дней.

— Поездка была изматывающая, но спектакль шел хорошо. Ты помнишь, как мне поначалу не нравилась эта роль. Но потом я вошла в образ мадам Бовари и уже на следующий вечер играла хорошо. Я даже усвоила ее особенный голос и жесты. Я полностью изменилась. Ты же знаешь, что от нервного напряжения голос становится выше и тоньше и появляется много ненужных жестов.

— Какая ты великолепная актриса! — воскликнул Алан. — Ты все еще играешь эту роль. Ты так вошла в роль этой женщины, что не можешь из нее выйти! Ты действительно делаешь много лишних жестов, и голос у тебя стал другим. Почему ты прикрываешь рот ладошкой? Боишься сказать то, что хочется сказать?

— Да, да, это жесты мадам Бовари! Но с этим пора кончать. Я ужасно устала, я так устала, но все никак не могу перестать… Не могу перестать быть ею.

— Я так хочу, чтобы ко мне вернулась моя прежняя Сабина.

И поскольку сам Алан сказал, что это была роль, из которой она не может выйти, поскольку он сказал, что перед ним не настоящая Сабина, не та Сабина, которую он любит, она вдруг начала чувствовать, что та женщина, которая оставила на восемь дней свой дом и провела это время с любовником в маленькой гостинице, которая была выбита из колеи неустойчивостью, непривычностью этой новой связи и испытывала от этого все растущее беспокойство, выражавшееся в лишних, ненужных движениях, хаотичных, как порывы ветра, как всплески волн, та женщина — на самом деле не она сама, а какая-то другая. Героиня, роль которой она играла на этих гастролях. Этим объяснялись и чемодан, и краткость, мимолетность этих восьми дней. Все, что случилось, не имело никакого отношения к самой Сабине, только к ее профессии актрисы. Она вернулась домой целая и невредимая и могла ответить преданностью на его преданность, доверием на его доверие, любить его как своего единственного — так же, как он любил ее.

— Я хочу, чтобы ко мне вернулась моя прежняя Сабина, а не эта женщина с новым, незнакомым жестом, закрывающая лицо, прикрывающая рот ладонью, словно она хочет сказать что-то, но не

может или не должна говорить.

Он продолжал задавать вопросы. И когда, рассказав о своей роли, она была вынуждена описать город, гостиницу, других актеров, она почувствовала, как ее тайна заставляет сердце мучительно сжиматься, испытала невидимый прилив стыда, невидимый другим, но сжигающий ее, как лихорадка.

Теперь стыд стал ее одеянием, проник в ее жесты, смазал ее красоту, затуманил взор. Она воспринимала чувство стыда как утрату красоты, как отсутствие качества.

Каждая импровизация, вернее, каждая ложь, сочиняемая ею для Алана, сопровождалась не прямым ощущением этого стыда, а его подменой: стоило ей что-либо сказать, как она начинала ощущать себя голой, тусклой, немилой, нелюбимой, недостаточно красивой, недостойной чьей-либо любви.

За что он меня любит? И как долго еще будет любить меня? Он любит что-то, чем я не являюсь. Я недостаточно красивая, я плохая, я недостаточно хороша для него, он не должен любить меня, я этого не заслуживаю, мне стыдно, стыдно, стыдно за свою некрасивость, ведь есть столько совсем других женщин, женщин с сияющими лицами,

светлыми глазами. Алан говорит, что у меня красивые глаза, но я-то их не вижу, по мне это просто лживые глаза, и рот у меня лживый, ведь всего несколько часов назад меня целовал другой… Он целует губы, которые целовал другой, целует глаза, которые восхищались другим… Стыд, стыд… стыд… Ложь. Ложь, все ложь… Вот он вешает так аккуратно мое платье, а ведь его ласкал и сдирал с меня другой, и был столь нетерпелив, что именно сдирал, срывал платье с меня… Я даже не успела сама раздеться! И вот теперь это самое платье Алан так любовно вешает… Разве смогу я забыть вчерашний день, забыть то головокружение, тот дикий порыв? Разве можно после этого вернуться домой, оставаться дома? Иногда я просто не способна выдержать эту быструю смену декораций, эти быстрые переходы, но и не могу переходить от одних отношений к другим плавно, гладко. От меня словно отрываются какие-то отдельные части и улетают куда-то. Я теряю что-то жизненно важное. Какая-то моя часть остается в том гостиничном номере, другая уходит прочь из этой гавани, третья спешит за другим, когда он вдет вдоль по улице один или, возможно, даже с кем-то. Любая может занять мое место рядом с ним, пока я здесь, и пусть это будет мне наказани-

ем, точно так же, как любая другая может занять мое место здесь, когда я уйду. Я чувствую себя виновной в том, что оставляю каждого из них, я виновата в том, что каждый из них остается один, я виновата вдвойне, виновата перед обоими. Где бы я ни была, я всегда разорвана на части и не решаюсь собрать их воедино. Скорей бы я осмелилась соединить двух моих мужчин! Сейчас я здесь, где никто меня не тронет, где по крайней мере несколько дней я буду в безопасности, никто не обидит меня ни словом, ни жестом… Но я не присутствую здесь целиком, в этом укрытии прячется лишь одна моя половина. Что ж, Сабина, ты полностью провалилась как актриса. Тебе не нравились дисциплина, обыденность, монотонность, повторяемость, тебя выводило из себя любое напряженное усилие, и наконец-то ты получила роль, которую можно менять хоть каждый день, только затем, чтобы предотвратить горе другого человека. Умой свои лживые глаза, лживое лицо, надень ту одежду, которая оставалась дома, одежду, крещенную его, только его руками. Сыграй роль цельной женщины, ведь ты сама этого хотела, и хоть в этом ты не лжешь…

Алан никогда не мог понять, почему она, едва переступив порог дома, сразу хочет принять

ванну, немедленно переодеться, смыть старый макияж.

Дело в том, что как только Сабина ощущала благостное настроение Алана, боль, вызванная ее смятением и раздвоением сознания, рассасывалась, а чувство стыда растворялось.

В такой миг она словно чувствует, что какая-то посторонняя сила заставляет ее быть именно такой женщиной, какой ему хочется ее видеть, какую он желает и сам создает. В этот миг она готова во всем, абсолютно во всем быть такой, какой он хочет. Она больше не чувствует вины за то, какой она так недавно была. В ее лице и теле, в ее манерах и голосе происходят изменения. И вот уже она становится той самой женщиной, которую любит Алан.

Теперь ее пронизывают и влекут вперед чувства любви, защиты, преданности. Эти чувства сливаются в мощный поток, по которому она может плыть. Эти чувства столь сильны, что смывают ее сомнения, точно так же, как это бывает в случае фанатичной преданности родине, науке или искусству, когда человеку прощаются все его мелкие проступки, кажущиеся ничтожными перед бесспорным доказательством высокой цели.

И тут — словно грань алмаза блеснула — в ее

глазах вспыхнул огонек, еще точнее выявивший ее намерения. В другие моменты ее зрачки были расширены и казались не сфокусированными на настоящем. Теперь же они с алмазной точностью фокусировались на старательном плетении сети жизнеспособной лжи, и это придавало глазам ясность даже более прозрачную, чем ясность правды.

Сабина хочет быть такой женщиной, какой ее хочет видеть Алан.

Но иногда Алан сам не знает, чего хочет. Тогда бурная, стремительная Сабина ждет в невероятной тишине чутко и внимательно любых намеков на его желания или фантазии.

Вот и теперь она предстала перед ним, явила себя ему более свежей и невинной, чем любая из юных дев. Это оказалось возможным только потому, что она предъявила ему чисто абстрактную женщину, идеал, порожденный не жизнью, а его и ее собственным желанием. Ради него она даже сменила ритм, смягчила резкие, не знающие покоя жесты, подавила свою любовь к крупным предметам и большим комнатам, к существованию вне времени, к капризам и неожиданным поступкам. Ради него она даже старалась касаться окружающих предметов более нежно, чем

привыкли ее сильные руки.

— Ты всегда хотела быть актрисой, Сабина. Я счастлив, что твоя мечта сбывается. Это является для меня утешением в твое отсутствие.

Чтобы доставить ему удовольствие, она начала восстанавливать «в памяти» события прошедшей недели: поездку в Провинстаун, поведение труппы, проблемы пьесы, ошибки режиссера, реакцию публики. Она рассказала ему о том, что однажды во время спектакля погас свет, а в другой раз отключилось музыкальное сопровождение.

В то же время она мечтала рассказать ему о том, что произошло с ней на самом деле. Она мечтала о том, чтобы положить голову ему на плечо, прижаться к нему, как к своему защитнику, который ее охраняет и понимает не потому, что обладает ею, а потому, что знает ее настолько досконально, что обязательно простит и оправдает. Она мечтала, чтобы он судил ее поступки с тем же вниманием и мудростью, с которыми рассматривал поступки других людей, мечтала, чтобы он оправдал ее так же, как оправдывал других людей, исходя из знания мотива их преступлений.

А больше всего об оправдании с его стороны она мечтала для того, чтобы спокойно спать. Она знала, что ждет ее вместо глубокого сна: тревожное

бдение всю ночь. Ибо после того, как, успокаивая его, она рассказала ему о том, что произошло с ней за эту неделю, он поцеловал ее, вложив в поцелуй и благодарность, и накопившееся за время ее отсутствия желание, а потом заснул, полностью доверившись этой ночи, вернувшей ему его Сабину, сама же Сабина не могла заснуть, думая о том, нет ли среди ее выдумок такой, какая может быть позже опровергнута, например не было ли ее описание провинстаунской гостиницы, основанное на чужих рассказах, слишком фальшивым? Думала о том, запомнила ли она все, что сказала, и о том, что именно сказала о других участниках труппы. Ведь когда-нибудь Алан может случайно встретить кого-нибудь из этих актеров и узнать о том, что Сабина никогда не работала с ними.

Ночь предстала перед ней как неосвещенная сцена театра, на которой выдуманные мизансцены приобрели большую резкость, чем днем. Выхваченные из тьмы, они казались чем-то происходящим во сне — преувеличенным, ярким. И жуткие бездны окружали эти пятна света.

За пределами этой комнаты, этой постели была черная пропасть. Сегодня она избежала опасности. На сегодня все. Но завтра ее будут

подстерегать другие опасности.

Ночью она лежала и мучительно думала о тайне своей отчаянной потребности в доброте. В то время как другие девушки молятся о том, чтобы Бог послал им красивого любовника, богатство, власть или романтическую любовь, она страстно молила: пусть он будет ко мне добр!

Почему она так нуждалась в доброте? Разве она была какой-нибудь калекой? А что было бы с ней, если бы она вышла замуж не за доброго Алана, а за какого-нибудь насильника или жестокосердного человека?

От одного только этого слова — «жестокость» — дико заколотилось ее сердце. Ужас опасностей, которых она избежала, был так велик, что она не осмеливалась даже представить их себе. Она хотела доброты, и она ее получила. Только теперь она обнаружила, что каждый день, каждый час, ища чего-то другого, рискует потерять эту доброту.

Алан спал так мирно. Даже во сне он оставался безмятежным. Твердые очертания его носа, рта и подбородка, четкие линии тела, словно слепленного из правильности, которую ничем не испортить! Даже на пике страсти его глаза не загорались яростью, а волосы не становились

растрепанными, как у других. Он никогда не приходил в исступление от наслаждения, никогда не издавал звуки не вполне человеческие, словно вырывающиеся из джунглей животной праистории человека.

Может быть, именно эта уравновешенность и вызывала ее доверие? Он никогда не лгал. Он мог поделиться с Сабиной всем, что чувствовал или думал. Она уже почти засыпала, мечтая о том, чтобы признаться Алану во всем, исповедаться перед ним, как вдруг в темноте зримо представила его образ: он плакал, он отчаянно рыдал, как когда-то над гробом отца. От этого видения она проснулась испытывая одновременно и ужас, и сострадание и вновь поняла: «Я всегда должна охранять его счастье, я должна беречь своего ангела-хранителя…»

Она лежала в темноте, и ей отчетливо вспомнились восемь дней, проведенных в Провинстауне.

Она пошла в дюны искать дом О'Нила и заблудилась. Песчаные дюны были такими белыми на солнце, такими чистыми, что она почувствовала себя первым человеком, ступившим на гладь ледника.

Море бурлило у берега, словно пытаясь утянуть песок в свои глубины, но это у него плохо

получалось, и с каждым следующим приливом геологические узоры восстанавливались, неподвижное море кристаллизованных песчаных волн.

Она остановилась и сняла купальник. Ей захотелось позагорать. При порывах ветра ее накрывало песком, словно шелковым покрывалом. Интересно, подумала она, если лежать здесь долго, песок накроет меня с головой, похоронит заживо и я исчезну. Всякий раз, стоило ей полежать неподвижно, такие мысли, мысли о смерти, лезли ей в голову. И это всякий раз заставляло ее резко встать и чем-нибудь заняться. Праздность была для нее равнозначна смерти.

Но сейчас, купаясь в тепле и свете, подставляя лицо небу, чувствуя, как море яростно скручивается и раскручивается у ее ног, она не боялась мыслей о смерти. Она спокойно лежала, смотрела, как ветер рисует узоры на песке, и чувствовала, что тревога и жар на короткое время отпустили ее. Счастье в тот миг могло быть определено как отсутствие внутреннего жара. Но что теперь владело ею? Что явилось на смену обычному жару?

Она была благодарна за то, что ее нервы, загипнотизированные бодрящим сиянием солнца и неизбывной подвижностью моря, не бились в

ней, как раскручивающаяся пружина, и не портили эти мгновения передышки.

И вдруг она услышала песню. Не какую-нибудь обычную песенку, какие может напевать любой человек, прогуливаясь по пляжу. Звучал мощный, хорошо поставленный голос, очень торжественный, привыкший к огромным залам и большому стечению публики. Ни песок, ни ветер, ни море, ни открытое пространство не могли ослабить его звучание. Голос лился уверенно, в полном пренебрежении к этим стихиям, как равный им по силе гимн жизни.

Фигура появившегося перед ней мужчины полностью соответствовала его голосу — совершенная оболочка для этого инструмента. У него была крепкая шея, крупная голова с высокими бровями, широкие плечи, длинные ноги. Отличный, крепкий корпус для вокальных струн, отлично подходящий для резонанса, подумала Сабина, не двигаясь, надеясь, что он пройдет мимо, не обратив на нее внимания, не прерывая свою песню — арию из «Тристана и Изольды».

Ария продолжала звучать, и Сабина вдруг представила себя в Черном Лесу из германских сказок, которые она так жадно читала в детстве. Гигантские деревья, замки, рыцари, все пугающе

большое в глазах маленького ребенка.

Ария становилась все громче, набирала звучание, впитывала в себя и грохот моря, и красноватозолотистый карнавал солнца, сражалась с ветром и выбрасывала самые высокие ноты высоко в воздух пролетом моста пламенеющей радуги. И вдруг чары рассеялись.

Он увидел Сабину.

Мгновение он колебался.

Ее молчание — столь же красноречивое, как и его песня, ее неподвижность, так же выдающая поток ее мыслей, как и его мыслей — голос.

(Позже он сказал ей: «Если бы ты тогда заговорила, я бы тут же ушел. Но у тебя особый талант — ты позволяешь всему вокруг говорить за тебя. Я подошел к тебе только потому, что ты молчала»).

Она позволила ему и дальше пребывать в своих грезах.

Она смотрела, как легко и непринужденно, продолжая улыбаться, он взобрался на дюну. Его глаза словно вобрали в себя цвет моря. Всего мгновение назад она видела, как море смотрит на нее миллионом алмазных глаз, и вот уже два таких глаза — но еще более синих, еще более холодных — приближаются к ней. Если бы море, песок и солнце решили сотворить кого-нибудь, воплоща-

ющего послеполуденную радость, они создали бы кого-нибудь, похожего на этого человека.

Он встал перед ней, загораживая солнце и улыбаясь, а она попыталась прикрыться. В затянувшемся молчании они словно обменялись посланиями.

— Тристан и Изольда звучали здесь лучше, чем в опере, — сказала она и надела купальник и ожерелье спокойно, словно это было простым окончанием демонстрации его голоса и ее тела.

Он присел рядом с ней:

— Есть только одно место на земле, где ария звучала бы лучше. В том Черном Лесу, где она родилась.

По его акценту она поняла, что и сам он родом оттуда, а значит, и его физическое сходство с вагнеровским героем неслучайно.

— Там я пел эту арию очень часто. Там особенное эхо, оно вызывало у меня чувство, что моя песня сможет сохраниться в каких-то тайных родниках и когда-нибудь, много лет спустя после моей смерти, вырвется наружу и зазвучит.

Сабина, казалось, прислушалась к эху, оставшемуся от его песни, и к его описанию места, обладающего памятью, где само прошлое было эхом, хранящим опыт; и это несмотря на то, что

именно здесь люди хотели избавиться от воспоминаний и жить только настоящим, считая память не более чем обременительным грузом. Именно это он имел в виду, и именно это поняла Сабина.

Потом ее опять словно подхватило приливом, и она сказала в нетерпении:

— Пройдемся.

— Я хочу пить, — сказал он. — Пойдемте туда, где я сидел. Там остался пакет с апельсинами.

Они спустились с песчаной дюны, съехали с нее, как на лыжах со снежной горы. И пошли по полосе мокрого песка.

— Я однажды видела пляж, где при каждом шаге из-под ног вспархивали фосфорные искры.

— Поглядите на песчаных дятлов[13], — сказал певец, употребив несуществующее слово, но Сабине понравилось его изобретение, и она засмеялась. — Я приехал сюда отдохнуть перед началом оперного сезона.

Они поели апельсинов, поплавали и пошли дальше. И только на закате решились прилечь на песке.

Глядя на его крупное тело, сильные руки, муску-

---

[13] Примечания: 13

Он сказал sand-pecker, очевидно, по аналогии с wood-pecker, вместо sand-piper (кулик). — *Примеч. пер.*

листую шею, она ждала от него несдержанности, неистовства.

Но он просто смотрел на нее глазами, ставшими голубыми, как лед. Эти равнодушные глаза словно разглядывали не ее, а сонмы других женщин, сейчас растворившихся в ней одной, готовой, в свою очередь, раствориться в них. Такой взгляд Сабина всегда считала «взглядом Дон Жуана» и всегда и везде не доверяла ему. Это была алхимия желания, которое на этот миг сосредотачивалось на воплощении всех женщин — Сабине, но с той же легкостью могло в одну секунду превратить Сабину во многих других.

Это была угроза ее самоощущению «уникальной» Сабины, той Сабины, которую любит Алан. От недоверия к этому взгляду кровь застыла в ее жилах.

Она всматривалась в его лицо, пытаясь определить, заметил ли он, что она нервничает, что каждое следующее мгновение этого опыта повышает ее нервозность, практически парализует ее.

Но вместо нетерпеливого жеста он, словно приглашая ее к воздушному вальсу, взял в свои изящные ладони кончики ее пальцев и сказал:

— Руки у вас холодные.

Он стал ласкать ее руку, целуя ложбинку в изгибе локтя, стал целовать плечи. Он сказал:

— Ваше тело горит, словно при температуре. Вы не перегрелись на солнце?

Чтобы подбодрить его, она сказала небрежно:

— Это страх перед выходом на сцену.

На эти ее слова, как она того и боялась, он ответил смехом, полным издевки и недоверия. (На всем свете был только один человек, который мог поверить, что она боится. И сейчас она хотела бы убежать отсюда прочь, домой к Алану, прочь от этого чужого, смеющегося над ней незнакомца, которого она попыталась обмануть своей выдержкой, молчанием опытного знатока, приглашающими глазами. Это было слишком трудно вынести, и она бы все равно проиграла. Она была слишком напряжена и испугана. Проявив слабость, в которую этот чужой мужчина не поверил, которая вызвала его издевательский смех, которая резко расходилась с ее вызывающим поведением, Сабина не знала, как ей теперь восстановить престиж в его глазах. Потом ей довелось еще раз услышать этот издевательский смех — когда он пригласил ее встретиться с его лучшим другом, товарищем по приключениям, его братом Дон Жуаном, таким же учтивым,

элегантным и самоуверенным, как он сам. Они обращались с нею весело, словно она одного с ними поля ягода, искательница приключений, охотница, амазонка, а она взяла и оскорбилась!)

Увидев, что она не разделяет его смех, он посерьезнел и лег рядом с нею, однако она была все еще обижена, а ее сердце продолжало бешено колотиться, как перед выходом на сцену.

— Мне пора идти, — сказала она, поднимаясь и решительно стряхивая с себя песок.

Он сразу поднялся с учтивой готовностью, свидетельствующей о давней привычке подчиняться дамским капризам. Он встал, оделся, перебросил через плечо кожаную сумку и пошел рядом с ней, иронично галантный, безличный, равнодушный.

Но спустя какое-то время произнес:

— Не желаете ли встретиться и поужинать со мной в «Драконе»?

— Давайте встретимся, но не перед ужином, а позже, часов в десять или одиннадцать.

Он снова поклонился с той же неизменной иронией, и они пошли дальше. Глаза его были холодны. Его равнодушие раздражало ее. Он шагал, демонстрируя абсолютную уверенность в том, что опять, как всегда, добьется желаемого,

и она возненавидела эту его уверенность и позавидовала ему.

Когда они вышли на городской пляж, все глаза устремились на них. Она подумала о своем спутнике: это Светлый Посланник из сказочного Черного Леса. Он глубоко дышал, вздымая широкую грудь, держался так прямо и улыбался так празднично, что и она почувствовала себя легко; настроение поднялось. Она гордилась тем, что идет рядом с ним; она словно несла на плече охотничью добычу. Она была женщиной, и сейчас ликовало ее женское тщеславие, ее любовь к победам. Это тщеславное шествие давало ей иллюзию силы и власти: она очаровала, завоевала такого мужчину! Она словно возвысилась в собственных глазах, хотя и знала, что это чувство сродни опьянению и так же пройдет, как проходит опьянение, и ей предстоит проснуться поутру еще более несчастной, слабой, разбитой, раздавленной и опустошенной, чем была.

Но ее душа, в глубине которой таилась извечная неуверенность в себе, жила ожиданием конца. Ее было так легко ранить грубым словом, пренебрежением или критикой, так легко обескуражить любым препятствием. Ею владело то самое ожидание катастрофы, те самые навязчи-

вые дурные предчувствия, что слышались ей в вальсе Равеля.

Вальс, ведущий к катастрофе: кружишься, кружишься на лакированном полу в расшитой блестками воздушной юбке и падаешь прямо в бездну. Минорные, притворно легкие ноты глумливого танца, минорные ноты, не дающие забыть о том, что судьбой человека правит абсолютная тьма.

И теперь, когда рядом с ней шел столь очевидно красивый мужчина и когда каждый, кто смотрел на него, завидовал женщине, которая смогла его очаровать, душу Сабины, пусть ненадолго, но согрел искусственный свет, она ощутила поддержку удовлетворенного тщеславия.

Когда они расставались, он, как истинный европеец, склонился над ее ручкой. Она почувствовала в его учтивости насмешку, но когда он снова спросил: «Вы придете?», его голос был теплым. Ее не смогли тронуть ни его красота, ни безупречность, ни даже его безразличие, но тронуло его легкое сомнение. Потому что в то мгновение, когда он почувствовал неуверенность в себе, она поняла, что он тоже человек, если не такой же уязвимый, как она, то хотя бы чуть более близкий.

Она сказала:

— Меня ждут друзья.

Тогда его лицо осветилось не слишком открытой, но чрезвычайно ослепительной улыбкой. Он вытянулся во фрунт и отдал честь:

— Смена караула у Букингемского дворца!

По его ироничному тону она поняла, что он не поверил ей и считает, что ее ждут не некие «друзья», а, скорее всего, другой мужчина, другой любовник.

Он не мог себе представить, что она хочет вернуться к себе в комнату для того, чтобы промыть волосы от песка, намазаться кремом от ожогов, покрыть ногти свежим слоем лака и, нежась в ванне воссоздать в памяти все до единого мгновения их встречи, повинуясь своей привычке переживать возбуждение нового опыта не единожды, а дважды.

Для девушки, с которой Сабина делила комнату, было бы достаточно простого предупреждения о том, что сегодня вечером ее не будет, но именно в этот вечер, всего на одну ночь, у них должна была остановиться женщина, которая была приятельницей не только Сабины, но и Алана; разумеется, ее присутствие делало исчезновение Сабины более затруднительным. Сабине опять пришлось

бы воровать наслаждение, красть у ночи часть ее опьянения. Она дождалась, когда обе ее компаньонки заснули, и молча вышла, но отправилась отнюдь не на Главную улицу, где прохаживались обычно ее приятели-художники, которые могли бы предложить составить ей компанию. Она перепрыгнула через ограду набережной, соскользнула вниз по деревянному столбу, ободрав ракушками руки и платье, и выскочила на пляж. Она пошла по мокрому песку к одному из самых ярко освещенных причалов, где «Дракон» предлагал свое неоновое светящееся тело жаждущим приключений ночным романтикам.

Никто из ее друзей не мог себе позволить прийти сюда. Даже рояль здесь скидывал с себя скромную крышку и добавлял к иным движениям танец своего обнаженного механического нутра, отчего царство пианиста расширялось от абстрактных нот до строгого балета склоненных шахматных фигур на возбужденных струнах.

Чтобы попасть в ночной клуб, она должна была взобраться по укрепленным на сверкающих столбах широким железным ступенькам, за которые цеплялись и ее платье, и волосы. Оказавшись, наконец, наверху, она так запыхалась, словно вынырнула из воды, едва освободившись от пут

морских водорослей. Но, кроме Филиппа, ее никто не заметил: луч света выхватывал только певицу, исполнявшую слащавый блюз.

Румянец удовольствия проглядывал даже сквозь сильный загар. Он пододвинул ей стул, склонился к ее уху и прошептал:

— Я боялся, что ты не придешь. Я проходил мимо твоей комнаты в десять часов, света не было, и я поднялся и постучал в окно, не слишком сильно, потому что ночью я не очень хорошо вижу, и я боялся, что ошибся. Ответа не было. Я отступил в темноту, подождал…

От ужаса, что Филипп мог разбудить ее подруг, от опасности, которой она чудом избежала, она почувствовала, как ее охватывает дрожь, кровь ее закипела. Ночью его красота превратилась в наркотик, и когда она представила, как он ночью вслепую ищет ее, это взволновало и обезоружило ее. От этого ее глаза потемнели, словно подведенные сурьмой, как у восточных женщин. Ее веки выглядели голубоватыми, а брови, которые она не выщипывала, отбрасывали тени, из-за которых казалось, что темное свечение ее глаз имеет иной источник, нежели днем.

Она всматривалась в четкую лепку его лица, контраст между большой головой и покры-

тыми красивым пушком руками с длинными пальцами. Ласкавший ее руку, он был похож на музыканта, который легкими прикосновениями играет на тайных нервах хорошо знакомого ему инструмента. Он говорил:

— Твоя рука так же красива, как твое тело. Если бы я не видел твоего тела, я бы возжелал его, едва увидев форму твоей руки.

Желание явилось как вулканический остров, на который они и возлегли в трансе, ощущая под собой подземные вихри. Танцплощадка, стол, магнетический блюз — все было сметено желанием, лавинообразным содроганием тела. Под нежной кожей, под завитками волос в сокровенных местах, под извилинами и ущельями плоти потекла, обжигая, вулканическая лава, пролилось раскаленное желание, и звуки нежного блюза превратились в вопль свирепой дикости, в птичий или звериный свободный вопль наслаждения, вопль опасности, вопль страха, вопль деторождения, вопль боли, исходящий из израненной охрипшей дельты природных бездн.

Предчувствие этого дрожью побежало по руке и по телу и сделало танец невыносимым, ожидание невыносимым, курение, говорение невыносимым, и уже скоро, скоро должен был начаться

приступ неукротимого чувственного каннибализма, радостный эпилептический припадок.

Они убежали от глаз всего мира, скрылись от пророческих, грубых, исходящих из самих яичников прелюдий певицы. Вниз по ржавым ступенькам лестницы в подземелье ночи, благосклонной к первому мужчине и первой женщине на заре мироздания, когда еще не было слов для изъявления обладания, не было музыки для исполнения серенад, подарков для долгого ухаживания, турниров для произведения впечатления и принуждения к сдаче, никаких вспомогательных приспособлений для покорения — украшений, ожерелий, корон, — но когда был только один ритуал, радостное, радостное, радостное водружение женщины на чувственную мачту мужчины.

Она открыла глаза и увидела, что лежит на дне парусной лодки, лежит на плаще Филиппа, заботливо подстеленном, чтобы защитить ее от ила, просачивающейся воды и ракушек. Филипп лежит рядом с нею, только голова его — выше ее головы, а ноги — ниже ее ног. Он спит спокойно, дышит глубоко. Светит луна. Сна как не бывало. Сабина садится — сердитая и разбитая. Жар достиг своего пика и пошел на спад, отдельно от

желания, отчего и желание осталось неудовлетворенным, застрявшим на мели. Такой жар — и такой бесславный конец — и гнев, гнев! — на свое так и не расплавившееся нутро. Как хочется Сабине быть похожей на мужчину, способного свободно желать и обладать случайной женщиной, наслаждаться незнакомкой. Но ее тело не плавится, не слушается ее фантазий об обретении свободы. Тело посмеялось над ней, подбив на эту авантюру. Жар, надежда, мираж, отсроченное желание, неудовлетворенное желание не отпустят ее всю ночь и весь следующий день будут гореть внутри ясным пламенем, и все люди, глядя на нее, будут говорить: «Какая она чувственная!»

Филипп проснулся и улыбнулся ей благодарно. Он дал и получил взамен; он был доволен.

Сабина лежала и думала о том, что больше не увидит его, но отчаянно желала, чтобы это оказалось возможным. А он лежал и рассказывал о своем детстве и о своей любви к снегу. Говорил о том, что любит кататься на лыжах. А затем, без всякого перехода, от какого-то внезапного воспоминания эта идиллическая сцена разрушилась. Он сказал:

— Женщины не дают мне побыть одному.

Сабина откликнулась:

— Если тебе когда-нибудь понадобится женщина, которая не требует, чтобы ты все время только и делал, что занимался с ней любовью, приходи ко мне. Я пойму тебя.

— Как славно это услышать, Сабина. Женщины так обижаются обычно, если ты не готов или не в настроении играть роль романтического любовника, даже если внешне соответствуешь этому образу.

Ее слова так подействовали на него, что на следующий день он снова появился и признался в том, что никогда до сих пор не проводил с одной женщиной больше чем один вечер, и добавил:

— А иначе она начинает слишком много требовать, предъявляет какие-то претензии…

Он зашел за ней, и они отправились на прогулку в песчаные дюны. Он был весьма разговорчив, но все его речи были безличны. Втайне Сабина надеялась, что он сможет сказать ей нечто такое, что расплавит ее нерасплавляемое чувственное нутро, и она сама сумеет на это откликнуться, а он прорвется через ее сопротивление.

Потом ее поразила вся абсурдность таких надежд: не достигнув чувственного слияния, она пыталась найти какой-нибудь иной способ единения, в то время как чувственное слияние было

единственным, чего она на самом деле хотела. Она хотела иметь равную с мужчиной свободу случайных связей, хотела получить чистое наслаждение, свободное от зависимости, способное освободить ее от всех треволнений, связанных с любовью.

На какой-то миг треволнения любви показались ей схожими с беспокойными переживаниями наркомана, алкоголика, игрока. Тот же неодолимый импульс, то же напряжение, принуждение — и затем депрессия, которая наступает сразу за подчинением импульсу, отвращение, горечь, унижение, а потом опять и опять — принуждение…

Три раза море, солнце и луна были свидетелями ее бесславных попыток по-настоящему овладеть Филиппом, ее случайным любовником, мужчиной, к которому все женщины так ее ревновали.

Пурпурной осенью, уже в городе, он позвонил ей, и она отправилась к нему на квартиру. Колокольчики на подаренном им индийском кольце весело звякали.

Она вспомнила, как боялась, что он исчезнет сразу, как кончится лето. Он не попросил ее адреса, а за день до отъезда к нему приехала подруга. У помянув о ней, он был немногословен, отчего

Сабина догадалась, что для него это была совершенно особенная женщина. Она была певицей, брала у него уроки мастерства; их связывала музыка. Сабина уловила в его голосе тот уважительный тон, который не хотела бы услышать по отношению к себе. Таким тоном говорил о ней самой Алан. Филипп испытывал к этой женщине симпатию, схожую с той, что Алан испытывал к Сабине. Сабине, которая так старалась не показывать, что замерзла, когда они плавали вдвоем, или что устала, когда они слишком долго ходили пешком, или что у нее температура оттого, что она перегрелась на солнце, он говорил о недостаточно крепком здоровье своей подруги.

Суеверная Сабина загадала себе: «Если эта женщина окажется красавицей, я никогда больше его не увижу. Если же она некрасива, если она является его „вечной любовью“, то я буду его причудой, капризом, наркотиком, его жаром».

Когда Сабина увидела ее, то была просто поражена. Женщина была некрасива. Бледная, невыразительная. Но в ее присутствии Филипп стал размягченным, счастливым, покорившимся своему счастью, не подтянутым и высокомерным, как раньше, а нежно-безмятежным. Не сверкание льда в холодных голубых глазах, а мягкое свече-

ние раннего утра.

Тогда Сабина поняла: когда ему захочется жара, он призовет ее.

Когда она чувствовала, что теряется в бескрайних пустынях бессонницы, то пыталась выбраться из этого лабиринта, ухватившись за спасительную нить воспоминаний обо всей своей жизни с самого ее начала, чтобы проверить, может ли она обнаружить тот момент, когда пошла по неверному пути.

Сегодня она вспоминала свои «лунные ванны», с которых, как она считала, началась ее взрослая жизнь, отдельная от родителей, школы, отчего дома. Как ей казалось, они куда в большей степени определили дальнейшее течение ее жизни, чем то, что было унаследовано или усвоено от родителей. И может быть, в этих лунных ваннах крылась тайная мотивация ее поступков.

В шестнадцать лет Сабина начала принимать лунные ванны — прежде всего потому, что все кругом принимали солнечные, а также, наверно, потому, что слышала, будто солнечные ванны опасны. Опасны ли лунные ванны, было неизвестно, но как бы само собой подразумевалось, что они могут оказывать иное воздействие, чем солнечные.

В первый раз, подставляя тело лунным лучам, она боялась последствий. Существовало много табу, запрещающих смотреть на луну, и множество древних легенд, сулящих недоброе тому, кто заснет при свете луны. Она знала, что на душевнобольных полнолуние действует крайне возбуждающе, так что некоторые из них вдруг начинают выть на луну, как животные. Она читала, что в астрологии Луна управляет ночной жизнью бессознательного, невидимого сознанию.

Но зато сама она всегда предпочитала дню ночь.

В летнее время лунный свет падал прямо на ее постель. Перед тем как заснуть, она лежала часами, подставляя лунным лучам обнаженное тело, размышляя о том, как они подействуют на ее кожу, волосы и глаза, и, особенно, — на ее чувства.

Ей казалось, что благодаря этому ритуалу ее кожа приобретает особое, ночное свечение, искусственное сияние, проявлявшее себя во всем великолепии только ночью, при искусственном освещении. Люди замечали это и спрашивали, что с нею происходит. Некоторые даже предполагали, что она употребляет наркотики.

Это усиливало ее любовь к таинственности. Она медитировала, глядя на эту планету, наполо-

вину скрывающую себя в темноте. Она ощущала незримую связь с Луной, потому что та была планетой влюбленных. Влечение к ней, желание купаться в ее лучах объясняло нежелание Сабины иметь дом, мужа и детей. Ей начало казаться, что она знает, какова жизнь там, на Луне. Жизнь бездомных, бездетных любовников, не привязанных ни к кому, даже друг к другу.

Лунные ванны выкристаллизовали многие желания и наклонности Сабины. До сих пор она бунтовала лишь против образа жизни окружавших ее людей, но теперь начала различать другие, многообразные, красочные формы жизни, увидела, что ей предстоит открыть еще много миров, более глубоких, необычных, отдаленных. Она поняла, что ее отрицание обыденности было нацелено на то, чтобы отправить ее, как космический корабль, к иным формам существования. Бунт был только статическим электричеством, аккумулирующим энергию, которая сможет вынести ее в космос.

Она поняла, почему ее так раздражало, когда люди говорили о своем существовании как об ОДНОЙ жизни. Теперь она абсолютно была уверена в том, что у нее есть мириады жизней. Изменилось ее ощущение времени. Она с

печалью осознала и остро почувствовала всю кратковременность физической жизни человека Смерть близко, ужасно близко, и мы несемся к ней сломя голову. Да, это так, но только если рассматривать жизнь так, как делают это другие, с их расписаниями, часами, измерениями. Все, что они вытворяют со временем, ведет лишь к его сокращению. Для них существует только одно рождение, одно детство, одна юность, одна любовь, один брак, одна зрелость, одна старость, одна смерть, и потом этот монотонный цикл они передают по наследству своим детям. Но Сабина, заряженная энергией лунных лучей, чувствовала себя способной продлить время, растворившись в мириадах жизней и любовных историй, продлить свой путь до бесконечности, отвлекаясь на чудесные, роскошные путешествия в сторону от магистрального маршрута, как куртизанка, умеющая удовлетворять самые разные желания. Лунными лучами в ней были оплодотворены семена многих жизней, многих мест и многих женщин, лучами, явившимися из беспредельной жизни ночи, обычно ощущаемой нами только во сне, уходящей корнями в великолепные миги прошлого, оставляющей их отложения в настоящем, проецирующей их в будущее.

Вглядываясь в луну, Сабина обретала уверенность в возможности продления времени за счет глубины переживаний, диапазона и бесконечного разнообразия опыта.

Именно это пламя, как тайная лихорадка, начало жечь ее изнутри, пылать в глазах, отсвечивать на коже, и ее мать, глядя на нее, сердилась: «Ты горишь, как чахоточная». Пылающее в ней пламя стремительной, лихорадочной жизни привлекало к ней людей так же, как прохожих, скитающихся по темным и пустым улицам, влекут огни ночной жизни.

И когда она в конце концов все же засыпала, ее сон был беспокойным сном ночного стражника, постоянно помнящего об опасности и вероломстве времени, пытающегося обмануть ее, отстукивая проходящие часы даже тогда, когда она спит и не может постичь их смысл.

Она смотрела, как Алан закрывает окна, зажигает свет, запирает дверь, ведущую на балкон. Уютное отгораживание от всего мира. Но вместо того, чтобы томно окунуться в тепло и нежность, Сабина ощутила внезапное беспокойство, как срываемый с якоря корабль.

Образ скрипящего, мятущегося корабельного

каркаса явился к ней на волнах «Ile Joyeuse»[14] Дебюсси, который окутал ее дымками и туманами дальних островов. Звуки прибывали, как караван, нагруженный пряностями, золотыми митрами, дароносицами и потирами, и доставляли послания от наслаждения, заставляя мед сочиться между бедрами женщин, воздвигая чувственные минареты на телах мужчин, раскинувшихся на песке. Принесенные морем осколки разноцветных стекол, разбитых сверкающими солнечными лучами, волнами и приливами чувственности, покрывали эти тела, а желания набегали складками волн, разносясь по крови вспышками северного сияния. Ее воображению рисовался совершенно немыслимый танец мужчин и женщин в красных одеждах, веселых, нарядных, относящихся друг к другу как к не имеющим равных в своем великолепии.

Желая оказаться там, где все гораздо прекрасней, чем здесь, она воспринимала все здешнее, осязаемое как некую помеху, препятствие на пути к более яркой жизни, ожидающей ее впереди. Ее блистательным партнерам предстояло ждать своего часа.

---

[14] Примечания: 14
«Остров радости» *(фр.).*

Настоящее — то есть Алан с его запястьями, поросшими шелковистыми коричневыми волосами, длинной шеей, вечно склоненной к ней как настоящее Древо преданности, — было убито настойчивым, нашептывающим, навязчивым сном, компасом, указывающим на миражи, плавающие в музыке Дебюсси, заманивая, соблазняя… Звуки этой музыки становились слабее, если она не вслушивалась в них всем своим существом, шаг музыки становился легче, если Сабина не следовала за ним, ее обещания, ее вздохи наслаждения становились тем яснее, чем глубже проникали в отдаленные участки тела непосредственно через органы чувств, на воздушных шатрах которых трепещут знамена разных гондол и прочих дивертисментов.

«Clair de Lune»[15] Дебюсси сиял над другими городами. Ей сразу захотелось в Париж, город, благосклонный к влюбленным, где жандармы снисходительно улыбаются, а водители такси никогда не мешают целоваться парочкам на заднем сиденье…

«Clair de Lune» Дебюсси сиял над лицами бесчисленных незнакомцев, над бесчисленными

---

[15] Примечания: 15
«Лунный свет» *(фр.).*

«Островами радости», музыкальными празднествами в Черном Лесу, над маримба, молящимися у подножия дымящихся вулканов, над безумными, пьянящими танцами на Гаити… Но только не над Сабиной, которая лежала сейчас в комнате с закрытыми окнами под тусклой лампой.

Музыка устала ее призывать. Звуки черных клавиш иронично поклонились ее инертности, словно станцевали павану в память усопшей инфанты, и растаяли в воздухе. Теперь ей оставалось слушать лишь звучание туманных горнов с Гудзона — гудки пароходов, на борт которых ей никогда, никогда не подняться.

Неделю спустя, надев фиолетовое платье, Сабина появилась на остановке на Пятой авеню и стала ждать, когда подойдет автобус для курящих. Усевшись, она открыла свою переполненную сумочку и достала индийское кольцо с крошечными колокольчиками. Она надела его вместо обручального кольца, которое, в свою очередь, отправила на дно сумочки. Любой ее жест отныне сопровождался легким позвякиванием колокольчиков.

На 64-й улице она выскочила из автобуса, не дождавшись, когда он полностью остановится. Ее походка изменилась. Теперь она шла стремитель-

но, решительно, а ее бедра были словно налиты силой и энергией. Она шла, ступая всей ступней, как ходят латиноамериканцы и негры. Раньше, когда она шла к Алану, ее плечи были опущены, но теперь они были гордо расправлены, и она дышала глубоко, чувствуя, как ее соски впиваются в фиолетовое платье.

Когда она шла, по ее телу словно проходила волна: сначала вниз от ее ягодиц и бедер, а затем назад от ступней к коленям, бедрам, до самой талии. Так ее тело словно набирало силу перед событием, в котором будет задействовано целиком. На ее лице теперь не было ни тени смущения. Напротив, оно светилось таким ярким светом, что люди останавливались и глазели на нее, будто притянутые магнитом.

Уже начали вспыхивать вечерние огни, и тогда Сабина сравнила себя с вечерним городом, в котором огни зажглись одновременно, осветив его яркой иллюминацией. Огоньки вспыхнули одновременно в ее волосах, в ее глазах, на ее ногтях, в складках ее фиолетового платья, кажущегося теперь черным.

И только подойдя к квартире, она подумала о том, что до сих пор не знает, живет ли он один или нет.

Он проводил ее в комнату, похожую на него самого и обустроенную явно для одного. По стенам были развешаны его лыжные призы. На венской камчатной занавеси размещалась целая армия оловянных солдатиков в боевом порядке. На рояле в беспорядке валялись ноты, а посредине комнаты под свисающим с потолка зонтиком стоял недоделанный телескоп.

— Я хочу смотреть на звезды через собственноручно построенный телескоп. Сейчас я полирую линзу. Это занимает кучу времени и требует адского терпения.

— Но зонтик! — рассмеялась Сабина.

— Когда в квартире наверху начинают скакать дети, штукатурка сыплется и может поцарапать линзу. Мельчайшая пылинка может свести на нет результат многочасовой работы!

Она понимала его желание наблюдать планеты с помощью инструмента, сделанного собственными руками. Ей было любопытно, когда работа будет закончена, и она спросила, сколько еще времени это займет. Увлеченные телескопом, они вели себя как друзья и на какое-то время перестали подначивать и поддразнивать друг друга.

Они разделись, не выходя из этого настроения. Филипп игриво, как сущее дитя, корчил всякие

гримасы. Он любил придавать себе нелепый вид, как будто уже устал быть всегда безупречно красивым. Он мог даже изобразить из себя Франкенштейна.

Сабина смеялась, но как-то натянуто. Осознавая всю зыбкость и хрупкость своего желания, она боялась, что, если его красота на самом деле исчезнет, она перестанет желать его. Исчезни певец из «Тристана и Изольды», поющий в сказочном Черном Лесу, и чего тогда останется ей желать?

Потом его холодные глаза почувствовали напряженность ее взгляда, и что-то в нем шевельнулось. Тлеющая в ней страсть сожгла его отстраненность. Он не любил этот пыл, такие чувственные всплески в женщине, но ему было любопытно убедиться, что они существуют. Ему нравилось рискованное прикосновение к этому огню, но только в темных глубинах ее плоти, когда оно не затрагивало его сердца, не могло его привязать. В своих эротических фантазиях он часто представлял себе, что занимается любовью с женщиной, у которой руки связаны за спиной.

Однажды она увидела, как огромная туча опустилась на гору, две вершины которой торчали, как соски женских грудей, и, тесно прижавшись, как бы обняла ее. И тогда он воскликнул: «Какое

удивительное совокупление! Ведь у горы нет рук!»

Он устал строить рожи и, вернув своему лицу обычную безупречность черт, склонился над ней, чтобы воздать должные почести ее телу.

То, что произошло потом, было чудом, пульсацией такого наслаждения, равного которому не могут вызвать даже самые виртуозные музыканты, самые выдающиеся творения искусства, гениальные научные озарения или экстатическое воодушевление на войне. Даже самые совершенные пейзажи не могут произвести такого впечатления. Под воздействием этого наслаждения тело превратилось в высокую башню, окруженную фейерверками разливающегося по органам чувств удовольствия.

Она открыла глаза, чтобы до конца осознать пронзительную радость своего освобождения: наконец она свободна, свободна так же, как свободен мужчина, и теперь она тоже может испытывать наслаждение без любви.

Не чувствуя в сердце ни малейшего тепла, она смогла, как это могут мужчины, испытать наслаждение от близости с незнакомцем.

И тогда она вспомнила, что в таких случаях говорят мужчины:

— А потом мне захотелось уйти.

Она смотрела на голого незнакомца, лежащего рядом с нею, и он показался ей статуей, к которой ей совсем не хотелось еще раз прикоснуться. Он лежал, как статуя, далекий, совсем чужой, и в ней начал закипать гнев, обида, ей захотелось забрать назад тот подарок, который она преподнесла ему в своем лице, захотелось стереть все следы происшедшего, соскрести их со своего тела. Ей захотелось как можно быстрей и решительней освободиться от него, разъять и разъединить то, что на какое-то мгновение казалось слитым, — их дыхания, кожу, выдохи, соки их тел. Она осторожно выскользнула из постели, быстро и бесшумно оделась, стараясь не разбудить его. На цыпочках она прошла в ванную.

На полочке она обнаружила пудру, расческу, помаду в упаковках раковично-розового цвета. Рассматривая эти вещи, она улыбнулась. Жена? Любовница? Как замечательно смотреть на эти предметы, не испытывая ни малейшего расстройства, зависти или ревности! В этом и заключалась свобода. Свобода от привязанности, зависимости и самой возможности боли. Она глубоко вздохнула и почувствовала, что такой источник наслаждения ей нравится. Но почему

так трудно было его отыскать? Почему так часто приходилось симулировать наслаждение?

Причесываясь и подкрашивая ресницы, она любовалась ванной комнатой, этой нейтральной зоной безопасности. Перемещаясь между мужчинами, своими любовниками, она всегда с удовольствием вступала в естественную зону безопасности (автобус, такси, путь от одного мужчины к другому, а вот сейчас — ванная), в зону, неподвластную грусти. А ведь если бы она любила Филиппа, все эти предметы — пудра, шпильки, расческа — больно ранили бы ее.

(Ему нельзя доверять. Я просто прохожу мимо. Я направляюсь в другое место, в другую жизнь, где ему меня не отыскать, где я ему совсем не нужна. До чего же здорово не любить! Я помню взгляд женщины, которую Филипп встретил на пляже. Этот направленный на меня взгляд был полон паники: она считала, что в моем лице явилась наконец та самая, которая уведет его с собой. Потом эта паника прошла, как только она услышала, каким тоном Филипп сказал: «Познакомься, это дона Жуана!» Женщина почувствовала тон его голоса, и страх в ее глазах сразу исчез.)

Завязывая шнурки сандалий, закутываясь в плащ, приглаживая свои длинные прямые во-

лосы, Сабина испытывала неведомую ей доселе уверенность в себе. Она не только свободна от опасности, но и свободна для того, чтобы спокойно удалиться со сцены. Так она это определила. (Филипп заметил, что ему еще не доводилось встречать женщины, которая бы так же быстро одевалась и собирала свои вещи, ничего не забывая.)

О, она научилась спускать любовные записки в туалет, не оставлять своих волос на чужих расческах, подбирать шпильки, стирать следы от губной помады, сметать пудру.

У нее были глаза шпиона. У нее были привычки шпиона. Она всегда тщательно складывала свою одежду на один стул, словно ее могли неожиданно вызвать среди ночи и тогда бы ей потребовалось уйти, не оставив никаких следов своего присутствия. На этой войне любви ей были знакомы все приемы.

А ее нейтральная зона была моментом, когда она не принадлежала никому и могла собрать воедино свою разметавшуюся душу. Для нее это было моментом не-жизни, не-желания. Моментом, когда она улетала, если мужчина начал восторгаться другой женщиной или слишком много говорить о прошлой любви. Мелкие оби-

ды, булавочные уколы, наплывы безразличия, никчемная измена, небольшое предательство служили предупреждениями о куда более крупных обидах, изменах и предательствах, и им нужно было противопоставить такую же, или еще большую, почти тотальную неверность, мощнейшее из противоядий, заготовленных заранее на крайний случай. Она копила в себе предательства, чтобы быть готовой, испытав шок, сказать себе: «Меня не застигли врасплох, я не попала в ловушку из-за своей невинности, из-за глупой доверчивости. Я сама уже предала. Нужно всегда опережать, немного опережать поджидающие тебя предательства. Нужно опережать их и быть к ним готовой!..»

Когда она вернулась в комнату, Филипп еще спал. Время клонилось к вечеру, шел дождь, холодный ветер проникал в комнату, но Сабина не испытала желания укрыть, укутать или согреть его.

Она отсутствовала только пять дней, но из-за силы пережитых эмоций и новизны ощущений, из-за всего этого внутреннего самокопания и самоизучения Сабине казалось, что она не была дома уже много лет. Образ Алана отошел далеко в прошлое, и она испугалась, что окончательно

потеряла его. Те пять дней, которые произвели такие изменения в ее теле и чувствах, удлинили срок ее отсутствия, отдалили ее от Алана на расстояние, измерить которое невозможно.

Когда мы выбираем пути, руководствуясь зовом чувства, они обозначаются на карте сердца как дороги, уводящие от центра прочь и, в конечном счете — в изгнание.

В таком настроении она вернулась в его дом.

— Сабина! Какая радость! А я думал, что тебя не будет еще целую неделю! Что-нибудь случилось? Никаких неприятностей?

Он был там. За пять дней не изменились ни его голос, ни обволакивающее выражение глаз. Квартира была такой же, как и прежде. Возле кровати лежала открытой все та же книга и валялись те же, еще не выброшенные журналы. Он даже не успел доесть фрукты, которые она купила, когда в последний раз была здесь. Она нежно коснулась рукой переполненных пепельниц, задумчиво провела пальцами по покрытой пылью крышке стола. Жизнь здесь была упорядоченной, органичной, без резких падений и взлетов.

Оказавшись здесь, она ощутила ту, другую жизнь как фантазию. Она взяла Алана за руку и нащупала знакомую складку на запястье. Она

почувствовала, что, пока он еще не коснулся ее, ей нужно обязательно принять ванну и соскрести с себя другие места, руки, запахи.

Алан приготовил ей сюрприз, раздобыв несколько записей ударных и вокала из «Ile Joyeuse». Они стали слушать звучание барабанов, доносящееся вначале словно издалека, из затерянной в густых джунглях деревни. Вначале это было похоже на звук шагов маленьких детей, бегущих сквозь заросли сухого тростника, потом на более тяжелый топот по полусгнившим стволам, и, наконец, властные пальцы резко ударили по коже барабанов, и раздался мощный хруст обламываемых сучьев. Музыканты хлопали по натянутым звериным шкурам, потирали их, стучали по ним костяшками и кончиками пальцев с такой скоростью, что не оставалось времени для эха.

Перед глазами Сабины мелькали тела — эбеновые и цвета корицы, тела, сквозь кожу которых не проступают кости, тела, сверкающие после диких морских купаний, скачущие и танцующие в стремительном ритме барабанного боя, одетые в изумрудно-зеленое, ярко-синее, желто-оранжевое, в самые разные краски цветов и фруктов, — вечно пламенеющий эвкалипт

плоти.

Бывают такие места, где телом управляет только пульсация крови, где невозможно отличить скорость ветра от бушевания волн и солнечных оргий. Полные жизненной силы голоса радостно пели: каскабель… гуйабана… чинчинегритес…

— Я мечтаю, чтобы мы поехали туда вместе, — сказала Сабина.

Алан посмотрел на нее обиженно, как будто ему было больно напоминать ей об этом:

— Я же не могу оставить работу. Может быть, в этом году, но попозже…

Взгляд Сабины становился все более застывшим. Алан воспринял это как разочарование и добавил:

— Потерпи немного, Сабина!

Но взгляд Сабины изменился не из-за разочарования. Просто она погрузилась в свое видение. Она смотрела на обретающий форму мираж, на птиц, рождающихся с новыми именами: «кучучито», «пито реаль», опускающихся на деревья с названием «ликвидамбар», и над ее головой поднималась крыша из пальмовых листьев, связанных соломой. «Попозже» — всегда означало слишком поздно; точной даты не существовало. Существовало лишь огромное расстояние, ко-

торое нужно было преодолеть для того, чтобы достичь недостижимого. Барабаны явились сюда и вместе с ритмом стучащего сердца принесли запах тел цвета корицы. Скоро они должны будут принести приглашение, отказываться от которого она не станет.

Когда Алан снова взглянул на нее, она опустила ресницы в знак покорности. Он почувствовал, что угроза отъезда сменилась внезапным послушанием. Он не заметил, что ее уступчивость сама по себе была формой отсутствия. Она уже поселилась на Острове радости.

Может быть, именно из-за этого, когда однажды, прогуливаясь по улице Мак-Дугалл, она услышала бой барабанов, ей показалось естественным остановиться, подняться по лестнице в мансарду со стенами, выкрашенными в оранжевый цвет, и присесть на один из покрытых мехами барабанов.

Музыканты играли, полностью уйдя в себя, погрузившись в транс, как того и требовал ритуал. С кухни доносился запах пряностей, и золотые серьги танцевали над дымящимися блюдами.

Голоса вступили, начав с гимна Алалле, потом стали зовом птиц, зовом животных, обрушивающимися со скал водопадами, растениями,

погружающими расставленные, как пальцы, корни в воды лагуны. Барабаны звучали в таком бешеном ритме, что сама комната словно превратилась в лес пляшущих деревьев и гудящего ветра, умащивающего посылающую наслаждения Алалле.

Среди темных лиц выделялось одно более светлое. Наверно, французская или испанская бабушка добавила свой розовато-белый ручеек в эбеновый котел, придав черным волосам свойство отражающей глубины, как у черного зеркала. Круглая голова, широкие брови, полные щеки, мягкие сияющие глаза. Пальцы касаются барабана стремительно, но плавно, передают страсть, исходящую от плеч и бедер.

Сабина представила себе, как он плавает, прыгает через костер на берегу, скачет, лазает по деревьям. Сквозь кожу не проступают кости, она гладкая, как у жителя островов Южных Морей, и мышцы у него сильные и в то же время незаметные, как у кошки.

Разбавленный цвет кожи придавал чертам его словно лишенного нервов лица особую твердость, столь отличную от нервозного стаккато других барабанщиков. Он был пришельцем с острова мягкости, где мягким был ветер, и теплым было

море, где насилие бытовало лишь в латентном состоянии, проявляясь лишь в виде периодических взрывов. Для постоянного проявления злобы жизнь там была слишком сладкой, слишком убаюкивающей, слишком наркотической.

Окончив играть, они сели за столик рядом с нею и заговорили на очень сложном и витиеватом колониальном испанском языке XVI века, на этом пышном языке старинных баллад. Они употребляли такие изысканно-вежливые обороты, что заставили Сабину улыбнуться. Этот языковый стиль, навязанный завоевателями жителям африканской глубинки, был чем-то вроде барочных украшений на хижинах, крытых пальмовыми листьями. Один из них, самый темнокожий, отличался белоснежным накрахмаленным воротничком; к его стулу был прислонен длинный зонтик. Он с превеликой осторожностью держал на коленях шляпу, а когда играл на барабане, старался двигать только запястьями для того, чтобы не помять свой тщательно отутюженный костюм. Он поворачивал голову внутри стоячего воротника так, точно она существует отдельно от плеч, как это делают балийские танцоры.

Ее так и подзуживало нарушить их вежливый тон, взломать полированную поверхность их

миролюбия своей экстравагантностью. Она стала стряхивать пепел с сигареты прямо на свою сумочку, и тут индийское колечко, подаренное ей Филиппом, звякнуло. Тогда светлолицый барабанщик обернулся к ней и улыбнулся, словно этот слабый звук был попыткой ответа на звучание его барабана.

К тому моменту, когда он снова запел, уже какая-то невидимая нить протянулась между их глазами. Теперь она не смотрела больше на его руки, пляшущие на поверхности барабана. Теперь она смотрела на его рот. У него были полные, ровные губы, пухлые, но весьма твердо очерченные. Он предлагал свои губы так, как предлагают какой-нибудь фрукт. Эти губы никогда плотно не смыкались и не отстранялись или он даже слегка сжимал их: они всегда оставались предлагаемыми.

И свое пение он тоже словно предлагал ей в чаше своего рта, так что она пила его осторожно, не проливая ни капли из этого гимна желанию. Каждый звук его голоса казался ей мягким прикосновением его губ. Пение становилось все более воодушевленным, а барабанный бой — более глубоким и резким, так что все эти звуки мощной струей окатывали ее сердце и тело. Бум-

бум-бум-бум-бум — бил барабан по ее сердцу, и сама она была барабаном, ее кожа натягивалась под его пальцами, и барабанный бой отдавался по всему ее телу. Ловя его взгляд, скользящий по ее телу, она чувствовала, что его пальцы стучат по ее животу, грудям, бедрам. Когда он остановил взгляд на ее голых ступнях, обутых в сандалии, она ответила ему тем, что начала ногами отстукивать ритм. Когда он стал смотреть на ее талию, туда, откуда начинают расходится бедра, она почувствовала, что он уже взял ее своей песней. Перестав играть, он не сразу убрал ладони с барабана, словно не хотел выпускать из рук ее тело, и они продолжали смотреть друг на друга, иногда отводя глаза в сторону, словно из опасения, что остальные заметят перетекающее между ними желание.

Но когда они стали танцевать, он повел себя по-другому. Он начал так решительно и неумолимо раздвигать ее колени своими, словно хотел показать грубость своего желания. Он держал ее крепко, а она полностью подчинилась ему, так что казалось, будто любое движение, которое они совершают вдвоем, выполняет один человек. Он смотрел в ее лицо с чувством физической обреченности, как бы желая продлить этот миг

навсегда. Его желание превратилось в центр притяжения, они словно спаялись друг с другом. Хотя он был не намного выше ее, осанка его была горделивой, и ей приходилось поднимать голову, чтобы встретиться с ним глазами. И тогда его взгляд проникал в ее сокровенную глубину с такой откровенной чувственностью, что она не могла выдержать излучение его глаз, не могла не откликнуться на их призыв. Внутренний жар проявлялся на его лице подобием лунного света. И вдруг Сабина почувствовала, что на нее нахлынула странная, необъяснимая волна гнева.

Когда танец кончился, его поклон был прощанием, таким же бесповоротным, как его желание.

В полной растерянности и недоумении, она ждала.

Он снова начал петь и играть на барабане, но теперь не преподносил свое пение лично ей, как это делал прежде.

Но она знала: он ведь хотел ее. Тогда зачем, зачем он сам все разрушает?

Ее охватило такое беспокойство, что она была готова остановить барабаны, прервать танцы. Но она сдержала свой порыв, чувствуя, что это еще больше отдалит его. Такова была его гордость.

Такова была присущая ему странная смесь пассивности и агрессии. В музыке он был сияющим, мягким, доступным, а в танце — деспотичным. Она должна ждать. Она должна уважать ритуал.

Музыка смолкла. Он подошел к ее столику, присел рядом. Он улыбнулся, но улыбка смешалась с гримасой боли.

— Я знаю, — сказал он, — знаю.

— Знаешь?

— Я знаю. Но это невозможно, — сказал он как можно мягче. Но тут же волна гнева захлестнула его, и он добавил: — Для меня существует либо всё, либо ничего. У меня уже был такой опыт… Женщина, похожая на тебя. Желание. Да, это желание. Но желаешь ты не меня. Ты не знаешь меня. Твое желание связано не со мной. А с моей расой, с той чувственной силой, которой мы обладаем.

Он схватил ее за запястья и наклонился ближе к ее лицу:

— Это разрушает меня. Повсюду только желание. А стоит его удовлетворить, как сразу происходит отступление. Потому что я африканец. Что ты знаешь обо мне? Что я пою и стучу на барабане? И что ты хочешь меня? Но я не игрушка для развлечений. Я математик, композитор,

писатель. — Он посмотрел на нее сурово. Не будь его губы такими полными, они бы сейчас сжались от гнева. Но глаза, глаза сверкали. — Ты ведь не поедешь со мной на «Ile Joyeuse», не станешь моей женой, не родишь мне черных детей и не будешь терпеливо ухаживать за моей негритянской бабушкой!

Сабина ответила ему с такой же горячностью, отбросив с лица волосы и понизив голос так, что он зазвучал как оскорбление:

— Я скажу тебе только одно: если бы дело было в том, что ты сказал, то все это я уже имела, и это меня не удержало, этого мне было недостаточно. Все было потрясающе, но меня это не удержало. Ты все разрушаешь своей горечью. Ты рассержен, обижен…

— Да, это так. Я был… обижен женщиной, похожей на тебя. Когда ты вошла, я подумал, что это она.

— Меня зовут Сабина.

— Я не доверяю тебе, я не доверяю тебе ни капельки.

Но когда она встала, чтобы потанцевать с ним, он раскрыл объятия, и она положила голову ему на плечо. Он посмотрел на ее лицо: на нем не осталось ни следа горечи и гнева.

Мастерская Мамбо находилась в Пэтчен-плэйс, в каком-то тупике. Вход туда был наполовину закрыт железным ограждением, точно это был вход в тюрьму. И все дома там были на одно лицо, что усиливало впечатление того, что перед вами учреждение, в котором любое проявление своеобразия личности будет считаться эксцентричностью и симптомом разложения.

Сабина ненавидела эту улицу, всегда считала ее ловушкой. Она была уверена, что Детектор Лжи видел, как она вошла, и будет ждать ее у ворот, когда она выйдет. Ведь ему было бы несложно вычислить, кто живет в этих домах, к кому она пришла, из какого дома вышла утром.

Она представила себе, как он ходит вдоль домов, читая имена на почтовых ящиках: Э. Э. Каммингс, Джуна Барнс, Мамбо из Ночного клуба Мамбо, — имена, которые хорошо известны всем.

Детектор Лжи вполне мог видеть, как она вы ходит на рассвете из дома, со спутанными волосами, не подымая глаз, кутаясь в плащ.

Любая другая улица, но только не эта!

Однажды в начале лета она проснулась, внезапно почувствовав какое-то болезненное нервное напряжение. Все окна были распахнуты. Время

было предрассветное, раннее. Маленькая улочка была погружена в тишину. Она прислушалась к шелесту листвы на деревьях. Потом завопила кошка. Что же разбудило ее? Опасность? Может быть, Алан ждет ее у ворот?

Она отчетливо услышала женский голос:

— Бетти, Бетти!

И другой голос сонно ответил:

— Ну что тебе?

— Бетти! Тут какой-то тип прячется в дверном проеме. Я видела, как он туда крадется.

— Ну и что… А я тут при чем? Это же просто какой-то пьянчужка не может добраться до дому.

— Нет, Бетти. Он поспешил спрятаться, когда я высунулась из окна. Скажи-ка Тому. Пусть пойдет и посмотрит. А то страшно!

— Да что ты как маленькая, право! Ложись спать. Том вчера работал допоздна, не могу его будить. Да и вообще, как этот человек сможет войти? Разве только ты сама ему откроешь.

— Но утром мне надо идти на работу. А вдруг он будет там? Разбуди Тома!

— Ложись спать!

Сабину начало трясти. Она была совершенно уверена в том, что этот человек — Алан. Алан поджидает ее внизу, караулит, когда она выйдет.

Для нее это означало бы конец света. Алан был средоточием ее жизни. Все прочие моменты — моменты ее жара — были лишь снами, несущественными, исчезающими так же быстро, как появились. И если бы Алан теперь отверг Сабину, она бы погибла. Ведь она существовала лишь постольку, поскольку существовала для Алана. Для нее признаться себе: «Алан выгнал меня» было равнозначно признанию: «Алан меня убил».

Эта ночь была полна особенно чудесными ласками, подобными разноцветным языкам пламени роскошного фейерверка, похожими на сполохи взрывающихся внутри тела солнц и неонов, на летящие к эпицентрам наслаждения кометы, вспыхивающие звезды все пронизывающих радостей. И даже если бы она сказала: «Я останусь здесь и буду жить с Мамбо вечно», ее слова отражали бы лишь чувства детей, кидающихся под золотой дождь фейерверка, который длится всего мгновение и посыпает их головы пеплом.

Перед ее глазами вставали два образа: во-первых, вызывающий в ней резкую боль образ рыдающего Алана, каким она видела его, когда ему сообщили о смерти отца, и, во-вторых, образ разгневанного Алана, каким она никогда его

прежде не видела, но знала, что он мог гневаться на других, и этот образ был столь же непереносим для нее, действовал на нее так же убийственно.

Еще не рассвело. Что можно теперь сделать? Ее нервы были так натянуты, что она не могла больше лежать в темноте. Но как объяснить Мамбо, почему так рано ушла? И все же она тихонько поднялась, осторожно выбралась из постели и оделась. Ее била дрожь, и даже одежда неловко выскальзывала из дрожащих пальцев. Она чувствовала, что должна пойти и узнать, кто же этот человек, затаившийся у двери. Слишком мучительным было для нее это состояние тревожного ожидания.

Медленно и бесшумно вышла она из квартиры и босиком, зажав в руке сандалии, спустилась по лестнице. Скрипнула ступенька, и Сабина замерла. Капли пота выступили на ее бровях. Руки продолжали трястись: она чувствовала себя бесконечно слабой. Когда она наконец подошла к двери, то сразу увидела мужской силуэт за матовым стеклом. Мужчина стоял и курил трубку — точно так же, как это делал Алан. Сердце Сабины ушло в пятки. Она поняла, почему всегда так сильно ненавидела эту тупиковую улицу. Еще целых десять минут она стояла, парализованная

ужасом и чувством вины, но также и сожалением о том, что она теряет.

— Конец света, — прошептала она.

И тогда, как будто в предчувствии смертного часа, она подвела итоги своему существованию на земле: самые возвышенные мгновения страсти растворились как нечто совершенно незначимое перед страхом потери Алана, как если бы его любовь была основой всего ее существования.

Как только эта мысль оформилась в ее сознании, отчаяние ее достигло такой точки, что она не могла больше стоять на месте. Она резко толкнула дверь.

Перед ней, покачиваясь на нетвердых ногах, стоял незнакомец с красными, налитыми кровью глазами. Напуганный ее внезапным появлением, он пробормотал, делая шаг назад:

— Не могу прочитать, где мой звонок, сударыня. Вы мне не поможете?

Сабина взглянула на него с яростью и бросилась прочь, прикрывая лицо краем плаща.

Мамбо постоянно упрекал ее: «Ты меня не любишь!» Он чувствовал, что, обнимая и целуя его, она обнимает и целует музыку, легенды, деревья и барабаны его родного острова, и что она одинаково страстно хочет обладать и его телом, и

его островом и подставляет тело его рукам как тропическому ветру, и что качание на волнах наслаждения равно для нее качанию пловца на волнах тропического моря. Целуя его губы, она смаковала пряные ароматы его острова — единственного места, где можно было научиться так ласкать женщину с особой, шелковой чувственностью, лишенной грубости и насилия, мягкой, как само его тело островитянина. Гуттаперчевое тело.

Сабина не чувствовала вины за то, что пьет тропики, наслаждаясь телом Мамбо; ее стыд был более тонкого свойства: она стыдилась того, что предлагает ему фальшивую Сабину, притворяющуюся, что любит его одного.

Накануне вечером, когда наркотик ласк закружил их и швырнул в открытый космос, она словно освободилась — освободилась на миг от всего постороннего, грубо вмешивающегося в добровольный союз двоих людей, — и захотела показать ему истинную Сабину, Сабину без маски.

Когда они лежали рядом и их тела еще подрагивали от наслаждения, всегда возникала напряженная тишина. И, лежа в молчании, каждый из них начинал вить нити раздора, желая

разъединить то, что соединилось, вернуть в свое безраздельное пользование то, что на какой-то миг было разделено с другим.

Эти изощренные ласки могли проникнуть сквозь тяжелейшие преграды, просочиться сквозь самые прочные заслоны, но они же могли мгновенно иссякнуть, сразу, как только удовлетворено желание, могли погибнуть, как неоплодотворенное семя.

Мамбо продолжал источать заботу. Но продолжал все более убеждаться в своем тайном подозрении относительно того, что Сабина ищет только чистого наслаждения. Любит в нем только островитянина, пловца, барабанщика, и что, касаясь его, страстно желая его и принимая его своим телом, она никогда не видит в нем художника, которого он сам более всего ценил в себе, и композитора, сочиняющего музыку, дистиллирующую варварские ритмы его родины.

Он был беглецом со своего острова, жаждущим знания, ищущим полутонов, алчущим тонкого равновесия, которое присутствует в музыке Дебюсси, но рядом с ним лежала Сабина, лихорадочно разрывающая всю эту тонкую красоту своим жарким требованием: «Бей в барабан, Мамбо! Бей в барабан! Играй для меня!»

Сабина тоже, в свою очередь, норовила выскользнуть из этого сжигающего их обоих состояния, спаявшего воедино столь разные личности. Ее тайное «Я» обнажалось и лежало, ничем не прикрытое, в его руках, но теперь ей хотелось вновь спрятаться, потому что она чувствовала в наступившей тишине, как Мамбо покидает ее и при этом молча во всем обвиняет.

Поэтому она заранее, еще до того предполагаемого момента, когда он мог заговорить и ранить ее; обнаженную и открытую, своими словами, заранее, пока он только лежал и составлял свою обвинительную речь, она уже готовилась к своей метаморфозе, чтобы сразу, как надоевшую маску, сбросить с себя ту Сабину, на которую он обрушит свои удары, и, как змея кожу, сбросить то свое «Я», на которое он ополчится, и спокойно сказать: «Это была не я».

И тогда разрушительные слова, обращенные им к той Сабине, которая принадлежала ему, — к примитивной Сабине, — не могли бы ее настигнуть; она уже почти выбралась из зарослей связавшего их желания, и ее сердце уже далеко. Недоступное, защищенное полетом. А все, что осталось, — маскарадный костюм, который валяется на полу бесформенной кучей, а ее уж и

след простыл.

Однажды в одном южноамериканском городе Сабине довелось видеть улицы, разрушенные землетрясением. От домов не осталось ничего, кроме фасадов, как на полотнах Кирико, гранитных фасадов с дверьми и окнами, наполовину сорванными с петель, которые внезапно раскрывались, и тогда можно было увидеть какое-нибудь семейство, сгрудившееся вокруг очага, ночующее под открытым небом, защищенное от чужих взоров лишь одной стеной и дверью, тогда как с других сторон уже не осталось ни стен, ни крыши.

Тут Сабину озарило, что именно такое, не слишком ограниченное пространство и искала она в комнате каждого своего любовника, желая, чтобы и море, и горы вокруг оставались видны, а мир был огражден только с одной стороны. Очаг без крыши и стен, расположенный среди деревьев; пол, сквозь который пробиваются улыбчивые головки полевых цветов; колонна, увитая птичьими гнездами, а вдалеке — храмы, пирамиды и барочные церкви.

Но, увидев четыре стены и кровать в углу, словно прервавшую свой полет, наткнувшись на непреодолимое препятствие, она не чувствовала, как иные странники, что достигла цели своего

путешествия и может снять наконец дорожный костюм. Наоборот, она говорила себе: «Я попала в плен, и поэтому рано или поздно я должна отсюда сбежать».

Никакое место, никто из людей не мог бы выдержать пристального взгляда критических глаз абсолюта, постоянно ощущать себя препятствием на пути к другому — воображаемому — месту или другому человеку, значительно более ценному. В каждой новой комнате ей мерещилась какая-то плесень, и она спрашивала себя: «Неужели я должна здесь жить вечно?» Ей казалось, что все там покрыто плесенью, везде ей мерещилась болезнь, которой нельзя было дать названия, бесконечная зацикленность на этом месте или данной конкретной связи. От этого сама обстановка раньше времени ветшала, затхлость ускоряла процесс старения. Химический луч смерти, концентрирующий время, вселяющий ужас застоя, разрушительный луч, способный действовать со скоростью несколько сотен лет в минуту.

В такой миг она четко осознавала свою злую болезнь, чувствовала, что совершает незримое преступление, в обычной жизни приравниваемое к убийству. Это была ее тайная слабость, которую она считала неизлечимой и которой не

могла дать названия.

Коснувшись источника смерти, она возвращалась к источнику жизни: каковым была для нее только «Жар-птица» Стравинского, которую Сабина считала своей точной автобиографией в музыке. Только там она находила свою потерянную ипостась, свое саморазоблачение.

Едва заслышав первые чувственные шаги оранжевой птицы, словно ложащиеся фосфоресцирующей цепочкой следов среди лесов магнолии, она уже узнавала свои первые ощущения, девичью подкрадывающуюся эмоциональность, сначала лишь ее тень, лишь эхо ее настойчивого присутствия даже в то время, когда она еще не осмеливалась вступить в круг безумной страсти.

Она узнавала первые девичьи вальсы, живопись на стекле, которое может рассыпаться вдребезги от прикосновения теплых рук, ореол лунного сияния вокруг смутно очерченных голов, долгие приготовления к торжествам и, наконец, яростный барабанный бой, объявляющий начало праздника чувств и сердец. Она узнавала свои окрашенные в ярко-малиновый цвет тревожные состояния, свои учащавшие биение пульса подъемы, слышала ветер, пропускавший свои иероглифы сквозь лебединые шеи тромбонов.

А на проволочных телах, машущих любвеобильными руками, встающих на цыпочки на вырывающихся из заточения фиолетовых языках Святого Духа, вспыхивали фейерверки, будто оранжевые крылья Меркурия на торчащих факелах, взметаемые в космос как копья, вспарывающие облака, словно лиловые вульвы ночи.

Сабина провела с Мамбо много вечеров, но они почти никуда не выходили вместе.

В те дни, когда Сабина в полночь решалась вернуться к Алану, ей было не так уж трудно объяснить ему свое позднее возвращение тем, что она провела вечер с подругой; но когда ей хотелось провести с любовником несколько ночей подряд, приходилось говорить, что она отправляется в путешествие, и если в таких случаях Мамбо предлагал ей сходить в кино, конфликт был обеспечен. Она не любила признаваться в том, что не хочет, чтобы ее увидел Алан, что в таких случаях она чувствует себя как ребенок под присмотром или как женщина, за которой следят, тем более что ее отношение к Алану было не чувством женщины, желающей хранить верность или соблюдать лояльность, а чувством подростка, сбегающего из дома для того, чтобы поиграть в запретные игры. Она могла относиться к Алану

лишь как к доброму папочке, который может рассердиться на нее за ложь и наказать. Если ей приходилось вспоминать о правах Алана, она была почти готова признаться Мамбо в разделении своей привязанности между ними. Временами ложь казалась ей лишь сложнейшим приемом защиты, а не величайшим предательством. Иногда ее так и подначивало во всем признаться Алану, но ее останавливало понимание того, что, даже дав ей полное прощение, Алан потребует от нее полностью изменить стиль жизни, а уж это — она прекрасно знала — было абсолютно не в ее власти.

Что касается случаев, когда она соглашалась пойти в кино, то это было для нее рискованной игрой, в которую она все-таки решалась сыграть, и всякий раз, когда Мамбо предлагал ей на выбор два или три фильма, она оценивала не столько фильмы как таковые, а то, в какой части города был сеанс: был ли это фильм в кинотеатре недалеко от дома Алана, на котором он сам мог случайно оказаться, либо шел рядом (а она знала, что Алан достаточно ленив для того, чтобы тащиться на окраину города). Если она ходила в кино с Аланом, то должна была помнить, какие фильмы уже видел Мамбо, а какие он только собирался

посмотреть, и на какие он, как заядлый киноман, мог пойти во второй раз.

Короче говоря, как настоящий игрок, она должна была полагаться исключительно на свое чутье.

Когда она оказывалась в кинотеатре, ее беспокойство лишь возрастало. Она сидела и думала: «А вдруг этот фильм так понравился Алану, что он захотел посмотреть его еще раз? А вдруг какой-нибудь приятель уговорил его пойти прогуляться на окраину города?» Или, наоборот: «А вдруг Мамбо сидит сейчас в этом же зале и видит ее рядом с Аланом, а вдруг он увидит, как она идет вниз по проходу между рядами?» Иногда ее внутреннее беспокойство переходило в нервозность. Иногда ей приходилось сначала посетить туалет, чтобы потом быть в состоянии медленно пройти по проходу, спокойно озирая толпу, и сесть на свое место рядом с Мамбо или Аланом. Это могло на какое-то время унять ее тревогу, если только какой-нибудь эпизод не пробуждал ее заново, например, если в фильме показывали обман, ложную ситуацию, разоблачение. Но больше всего воздействовали на нее шпионские фильмы.

Ибо, наблюдая за жизнью шпионов, она понимала, что напряжение, в котором она живет

постоянно, — это напряжение шпиона. Боязнь выдать себя слишком беспокойным сном или разговорами во сне, необходимость все время следить за своей речью и поведением, постоянно притворяться, мгновенно выдумывать мотивацию своих поступков, молниеносно подыскивать объяснение своему присутствию там или здесь.

Сабина даже думала, что она может предложить свои услуги в качестве шпионки и достичь больших высот в этой профессии.

Я — международная шпионка в доме любви.

Когда внутренняя тревога становилась абсолютно невыносимой, она вдруг превращалась во внешнюю игривость. Возбуждение и риск представали в виде очень тонкой, высокой юмористической игры. Тогда она полностью меняла роль и оказывалась ребенком, сбежавшим из-под надзора и забавляющимся собственной изобретательностью. Тогда она испытывала необходимость в том, чтобы не таить, а хвастаться своими похождениями, расписывая их с шокирующей слушателей беззаботностью. Тревога и юмор взаимозаменяли друг друга. Когда она впадала в игривое настроение, притворство, эскапады и обман казались ей веселыми и изящными способами защиты всех и каждого от жестокости

существования, за которую она не несет никакой ответственности. Ее хитроумные маневры и хорошая актерская игра преследовали, в ее глазах, вполне благородную цель — защиту людей от непереносимой правды.

Но никто из слушателей не разделял ее веселости: в их взглядах она видела осуждение. Ее смех казался им кощунством, насмешкой над тем, что принято считать трагическим. В их глазах ей виделось даже желание посмотреть, как она сорвется с трапеции, на которой балансирует с помощью изящных японских бумажных зонтиков, потому что никто из виновных не имеет права на такую исключительную ловкость, позволяющую балансировать над грубой реальностью жизни, диктующей необходимость выбора согласно существующим табу, запрещающим проживать несколько жизней одновременно. Никто не мог разделить ее иронию, ее игривый настрой в отношении к грубой реальности жизни. Никто не думал аплодировать ей, когда благодаря своей изобретательности она добивалась успеха в борьбе с ограничениями, предъявляемыми жизнью.

И когда она наконец добиралась до высшей точки своего веселья, вершины, вздымавшейся над долинами опасности и бескрайними болотами

вины, все, абсолютно все покидали ее, оставляли ее в одиночестве, оставляли ее непрощенной. Казалось, что они ждут часа, когда она будет сполна наказана за то, что вела жизнь шпионки во многих домах любви, за то, что не показывала никому своего истинного лица, за то, что сумела обмануть всех часовых и пограничников, за то, что пробиралась без паспортов и виз с территории одной любви на территорию другой.

Ибо конец каждого шпиона — бесславная смерть.

В маленьком городе на побережье она стояла на перекрестке и ждала сигнала светофора.

Рядом застыл в ожидании велосипедист. Сабину сразу поразил необычайный блеск его больших глаз. Эти глаза светились влажным серебристым сиянием, почти пугающим, потому что высвечивали тревогу, чуть ли не переходящую в панику. Это расплавленное серебро было неприятно тревожащим, как внезапная вспышка фар, ослепивших и затем полностью исчезнувших в темноте. Ей передалась эта паника, прозрачная дрожащая дымка на драгоценном камне, готовая к тому, что ее засосет внезапно налетевший циклон.

Лишь потом она обратила внимание на изящно

выточенное лицо, маленький нос, на его рот, словно сотворенный мягкостью, никак не связанной с глубинной мятежностью глаз, рот очень юного мужчины, красиво прочерченный на лице, еще не порабощенном страстями, чувствами, еще неизвестными ему, не разъевшими его тело. Его жесты были свободными и стремительными. Это были жесты подростка — подвижного и ясного. И только глаза пламенели.

Он вел велосипед так, словно это была гоночная машина или самолет. Он накатил на нее так, словно не видел перед собой ни деревьев, ни других машин, ни людей, и чуть не пропустил красный сигнал светофора.

Его глаза так сильно подействовали на нее, что она даже попыталась освободиться от наваждения, убеждая себя: «Это просто красивые глаза, страстные глаза; у молодых людей редко встречаются такие страстные глаза. Эти глаза просто более живые, чем у других». Но не успела она закончить эту трезвую мысль, как глубоко сидящий инстинкт шепнул ей: «Он уже повидал такое, чего не видел никто из его сверстников!»

Красный свет сменился зеленым; юноша резко рванул вперед. Сабина еще не успела ступить на бордюр, как юноша внезапно так же резко

затормозил и запыхающимся, неровным голосом спросил ее, как проехать на пляж. Голос — в отличие от загорелой, гладкой, здоровой кожи — вполне соответствовал его глазам.

Он спросил дорогу на пляж таким тоном, словно пляж был убежищем, к которому он спешил, чтобы спрятаться от смертельной опасности.

Он был не красивее многих других юношей, которые ей здесь попадались, но его глаза запали ей в душу и заставили ее взбунтоваться против этого городка. С горькой иронией вспомнила она случай, когда во время экскурсии на развалины древнего города в Гватемале один американец сказал: «Ненавижу развалины, ненавижу тлен, ненавижу могилы». Ибо этот, совсем недавно построенный город на берегу моря был несказанно более застойным и тленным, чем древние руины. Над новенькими, чистенькими домиками здесь висели однообразные, монотонные облака, лужайки были безукоризненными, на садовой мебели — ни единой пылинки. А женщины и мужчины на пляже какие-то плоские, лишенные всякого магнетизма, способного притянуть их друг к другу, настоящие зомби цивилизации — элегантно одетые, но с совершенно мертвыми глазами.

Зачем она здесь? Да, конечно, она ждет Алана, ждет, когда тот закончит свою работу. Алан обещал приехать. А ее гложет тоска по другим краям.

Она шла пешком и внезапно наткнулась на табличку с надписью: «Территория самой дорогой церкви на Лонг-Айленде».

Она пошла дальше. В полночь город был безлюдным. Все сидели по домам в надежде извлечь из заморской бутылки экстракт заморского же веселья.

«Так пьют во время всенощного бдения», — подумала Сабина, заглядывая в бары, где размякшие фигуры сидели, вцепившись в бутылки, наполненные забвением.

В час ночи она стала искать аптеку, чтобы купить снотворное. Все аптеки были закрыты. Она двинулась дальше. К двум часам она уже чувствовала себя полностью измотанной и при этом продолжала возмущаться городом, противившимся тому, чтобы выпустить на улицы карнавал, танцы, фейерверк, оргии гитар и маримба, крики радости, турниры поэтов и галантных кавалеров.

В три часа ночи она поплелась на пляж. Ей хотелось спросить у луны: «Почему ты допустила,

чтобы одна из твоих ночных дочерей потерялась в этом городе, давным-давно лишенном всяких признаков человеческой жизни?»

Рядом с нею остановилась машина, и полицейский — высоченный белокурый ирландец — вежливо обратился к ней:

— Не позволите подвезти вас домой?

— Я не могла заснуть, — объяснила Сабина, — и пошла искать аптеку, чтобы купить снотворное или аспирин. Но все аптеки закрыты. Тогда я начала просто бродить туда-сюда и ждать, пока меня не потянет в сон…

— Что, проблемы с парнем? — спросил он, галантно наклоняя свою белокурую голову с такой чрезвычайной учтивостью, которая дается не выучкой в полицейской школе, а, подобно мужской сексуальной гордости, исходит из более глубокого понимания порядочности.

Но произнесенные им слова оказались настолько неуместными, что помешали ей ответить ему искренне, ибо теперь она боялась наткнуться на еще какой-нибудь детско-юношеский комментарий. Конечно, выглядел он вполне взрослым, но после своей неуклюжей реплики уже таковым не казался. Поэтому она сказала небрежно:

— Я скучаю по своим любимым приморским

местам — Капри, Майорке, югу Франции, Венеции, Итальянской Ривьере, Южной Америке.

— Понимаю, — сказал он. — Я тоже скучал по дому, когда впервые приехал сюда из Ирландии.

— Год назад я танцевала на пляже под пальмами. Исступленно звучала музыка, и волны омывали наши ноги, когда мы танцевали.

— Да, представляю. Как-то мне довелось работать телохранителем у одного богача. Все ночи напролет просиживали в кафе на берегу. Каждая ночь тогда была как Четвертое июля! Садитесь, я отвезу вас к себе домой. Жена и дети спят, но я могу дать вам аспирин.

Она села рядом с ним. Он продолжал вспоминать свою жизнь телохранителя, как колесил со своим богачом по всему свету. При этом машину он вел безукоризненно.

— Я ненавижу этот город! — сказала она с чувством.

Он бесшумно подъехал к аккуратному белому домику и сказал, уходя в дом:

— Подождите здесь.

Вернувшись, он принес стакан воды и две таблетки аспирина. Сабина почувствовала, что нервное напряжение немного отпустило ее. Она послушно взяла из его рук воду и аспирин.

Тут он направил мощный фонарь на какой-то куст, росший в его саду, и сказал:

— Взгляните-ка на это!

Несмотря на ночной мрак, она различила бархатистые цветы с черными сердцевинами и золотыми глазками.

— Что это за цветы? — спросила она из чистой любезности.

— Шаронские розы, — ответил он с самым явным из всех возможных ирландских акцентов. — Они растут только в Ирландии, да еще здесь, на Лонг-Айленде.

Возмущение Сабины почти улеглось. Теперь она испытывала нежность и к шаронским розам, и к готовности полицейского защитить ее, и к его попытке найти замену ее любимым тропическим цветам, предложив ей эту маленькую красоту среди самой обычной ночи.

— Ну, теперь я засну, — сказала она. — Вы можете подбросить меня в Пенни-коттедж?

— О нет, — улыбнулся он, сидя за рулем. — Покатаемся вдоль моря, пока вы действительно не захотите спать так сильно, что уже не сможете с собой совладать. Вы же сами прекрасно понимаете, что не сможете заснуть, пока не найдете здесь что-нибудь, к чему сможете испытать благодар-

ность. Вы не сможете заснуть, пока злитесь.

Она не слишком внимательно слушала его длинные и несвязные истории о том времени, когда он работал телохранителем. Она начала прислушиваться к его словам, лишь, когда он сказал:

— Сегодня для меня вы — уже второй человек, страдающий от ностальгии. До вас мне пришлось повозиться с молодым парнем, летчиком английских Военно-воздушных сил. Он летал всю войну, ушел добровольцем в семнадцать лет. Сейчас его списали на землю, а он не может с этим смириться. Он не может найти себе покоя, ездит на огромной скорости, нарушает все правила дорожного движения. Красный сигнал светофора сводит его с ума. Когда я разобрался, в чем дело, то сразу перестал штрафовать его. Он привык к самолетам. Для него оказаться на земле — это конец. Я понимаю все, что он чувствует.

Она почувствовала, как вместе с ароматом шаронских роз от земли поднимается сонный туман. В небе сияли глаза списанного на землю летчика, еще не привыкшего к мелким масштабам, к сжатым пространствам. Ей виделись и другие люди, тоже пытающиеся отправиться в бесконечный полет. А за ними за всеми, со стака-

ном воды и двумя таблетками аспирина в руках, наблюдает добрый полицейский, высокий, как крестоносцы. Теперь она сможет заснуть, сможет заснуть, сможет добраться до своей постели с помощью его фонаря, которым он посветит на замочную скважину… Его машина так гладко, так тихо покатила прочь, он кивнул ей на прощанье белокурой головой: спи!..

Сабина в телефонной будке. Только что Алан сказал ей, что сегодня не приедет. Сабина почувствовала себя так, словно поскользнулась, упала и сидит теперь на полу, рыдая в одиночестве. Она ответила ему, что вернется в Нью-Йорк, но он попросил ее повременить с отъездом.

В некоторых городах, похожих на древние гробницы, один день тянется как целое столетие. Алан сказал:

— Конечно, ты можешь подождать еще один день. Я приеду завтра. Не веди себя так безрассудно!

Она не могла объяснить ему, что эти правильные лужайки, дорогие церкви, свежий цемент и краска кажутся ей огромной гробницей, но лишенной при этом восхитительных каменных статуй богов, драгоценных украшений, урн с пищей для мертвых и требующих расшифровки

иероглифов.

По телефонным проводам проходят только буквальные послания, не способные передать сокровенные вопли тоски, отчаяния. Как и телеграммы, они передают только последние, конечные удары, прибытия и отъезды, рождения и смерти. Они не могут передать фантазии вроде этой: «Лонг-Айленд — могила, еще один день здесь, и я задохнусь. Аспирин, ирландский полицейский, шаронские розы — слишком слабое средство против этого удушья».

Списанная на землю. Не успела она скатиться на пол, на пол телефонной будки, на дно своего одиночества, как заметила списанного на землю летчика в очереди к телефону. Выйдя из будки, она увидела, что у него был все тот же тоскливый вид, как и в прошлый раз. Очевидно, теперь, когда война кончилась, такой вид будет у него всегда. Но он заулыбался, заметив ее, и сказал:

— Это вы показали мне дорогу на пляж.

— Ну и как, нашли тогда пляж? Понравился он вам?

— На мой вкус, слишком плоский. Я люблю скалы и пальмы. Привык к ним в Индии, где был во время войны.

Война — как совершенно абстрактное поня-

тие — еще не проникла в сознание Сабины. Она воспринимала войну так же, как жаждущие причастия воспринимают религию лишь в форме облатки, положенной им на язык. Война была облаткой, которую положил ей на язык молодой летчик, так внезапно оказавшийся рядом с ней, и она поняла, что если он и делится с ней своим сожалением о плоскости мира, то только для того, чтобы поместить ее прямо в адскую суть войны. Война была его вселенной. Когда он сказал: «Возьмите велосипед, и я покажу вам другой пляж, получше этого, надо только немножко прокатиться», это был не просто побег от загорающих в шезлонгах модниц, игроков в гольф и назойливых пьяниц, приклеенных к барным стойкам, это была поездка в его инферно. Как только они ступили на пляж, он начал говорить:

— Я провел пять лет на войне в качестве хвостового стрелка. Провел пару лет в Индии, потом в Северной Африке, спал в пустыне, несколько раз был подбит, участвовал более чем в сотне вылетов, навидался такого, что не рассказать. Я видел умирающих, которым остается только кричать, так как они не могут выбраться из горящего самолета. Обожженные плечи, руки, превращенные в клешни. Когда меня впервые

послали к месту падения самолета, я узнал этот запах — запах горящей плоти. Сладкий, тошнотворный, не отпускающий тебя много дней. Ты не можешь смыть его с себя, не можешь от него избавиться, он тебя буквально преследует. При этом бывало и весело, мы все время смеялись, много смеялись. Мы иногда тайком приводили проституток и подсовывали их парням, которых интересовали совсем не бабы. Мы пьянствовали по многу дней подряд, пили запойно. Мне нравилась такая жизнь. Мне нравилась Индия. Я хотел бы туда вернуться. А здешняя жизнь, вся эта пустопорожняя болтовня вокруг, все, что эти люди делают, все, о чем они думают, нагоняет на меня тоску. Я любил спать в пустыне. Я видел, как рожает черная женщина. Она работала на полях, таскала землю для строительства нового аэродрома. Она таскала, таскала землю, потом остановилась, родила тут же, под крылом самолета, потом завернула ребенка в какие-то тряпки и снова стала работать. Смешно было видеть рядом этот большой самолет, такой современный, и эту полуголую черную женщину, которая — сразу после родов! — опять взялась за свои ведра и принялась таскать землю на аэродром. Знаешь, из той компании, с которой я начинал летать,

в живых осталось двое. Впрочем, мы любили откалывать всякие номера. Мои приятели всегда предупреждали меня: «Не уходи из армии. Если окажешься на земле, ты — уже конченый человек!» И вдруг меня списывают на землю! В нашей армии якобы слишком много хвостовых стрелков! Я не хотел возвращаться домой. Ну что такое жизнь на гражданке? Годится только для старых дев! Это яма, это скука смертная. Вот взгляни: молодые девчонки хихикают, хихикают без всякой причины. Мальчишки глазеют на меня. Ничего никогда не случается. Они не умеют хохотать и не умеют выть. Они не знают боли, они не умирают. И поэтому они даже не смеются.

Но что-то еще в его глазах оставалось для нее недоступным. Что-то еще повидал он такое, о чем не хотел ей говорить.

— Ты мне нравишься, потому что ненавидишь этот город, и еще потому, что ты не хихикаешь, — сказал он, нежно беря ее за руку.

Они долго, бесконечно, без устали брели вдоль берега, пока и дома, и люди, и ухоженные садики остались у них за спиной, а пляж стал совсем диким, без следов человеческих ног, и только вынесенный морем мусор лежал перед ними, «как разбомбленный музей» (по его выражению).

— Я рад, что нашел женщину, которая может идти со мной в ногу. А еще ты ненавидишь то же, что ненавижу я сам.

Когда они опять сели на велосипеды и покатили домой, он был в приподнятом настроении, его гладкая кожа раскраснелась от солнца и удовольствия. Легкая дрожь тоже куда-то исчезла.

Вокруг было так много светлячков, что они даже бились об их лица.

— В Южной Америке, — заметила Сабина, — женщины носят светлячков в волосах, а те засыпают и гаснут, и тогда женщины вынуждены потереть их, чтобы они проснулись и вновь начали светиться.

Джон засмеялся.

У дверей коттеджа, в котором она жила, он в нерешительности остановился. Он увидел, что это частный дом и какая-то семья просто сдает комнату. Сабина замерла и, стараясь подавить растущую в его глазах панику, лишь смотрела на него широко распахнутыми глазами с бархатными зрачками.

Сильно понизив голос, он сказал:

— Я хотел бы остаться с тобой.

И склонился к ее лицу, чтобы поцеловать ее братским поцелуем, не касаясь губ.

— Ты можешь остаться. Если хочешь.

— Но они услышат меня!

— Ты много, очень много знаешь о войне, — прошептала Сабина. — А я много знаю о мире. Можно войти так, что никто тебя не услышит.

— Неужели?

Но она еще не убедила его. Ей показалось, что недоверие к хозяевам дома, которые могут быть недовольны его появлением, сменилось недоверием к ней, к ее интриганству, которое делало из нее не ведающую сомнений партнершу.

Поэтому она промолчала и жестом показала: «Сдаюсь».

Она побежала к дому, и тогда он догнал, схватил и поцеловал ее почти отчаянно, вонзив нервные пальцы в ее плечи, цепляясь за ее волосы, как утопающий, пытаясь удержать ее голову перед собой, словно она может сбежать из его объятий.

— Можно я пойду с тобой?

— Тогда разуйся, — прошептала она.

Он пошел за ней.

— Моя комната на втором этаже. Ступай одновременно со мной, когда мы будем подниматься по лестнице, а то она очень скрипучая. На слух будет казаться, что идет один человек.

Он улыбнулся.

Когда они добрались до ее комнаты и Сабина закрыла дверь, он огляделся по сторонам с таким видом, словно хотел убедиться, что не попал во вражескую западню.

Его ласки были столь осторожными, что казались лишь дразнящим, еле заметным вызовом, на который она боялась откликнуться из страха, что они исчезнут. Его пальцы дразнили ее и отступали, едва она начинала возбуждаться, его губы дразнили ее и вдруг отстранялись от ее губ, его лицо и тело приближались к ней, волновали в ней каждую клеточку и вдруг ускользали в темноту. То он пытался вжаться теплым худым телом в каждый изгиб и потаенный уголок ее тела, то вдруг замирал и лежал недвижно, оставляя ее в смятении и тревоге. Целуя ее в губы, он уклонялся от ее рук, а когда она откликалась на давление его бедер, сразу отстранялся.

Он не допускал сколько-нибудь долгого слияния ни в одной точке соприкосновения их тел, наслаждался самим объятием, смаковал каждый участок ее тела и затем тут же отдалялся, словно его целью было лишь возбуждение с обязательным последующим избежанием окончательного слияния. Дразнящее, теплое, дрожащее, ускользающее короткое замыкание чувств, таких же

подвижных и беспокойных, как это было в течение всего дня, и теперь, ночью, когда уличные фонари высвечивали его наготу, но скрывали от Сабины его глаза, она была возбуждена до почти невыносимого ожидания наслаждения. Ее тело превратилось в куст шаронских роз, рассыпающих пыльцу, готовых испытать наслаждение.

Он так долго откладывал конец, так долго дразнил ее тело, что когда наконец овладел ею, она была вознаграждена долгими, протяжными, идущими из самой глубины толчками экстаза.

По всему ее телу пробежала дрожь, и она вобрала в себя его волнение, впитала в себя его нежную кожу, его ослепительные глаза.

Но момент экстаза быстро прошел: он отодвинулся от нее и сказал:

— Жизнь — это полет. Полет!

— Но это тоже полет, — сказала Сабина.

Она посмотрела на его тело, вытянувшееся рядом с нею. Он не дрожал больше, и она поняла, что одинока в своем ощущении, что только для нее одной в этом мгновении заключалась вся та скорость, вся та высота, весь тот космос, к которому она так стремилась.

Тут же в темноте он опять начал говорить о горящих самолетах, о том, как находят то, что

еще осталось от живых, об опознании мертвых.

— Некоторые умирают молча, — говорил он. — Стоило заглянуть им в глаза, и ты понимал, что они умирают. Некоторые умирают воя, и тогда ты должен отвернуться и ни в коем случае не смотреть в их глаза. Знаешь, меня сразу предупредили, когда отправляли туда: «Никогда не смотри в глаза умирающих!»

— Но ты смотрел, — сказала Сабина.

— Нет, нет, я не смотрел!

— А я знаю, что смотрел. Это видно по твоим глазам. Ты смотрел в глаза умирающих, хотя, может быть, только в самом начале.

Она ясно представила себе, как он, семнадцатилетний юноша, совсем еще ребенок, с нежной девичьей кожей, тонкими чертами лица, маленьким прямым носом, женским изгибом рта, застенчивым смехом, с такой бесконечной нежностью в лице и теле, смотрит в глаза умирающих.

— Инструктор говорил мне: «Никогда не смотри в глаза умирающих, а то сойдешь с ума». Ты думаешь, я сошел с ума? Он это имел в виду?

— Нет, ты не сошел с ума. Ты глубоко ранен, страшно напуган, ты в полном отчаянии, и ты чувствуешь, что не имеешь права жить и насла-

ждаться, потому что твои друзья уже мертвы, или еще только умирают, или летают еще. Ведь так?

— Я хотел бы быть с ними — пить, летать, видеть новые страны, новые лица, спать в пустыне, чувствовать, что в любой момент можешь умереть и потому должен напиваться быстро, сражаться жестоко, смеяться до упаду. Я хотел бы быть сейчас там, а не здесь, где я веду себя так плохо.

— Ведешь себя плохо?

— А разве то, что мы делаем с тобой, не значит «вести себя плохо»? Ты не сможешь убедить меня, что это не так.

Он выскользнул из постели и оделся. Своими словами он испортил ее приподнятое настроение. Она натянула простыню до самого подбородка и не произносила ни слова.

Но когда он был уже полностью одет и ему оставалось только взять башмаки, он вдруг наклонился над ней и голосом нежного юноши, пытающегося играть роль доброго папочки, спросил:

— Хочешь, чтобы я убаюкал тебя, перед тем как уйти?

— Да, да! — пробормотала Сабина, и ее разочарование стало таять. — Да, — сказала она с

благодарностью, которая была вызвана не его покровительственным жестом, а тем, что она поняла: если бы — в его собственном представлении — он считал ее «плохой», то никогда не стал бы ее «убаюкивать». Ведь никто не будет баюкать «плохую» женщину. И конечно, его жест означал, что, вероятно, им суждено еще встретиться вновь.

Он нежно укутал ее, с аккуратностью, присущей летчикам, и мастерством, выработанным долгим опытом полевой жизни. Она лежала на спине и с благодарностью принимала его заботу, но понимала, что сейчас он так нежно баюкает не ночь наслаждения, не некое абстрактно удовлетворенное тело, а тело, в которое он только что всадил инъекцию яда, убивающего его самого, тело, которое он заставил разделить с ним безумие голода, вины и смерти, мучающее его самого. Он впрыснул в нее инъекцию своей ядовитой вины за то, что еще жив и еще испытывает желание. Он примешивал яд к каждой капле своего наслаждения, добавлял по капле яда в каждый поцелуй, и каждый толчок его чувственного желания был подобен удару ножа, убивающего то, что он возжелал, убивающею с чувством вины.

На следующий день приехал Алан со своей

неизменной улыбкой и неизменно ровным настроением. Также оставалось неизменным и его представление о Сабине. Сабина надеялась, что Алан избавит ее от наваждения, поработившего ее прошедшей ночью, но он был так далек от ее хаотического отчаяния, а его рука, протянутая к ней, и любовь, которую он мог ей предложить, находились слишком в неравном положении с той силой, которая тянула ее вниз.

Ее тело испытало резкий, интенсивный миг наслаждения, но он слился с резким, интенсивным отравлением.

Ей хотелось спасти Джона от искаженного восприятия мира, которое, как она знала, ведет к сумасшествию. Она хотела доказать ему, что его чувство вины ошибочно, а его представление о ней самой и о сексуальном желании как о чем-то «плохом», представление о своем плотском голоде как о чем-то «плохом» является болезнью.

Паника, голод и ужас, таившиеся в его глазах, глубоко проникли в нее. Она желала бы никогда не заглядывать в эти глаза. Она чувствовала острую необходимость освободить его от чувства вины, необходимость спасти его, потому что, по непонятной ей самой причине, она уже потонула вместе с ним в этой вине. Теперь она

хотела спасти и его, и себя. Он отравил ее, перенес свое злосчастье на нее. Если она не спасет его, не изменит его видение мира, то просто свихнется вместе с ним.

Если бы тогда он не остался ее убаюкивать, она бы, наверное, была возмущена им, возненавидела бы его, возненавидела бы его слепоту. Но этот жест нежности смел все ее защитные преграды: Джон был слеп в заблуждении, напуган и нежен, жесток и растерян, и такой же была она — вместе с ним, из-за него, через него.

Она не могла даже смеяться над его навязчивым желанием летать. Самолеты были для него тем же, чем для нее любовные связи, в которых она пыталась найти новые страны, незнакомые лица, забвение, неизведанность, фантазию и волшебную сказку.

Она не могла смеяться над его протестом против того, что его списали на землю. Она понимала это, ведь она сама всякий раз испытывала сходное чувство, когда, получив очередную рану, возвращалась к Алану. Если бы он не стал убаюкивать ее, совсем не как «плохую женщину», а как малое дитя, каким и сам он был в этом ужасающем, безумном мире! Если бы он покинул ее грубо, навесив на нее свой стыд, как это часто бывает,

когда женщинам приходится нести бремя стыда мужчины, позора, который бросают в нее вместо камней, обвиняя в том, что соблазнила и обольстила! Тогда она смогла бы его возненавидеть и забыть. Но оттого, что в тот раз он так заботливо убаюкал, он обязательно должен вернуться. Он не швырнул ей в лицо свой стыд, не крикнул ей: «Ты — плохая!» Никому не придет в голову баюкать «плохую» женщину.

Но потом они случайно встретились, когда она шла куда-то с Аланом, и по одному его взгляду Сабина поняла, что теперь он сможет навесить свой стыд на нее, потому что теперь он подумал: «А ты, оказывается, действительно плохая женщина». Она поняла, что теперь он уже никогда не вернется. Остался только яд, безо всякой надежды на противоядие.

Алан уехал, а Сабина осталась, с надеждой еще раз увидеться с Джоном. Но напрасно искала она его в барах, ресторанах, кинотеатрах, напрасно искала на пляже. Она справилась о нем в том ателье, где он брал напрокат велосипед, и ей ответили: «Мы его не видели, а велосипед все еще у него».

В отчаянии отправилась она в дом, где он снимал комнату. За комнату было заплачено на

целую неделю вперед, но уже три дня он не появлялся, и хозяйка сказала, что беспокоится, потому что отец Джона звонит каждый день.

В последний раз его видели в баре с какими-то людьми, которые увели его в неизвестном направлении.

Сабина подумала: пора вернуться в Нью-Йорк и забыть его. Но перед глазами стояли его страстное лицо и тоскливый взгляд, и поэтому отъезд казался ей чем-то вроде дезертирства.

Иногда воспоминание о подаренном им наслаждении так волновало ее тело, что казалось, будто по венам струится теплая ртуть. Это воспоминание бежало по волнам, когда она плавала в море, и тогда волны казались ей его руками или изгибами его тела в ее руках.

Она убежала от волн — его рук. Но когда легла на теплый песок, ей снова померещилось, будто она лежит на его теле и что не песок, а его сухая кожа и быстрые ускользающие движения перетекают сквозь ее пальцы, перекатываются под ее грудями. Она убежала от песка его ласк.

Когда же она ехала на велосипеде домой, ей казалось, что она мчится с ним наперегонки, что слышит его веселый призыв: быстрей, быстрей, быстрей! — в потоке ветра! Его лицо преследова-

ло ее в полете, а может, она сама преследовала его лицо.

Ночью она подняла лицо к луне, и этот жест пробудил в ней боль, потому что так, именно так поднимала она лицо, чтобы принять его поцелуй, а он обнимал ее лицо ладонями. Теперь она опять приоткрыла губы, чтобы принять его поцелуй, и сомкнула, ощутив пустоту. Она почти закричала от боли, она хотела обратить свой крик к луне, этой глухой, недостижимой богине желания, насмешливо сияющей в пустой ночи, освещающей пустую постель.

Было уже поздно, но она решила пройти еще раз мимо его дома, хотя и боялась увидеть снова пустое, мертвое окно.

Но окно было освещено и открыто!

Сабина встала под окном и прошептала его имя. Она спряталась за кустом, боясь, что кто-нибудь еще в доме услышит ее. Она боялась, что весь мир увидит, как взрослая женщина стоит под окном юнца!

— Джон! Джон!

Он высунулся из окна. Волосы его были спутаны, и даже при свете луны она смогла разглядеть, что его лицо пылает, а глаза подернуты дымкой.

— Кто там? — спросил он своим обычным то-

ном военного, который всегда боится засады.

— Это я, Сабина. Я только хотела узнать… С тобой все в порядке?

— Конечно, все в порядке. Я был в больнице.

— В больнице?

— Приступ малярии, делов-то!

— Малярии?

— Со мной это случается, когда я слишком много выпью…

— Мы увидимся завтра?

Он усмехнулся:

— Мой отец приезжает. Он будет жить со мной.

— Но тогда мы не сможем встретиться! Я лучше вернусь в Нью-Йорк.

— Я позвоню тебе, когда приеду туда.

— Ты не выйдешь, не поцелуешь меня? Не скажешь «Спокойной ночи!»?

Он заколебался:

— Они услышат меня… Отцу скажут…

— Ну, тогда до свидания! Спокойной ночи!

— До свидания! — сказал он с радостным облегчением.

Но она все еще не могла покинуть Лонг-Айленд. Джон словно набросил на нее сеть: этой сетью было и наслаждение, которое она желала испытать

еще раз, и созданный им образ Сабины, от которого она хотела избавиться, и яд, противоядие от которого было ведомо ему одному. Это была сеть общей вины, которую только акт любви мог превратить в нечто иное, чем просто интрижка с незнакомцем, длившаяся одну ночь.

Когда она шла к себе, возвращалась в свою пустую постель, луна насмехалась над ней. Никогда прежде Сабина не обращала внимания на эту широкую ухмылку луны, потешающейся над потребностью в любви, ею же самой и вызванной! Я понимаю его безумие. Почему же он от меня убегает? Я чувствую себя близкой ему, почему же он не чувствует своей близости ко мне? Почему не видит нашего сходства, родства нашего общего безумия? Я хочу невозможного, я все время хочу летать, я разрушаю обыденную жизнь, я бегу навстречу всем тем опасностям, которые несет любовь, так же, как он стремится навстречу опасностям войны. Он убегает прочь, и война кажется ему менее ужасной, чем жизнь…

Ни Джон, ни луна не смогли изгнать из ее души это безумие. Впрочем, ничто не напоминало об этом. Разве что когда ее начинали упрекать в отсутствии интереса к военным сводкам, к газетам, она говорила:

— Я знаю войну. Я знаю все о войне.

— Не похоже, что ты бывала на войне.

(Я спала с войной. Однажды я спала с войной целую ночь. Я получила от войны глубокие раны, такие раны по всему телу, каких вы никогда не получали, боевые ранения, за которые, впрочем, никогда не получу награды!)

В своих бесконечных любовных скитаниях Сабина всегда легко различала эхо больших любовей и прежних сильных страстей. Эти ее большие Любови, особенно те, что не заканчивались естественно, никогда не умирали совсем: они оставляли за собой эхо. Будучи прерваны резко, искусственно, будучи пресечены случаем, они оставались существовать в отдельных фрагментах и тихих нескончаемых отголосках.

Если подобные очертания губ, или чуть похожий голос, или какая-то иная маленькая черта Филиппа или Джона, то есть хоть какое-то смутное физическое сходство вселялось в какого-то другого человека, Сабина мгновенно выделяла его в толпе или среди гостей на вечеринке по тому эротическому отклику, которое пробуждало в ней это сходство.

Эти отголоски касались прежде всего таинственного инструмента чувств, хранящего

ощущения так же, как музыкальный инструмент хранит звук после того, как кто-нибудь коснется его. Тело оставалось восприимчивым к напоминаниям еще долго после того, как сознание констатировало, что произошел явный, окончательный разрыв.

Встретить похожий изгиб губ было достаточно для того, чтобы возродилось прерванное течение ощущений, чтобы вместо прежнего полного восприятия, был воссоздан некий контакт, способный полноценно передать хотя бы часть прежнего экстаза по каналу чувств, пробуждающих вибрации и ощущения, прежде вызванные всеобъемлющей любовью и всепоглощающим желанием целой личности.

Отголоски этих чувств, казалось, лежали на дне реки как осадок, как нечто лишнее, оказавшееся невостребованным изначальным опытом. Смутное сходство могло взбаламутить ил, оставшийся от любви, не выдернутой с корнем и не умершей естественной смертью.

Все, что было вырвано из тела, как из земли, и было грубо отсечено от своего корня, все оставляло после себя такие обманчивые, живые корни, которые скрывались под землей, но были готовы вновь зацвести, пусть и несколько искусствен-

ным способом, с помощью пересадки чувств, были готовы получить новую жизнь с помощью пересадки памяти.

Потеряв Джона, Сабина сохранила внутри себя невидимую музыкальную вибрацию, из-за которой она стала безразличной к мужчинам, непохожим на Джона, и которая заставляла ее мечтать о продолжении, способном утолить прерванную страсть к Джону.

Когда она увидела стройное тело Дональда, тот же маленький нос и голову на длинной шее, эхо прежних яростных эмоций оказалось достаточно сильным для того, чтобы проявиться в виде новой страсти.

Она не стала обращать внимания на различие между ними: на то, что кожа его была более прозрачной, чем у Джона, волосы — более шелковистыми, походка — не порывистой, а скользящей и слегка шаркающей, голос — пассивным, вялым, несколько даже заунывным.

Сначала Сабина думала, что, пародируя птичьи манеры женщин или улыбаясь откровенно кокетливой улыбкой, подражающей затейливой привлекательности венчика цветка, он просто дурачится.

Она снисходительно улыбалась, когда он ло-

жился на кушетку и составлял из своего тела, ног, рук и головы подобие цветочной композиции, словно предлагая ей особое пиршество плоти.

Она смеялась, когда он тянул фразы, как тянут южные вина, или выкидывал внезапные эскапады, как это делают дети, когда хотят разыграть своих слишком самоуверенных отцов или излишне заботливых и нежных матерей.

Когда Сабина переходила через улицу, ее вдохновляла галантная улыбка полицейского, который ради нее останавливал уличное движение; она черпала желание из жеста человека, толкавшего перед ней крутящуюся дверь, она подпитывалась восхищением аптекаря, спрашивающего у нее: «Вы актриса?» Она принимала букет цветов от продавца обуви, который, примеряя ей туфельки, спрашивал: «Вы танцовщица?» Садясь в автобус, она подставляла лицо солнечным лучам с таким ощущением, будто солнце наносит ей личный, интимный визит. Она с юмором и пониманием относилась к водителям грузовиков, которые резко нажимали на тормоза, когда она внезапно возникала перед их колесами, но при этом улыбались, потому что это была Сабина, и они радовались просто тому, что увидели, как ока переходит улицу.

Но она относилась к этому как к подпитке женственности, вроде цветочной пыльцы. К ее удивлению, когда Дональд шел рядом с нею, он всегда считал, что знаки внимания предназначены именно ему.

Он переходил, как ей казалось, от одной маски к другой; то, надувая легкие, изображал важного полисмена, то, вихляя бедрами, принимался копировать идущую впереди женщину.

Сабина все еще смеялась, но иногда думала о том, когда же кончатся розыгрыши и появится настоящий Дональд.

Сидя напротив нее за столиком ресторана, он делал заказ нарочито жестким голосом делового человека, а с продавщицей говорил так строго и формально, словно он — государственный чиновник, у которого нет времени на учтивость. Он высмеивал женщин за их частые приступы безрассудства, совершенно точно воспроизводя их капризы и пародируя их непостоянство, и комментировал тончайшие нюансы моды с таким знанием дела, до которого Сабине было далеко. Он заставил ее усомниться в ее собственной женственности, продемонстрировав куда большую тонкость в своих миниатюрных увлечениях. Его любовь к маленьким розам, к изящным драго-

ценностям казалась куда более женственной, чем ее любовь к варварским тяжелым ожерельям и ее неприязнь к маленьким цветочкам и пастельно-голубым детским платьицам.

Она надеялась, что когда-нибудь он перестанет наконец дурачиться, распрямится во весь рост и посмеется вместе с ней над нелепостью собственных нарядов — рубашкой цвета ее платья, вычурными часами, дамским кошельком или выкрашенной в серебристо-серый цвет прядью в юных блестящих волосах.

Но он продолжал фиглярствовать, пародировать все подряд. Помимо всего прочего, он владел наиболее полной коллекцией женских отклонений. Правда, в этой галерее портретов не было Жанны д'Арк и других героических женщин, не было мадам Кюри и прочих научных дам, не было разных там Флоренс Найтингейл и Амелий Эрхартс, женщин-хирургов, терапевтов, художниц, не было жен — сотрудниц своих мужей. Его музей женских восковых фигур представлял собой бесконечную череду легкомыслия и предательства.

— Где ты отыскал таких омерзительных женщин? — спросила она и вдруг почувствовала, что больше не может смеяться: пародия была проявлением ненависти.

В его мягкости и крылось его величайшее предательство. Его податливость и кротость убаюкивали женщину, а он лишь только собирал материал для будущих сатирических представлений. Он всегда смотрел снизу вверх, глазами ребенка, взирающего на монументальные фигуры родителей. Как уменьшить этих злобных великанов? Только с помощью самой изощренной карикатуры. Мать, его мать, вся в мехах и перьях, была постоянно занята разными ничтожными людьми, в то время как ее сын рыдал от одиночества и в одиночку сражался с ночными кошмарами. Она танцевала, флиртовала, капризничала и кружилась безо всякого внимания к его печалям. В самом ее голосе таились ужасающие противоречия. Этим голосом ему читались волшебные сказки, но когда он, поверив этим сказкам, мечтал построить свою жизнь по их образцу и подобию, этот же самый голос, изрекая слова, звучавшие для него хуже, чем пощечина, захлопнутая дверь или угроза ужина без десерта, вдруг окатывал его желания, мечты и надежды ушатом соляной кислоты.

И вот теперь, оказавшись с ним, Сабина надеялась, что сможет разрушить образ «разъедающей» матери своим собственным, прямо противопо-

ложным поведением, пристальным вниманием к его тайным желаниям, отказом от танцев и флирта с другими, от собственного нытья, фокусированием на нем одном яркого прожектора своего сердца. Но все равно она словно двоилась в его глазах, и всегда рядом с Сабиной мерещилась ему другая женщина, его мать, навсегда включенная в вечный треугольник, в ménage-à-trois[16], в котором фигура матери часто стояла между ними, перехватывая любовь, которой так жаждала Сабина, переводившая ее послания Дональду словами, повторяющими прежние разочарования, прежние предательства, обнажающими все грехи матери перед ним.

Он опустился перед ней на колено, чтобы расшнуровать ее сандалии, но начал делать это не с осторожностью влюбленного, а с осторожностью ребенка, оказавшегося у ног статуи, ребенка, желающего одевать и наряжать женщину совсем не для того, чтобы обладать ею. В восхищении ею сказалась его любовь к атласу, перьям, драгоценным безделушкам и украшениям, и его ласка относилась не к ступням Сабины, а к окружению всего того, чего он мог касаться, не нарушая абсо-

---

[16] Примечания: 16
Любовь втроем *(фр.).*

лютного табу прикосновения к телу матери.

Ведь он мог касаться драпирующих шелков, струящихся волос, цветов на ее платье. Вдруг он поднял лицо и посмотрел на нее с выражением слепца, который внезапно прозрел:

— Сабина! Когда я дотронулся до твоей сандалии, я испытал шок во всем теле. Меня словно током ударило!

А потом так же быстро его лицо затуманилось тусклым светом уже отфильтрованных эмоций, и он вернулся в свою нейтральную зону: очень раннее, до-мужское, абсолютное знание женщины, косвенное, обволакивающее, не допускающее ни малейшего проникновения эротических чувств. Легкие касания, шелковое сияние, почтительное выражение глаз, прикосновение к ее мизинцу или рукаву… Но никогда не опускал он всю ладонь на ее голое плечо, всегда избегал настоящего касания. Легкие волны, слабые ручейки — это все, что перетекало от него к ней.

Электрошок оказался бессилен перед его сознанием.

Коснувшись ее голой ступни, он почувствовал единение, напоминающее самое первое единение, которое человек испытывает в мире, — единение с матерью, самое раннее воспоминание

о существовании в шелковом тепле и уюте безграничной любви. Когда он прикоснулся к ее ступне, было словно уничтожено мертвое пространство, бескрайняя пустыня, пролегавшая между ним и остальными людьми, пустыня, заросшая колючими растениями, обеспечивающими его защиту, всевозможными кактусами эмоциональных репеллентов, и эти заросли оказывались совершенно непроходимыми, даже если ему приходилось лежать рядом с другими юношами, соприкасаясь с ними телами. Это были чувственные акты, во время которых он никогда не испытывал неожиданного слияния, подобного только что произошедшему между ее голой ступней и его руками, между ее сердцем и его тайным стержнем. Сердцем Сабины, которое, как он был уверен, всегда стремилось к побегу, и его собственным тайным стержнем, который он до сих пор осознавал только как кристаллическую основу тела молодого мужчины и который в ее присутствии оказался таким мягким и уязвимым.

В этот единый миг он осознал все свои слабости, свою зависимость, свою нужду. Чем ближе к нему оказывалась Сабина, чем более укрупнялось, приближаясь, ее лицо, когда она склонялась над ним,

чем ярче и теплее, ближе и ближе становились ее глаза, тем больше таяла его враждебность.

Как ужасно сладко было обнажиться в ее присутствии. Как и во всех тропических климатах любви, его кожа смягчилась, волоски на коже стали более шелковистыми, а скрученные, как острая проволока, нервы расслабились. Все напряжение притворства исчезло. Он почувствовал, что становится меньше. Возвращается в свое естественное состояние. Он, словно в волшебной сказке, безболезненно для себя сжался до такого состояния, что смог проникнуть в ее сердце, как в укрытие, отказавшись от попыток доказать свою взрослость. Но одновременно вернулись другие инфантильные настроения — агонизирующая беспомощность, ранняя беззащитность, страстное желание полностью зависеть от других.

Ему было необходимо пресечь вторжение тепла, парализующего его волю и праведный гнев, остановить процесс растворения одного существа в другом, сходный с тем, что уже происходил у него когда-то с матерью и был жестоко прерван по вине ее непостоянства и легкомыслия, отчего он испытал крайне болезненное потрясение. Ему было необходимо уничтожить этот поток тепла, поглощающий его, топящий его в себе,

как в море.

Ее тело было потиром, дароносицей, прибежищем теней. Серое хлопчатобумажное платье складками спускалось к ее ногам, и золотая пыль тайны лежала меж струящихся ручейков ткани, маня путешествием по нескончаемым лабиринтам, в которых его мужская суть должна была попасть в ловушку, должна была попасть в плен.

Он отпустил ее босую ногу и резко встал. Он вернулся в свое прежнее состояние. К своим подростковым розыгрышам. Мягкость опять обратилась в угловатость, а рука, протянутая к ее плащу, повисла, словно отрезанная от остального тела. Он продолжал следовать за нею, нести ее плащ, окутывал ее благовониями своих слов. Он садился в отдалении, но всегда достаточно близко для того, чтобы продолжать купаться в тепле, исходящем от ее тела, всегда на расстоянии вытянутой руки, всегда с расстегнутой на шее рубашкой, словно провоцируя ее коснуться его рукой, но рот его был страшно далеко. Он носил на запястье чудесные браслеты, и она могла сколько угодно любоваться его запястьем, но тело его было страшно далеко.

Эта пространственная отстраненность была для нее продолжением ласк Джона, эхом его

дразнящих прикосновений. Мучительная ночь, проведенная в поисках источников наслаждения, но с избеганием любых возможностей опасного слияния тел в некое подобие брака. Из-за этого в душе Сабины появилось схожее тревожное ожидание: все ее эротические нервы напряглись и начали метать в пространство пустые, напрасные искры.

Она считала его розыгрыши ревнивой детской попыткой имитировать взрослость, коли уж не можешь до нее дорасти.

— Ты грустишь, Сабина, — сказал он, — пойдем со мной. У меня для тебя есть кое-что интересное.

И, словно поднимаясь вместе с ней в гироскопе своих фантазий, он повел ее посмотреть свою коллекцию пустых клеток.

Клетки заполняли всю комнату. Бамбуковые клетки с Филиппин, позолоченные, причудливые клетки из Персии, клетки в форме шатров, клетки, похожие на миниатюрные кирпичные домики, клетки, имитирующие африканские хижины с крышами из пальмовых листьев. Некоторые из клеток он собственноручно украсил средневековыми стеночками и башенками, вычурными трапециями и лесенками, разместил

там зеркальные ванночки и даже миниатюрные джунгли, желая придать этим тюрьмам и их живым или механическим пленницам иллюзию полной свободы.

— Я предпочитаю, чтобы клетки оставались пустыми, Сабина, пока не найду ту единственную птицу, которую однажды видел во сне.

Сабина поставила на граммофон «Жар-птицу». И вот издалека послышались шаги Жар-птицы, и с каждым шагом из-под земли вырывались фосфоресцирующие искры, каждая нота была звучанием золотой фанфары, извещающей о торжественном приближении наслаждения. Хлещущие с эротической насмешкой заросли драконьих хвостов, курильница поклонников горящей плоти, бесчисленные осколки расцвеченных стеклянных фонтанов желания.

Она сняла иглу с пластинки, резко оборвав музыку на полуноте.

— Зачем? Зачем? — закричал Дональд, словно раненый.

Сабина заставила жар-птиц желания замолкнуть и сама распахнула руки, как крылья, — пусть и не огненно-рыжего цвета. Дональд кинулся в это покровительственное объятие. Теперь он обнимал именно ту Сабину, в которой нуждал-

ся, — кормилицу, исполнительницу обещаний, умеющую штопать и вязать, обеспечить бытовые удобства и утешение, теплые одеяла и уверенность в себе, обогреватели и лекарства, приворотные зелья и эшафоты.

— Ты — Жар-птица, Сабина. Поэтому мои клетки и были пустыми, пока ты не появилась. Это тебя я хотел поймать.

И потом с мягкой, уступчивой нежностью в голосе добавил, опустив ресницы:

— Я знаю, мне ничем тебя не удержать, ничем не остановить.

Ее груди уже не горели огнем, они стали грудями матери, сочащимися молоком. Она бросила всех своих любовников для того, чтобы дать Дональду то, в чем он так отчаянно нуждался. Она чувствовала: «Я женщина. Я теплая, нежная, кормящая. Я не бесплодная, я хорошая».

Вот какое умиротворение снизошло на нее, когда она оказалась в роли женщины-матери. Скромная, но тяжелая обязанность быть такой матерью, какой она запомнила свою мать еще с самого раннего детства.

Хаотические, торопливые записочки, в которых Дональд сообщал ей, где находится и когда вернется, всегда кончались словами: «Ты — чу-

десная. Ты чудесная и хорошая. Ты благородная и добрая».

И эти слова снимали ее беспокойство куда лучше, чем чувственное удовлетворение; они охлаждали пылающий в ней жар.

Она гасила в себе всех других своих Сабин, веря, что гасит свое привычное беспокойство. С каждым днем ее платья становились все более бесцветными, а походка — все менее животной. Как будто бы она попала в тюрьму, где ее сверкающий плюмаж вдруг начал тускнеть. Она чувствовала происходящие с ней метаморфозы. Она знала, что приобретает новую форму. Но не знала, что, меняясь в эту сторону, она теряет себя на потребу Дональду.

Однажды, поднимаясь по лестнице с наполненной продуктами корзиной, она вдруг увидела свой смутный силуэт в тусклом зеркале и была поражена разительным сходством со своей матерью.

Поймав ее, как Жар-птицу, в сеть своей фантазии и обесцветив при этом ее огненный плюмаж лишением эротического воздуха, Дональд не только удовлетворил свою потребность, но и застоял ее слиться с образом ее собственной матери, бывшей для нее образом Добра: матери-

раздатчицы пищи и утешения, мягкой, теплой, плодоносящей.

На зеркальной поверхности витража слоено явилась тень ее матери, несущей продукты, одетой в скромное платье самоотречения, тусклое одеяние самопожертвования, внешнюю униформу доброты.

В этом царстве, царстве матери, ей открылась возможность на миг ускользнуть от своей вины.

Теперь она знала, что для того, чтобы избавить Дональда от ощущения собственной малости и малости того, что он дает ей, она должна сказать ему:

— Дональд, Дональд! Ты дал мне нечто, чего никто другой не мог мне дать, ты подарил мне мою невинность! Благодаря тебе я снова научилась успокаиваться, как умела, только будучи маленьким ребенком. Я была не намного младше, чем ты сейчас, когда после многих-многих дней наркотической поглощенности чтением, играми, фантазиями о других людях, страстными дружбами, дней, проведенных вдали от родительских глаз, после всех моих побегов и всего прочего, что считалось дурными поступками, я вдруг обнаружила, что, помогая матери по дому, готовя еду, чиня одежду, занимаясь уборкой и

чисткой и делая всю ту работу, которую я больше всего ненавидела, я могла наконец утолить свой голод и успокоить мучавшее меня сознание. В том, что ты остался ребенком, Дональд, нет никакого преступления. Помнишь, во многих старых сказках взрослым героям приходится иногда превращаться в коротышек: как, например, Алиса уменьшилась для того, чтобы заново испытать детство. Это ведь мы, остальные люди, — настоящие притворщики. Мы притворяемся, что мы большие и сильные. А ты просто не можешь притворяться.

Как-то, войдя в его комнату, она увидела на столике письмо. Однажды, когда он находился в ершистом настроении, она сказала: «Отрочество похоже на кактус». А он ответил: «Когда-нибудь я напишу тебе письмо кактусовым молоком».

И вот теперь оно, это письмо, лежало перед ней!

Письмо актрисе: «Из того, что ты сказала мне этой ночью, я понял, что ты не осознаешь до конца своей власти. Мне кажется, что ты — личность, осуществляющая себя в любви и самоотдаче, но не ведающая о тех чудесах, которые этим порождаются. Вчера вечером, когда я увидел тебя в роли Золушки, я почувствовал, что ты сливаешься с

любой ролью, которую играешь, что ты достигла уровня, когда искусство и жизнь соединяются и существует только БЫТИЕ. Я почувствовал твой голод и твои мечты, твои сожаления и желания в тот момент, когда ты пробудила все это во мне. Я почувствовал, что ты не играешь, а мечтаешь. Я почувствовал, что, так же как и я, любой из зрителей, видевших тебя в этом спектакле, мог выйти из театра и безо всякого перехода волшебным образом оказаться на другом балу, посреди другой бури, в другой любви, другом сне. Перед нашими глазами стояла ты, поглощенная любовью и мечтой о любви. Горение твоих очей, пламенность жестов, костер веры и растворения. Да, у тебя есть власть. Никогда больше не используй слово „эксгибиционизм“. Для тебя игра на сцене — это самораскрытие. Ты можешь сказать то, что душа чаще всего не может выразить с помощью тела, ибо тело — недостаточно тонкая материя. Тело обычно предает душу. У тебя есть способность заражать других своим состоянием, передавать эмоцию с помощью бесконечных полутонов движений, бесчисленных вариаций изгиба губ, дрожания пушистых ресниц. А твой голос, твой голос более, чем чей-либо другой, связан и с твоим дыханием, и с бездыханностью чувства, отчего

ты способна даже забрать чье-то чужое дыхание и унести с собой в царство бездыханности и молчания. Такова твоя огромная власть, Сабина!

А боль, которую ты испытывала после, была не болью неудачи, а следствием твоего, как ты говоришь, эксгибиционизма. Это, должно быть, была боль от того, что ты обнажила такую огромную часть своего духа, как это бывает при великих мистических проявлениях сострадания, любви и тайной иллюзии, что ожидала от всех, с кем ты вступила в такого рода контакт, ответной реакции, как это бывает при совершении магических ритуалов. Для тебя, вероятно, бывало настоящим потрясением, когда этого не происходило с твоими зрителями и они оставались безучастными. Но тем, кто смог ответить тебе, как это сделал я, ты представляешься не просто актрисой, способной передать другим силу своего чувства или веры. Для меня происходившее на сцене было равно чуду. Среди всех актеров на сцене одна ты казалась живой. Тебе было по-настоящему больно, для тебя это не было игрой, и поэтому, когда спектакль кончился, разбилась мечта. Ты должна быть как-то защищена от этого жестокого перехода. Тебя нужно утаскивать со сцены, чтобы ты не могла ощутить изменение уровня,

утаскивать со сцены на улицу, с улицы домой, а оттуда — на какой-нибудь вечерний прием, утаскивать к другой любви, к другой буре, к другой паре хрустальных башмачков.

Надо обладать огромной смелостью для того, чтобы давать многим то, что обычно дают только одному — своему возлюбленному. Голос, измененный любовью и страстью, улыбку открытой, обнаженной нежности. Нам позволено быть свидетелями полного обнажения чувств: нежности, ярости, слабости, раскованности, детскости, страха, всего того, что обыкновенно мы раскрываем только перед тем единственным, кого любим. Вот почему мы любим актрис. Они дают нам интимное переживание, обычно возможное только во время любовного соития. Мы получаем от них все сокровища — ласковый взгляд, интимный жест, тайные модуляции голоса. Эта открытость, исчезающая, едва мы вступаем в частичные отношения с тем, кто понимает только какую-то часть в нас, является чудесной открытостью, которая обычно случается только при всепоглощающей любви. То, что я видел своими глазами на сцене, эта мистерия абсолютной любви, в реальной жизни скрыто от меня. Теперь, Сабина, мне невыносимы мелкие любвишки, и в то же время я не

могу требовать, чтобы ты отдалась мне целиком. Каждый день я вижу тебя, такую могучую, совершенную, и осознаю, что я — всего-навсего жалкая, гонимая ветром былинка…»

Сабина коснулась письма, упавшего ей на грудь. Острые углы бумаги чуть царапали ее нежную кожу. «Что я могу тебе дать?» — спрашивал он. «Что я должен тебе дать?» — кричал он в исступлении, думая, что нашел причину того, что не видел ее и ничего не слышал о ней вот уже три дня. А однажды он сказал ей игривым тоном: «Все, что я могу, это только покусать тебя!» И вонзил свои маленькие, ровные зубки в ее плечо.

Когда она смотрела, как танцовщики порхают над сценой, ей вспоминался крошечный японский зонтик из цветной бумаги, который когда-то она любила втыкать в прическу. Он был очень красивым, изящным. Когда начинался дождь и люди раскрывали большие зонты, для Сабины наступало время закрыть свой зонтик.

Но потом сильный порыв ветра порвал его, и тогда Сабина отправилась в Чайна-таун, чтобы купить новый зонтик. Но китаянка, хозяйка лавки, грубо закричала: «Это японская вещь! Швырните его в сточную канаву!»

Сабина посмотрела на зонтик, такой невинный

и хрупкий, сделанный в мирное время мечтавшим о мире мастером, похожий на цветок, который легче войны и ненависти. Она вышла из лавки и бросила взгляд на сточную канаву. Она не захотела выбросить зонтик и аккуратно сложила его, сложила эти изящные сады, эту хрупкую модель мечты, мечты мастера о мире, невинную музыку невинного мастера, чьи руки умели производить на свет нечто совсем иное, чем пули.

Во время войны ненависть смешала все ценности, обрушилась на храмы, картины, музыку, редкие книги, невинных детей и случайных прохожих.

Она сложила письмо, как когда-то сложила зонтик, и убрала его подальше от ненависти и насилия. Она не могла идти в ногу с яростным ритмом всего света. Она существовала в своем замкнутом пространстве, противостоящем войне. Есть истины, которые обязаны защищать женщины, если их мужчины ушли на войну. Когда все на свете может быть сорвано и сметено с лица земли, бумажный зонтик должен поднять над руинами свою головку и напомнить мужчине о мире и нежности.

Алан всегда полагал, что, водя Сабину в театр,

доставляет ей удовольствие. И действительно, поначалу ее лицо светилось тревожным ожиданием и любопытством. Но потом она неизбежно начинала нервничать, становилась беспокойной, впадала в хаотичное, расстроенное состояние. Порой она даже тихо плакала в темноте, а иногда уходила в антракте, чтобы никому не показывать своего измятого лица.

— Ну что ты, что ты? — терпеливо повторял Алан, подозревая ее в зависти или ревности к актерам, которые получили роли, а она — нет. — Ты могла бы быть самой замечательной актрисой нашего времени, если бы захотела посвятить этому всю свою жизнь. Но ты не выносишь ни дисциплины, ни однообразия!

— Нет, дело совсем не в этом, совсем не в этом, — только и могла ответить Сабина.

Кому могла она объяснить, что завидует тому, с какой легкостью другие актеры умеют выходить из роли, смывать ее с себя после представления, становиться снова самими собой! Она бы тоже хотела, как по сигналу, прекращать метаморфозы, происходящие с нею на сцене, и становиться снова собой — постоянной и неизменной Сабиной.

Но когда она хотела выйти из роли, стать опять собой, та, новая Сабина чувствовала себя жестоко

преданной и не только противилась перемене, но и сердилась на нее. Если в отношениях с мужчиной она принимала какую-то роль, ее совершенно невозможно было изменить. И даже если это удавалось и наступало время возвращения к изначальной Сабине, где было ее отыскать? Если она бунтовала против той роли, которую навязал ей Дональд, если она снова включала запись «Жар-птицы», чтобы услышать этот барабанный бой чувств в языках пламени, и если она отрицала в себе свою мать, значило ли это все равно, что она возвращается к настоящей Сабине?

Когда она вновь и вновь ставила иглу на пластинку и вызывала в памяти свою первую встречу с желанием, разве не ее отец шел в этот миг рядом, направляя ее шаги? Ее отец, который, поев вкусной еды, приготовленной умелыми мамиными руками, надев рубашку, которую она ему только что выгладила, поцеловав ее не слишком красивый лоб, еще влажный от пара после глажки, и позволив ее натруженным рукам завязать себе галстук, отправлялся прочь и от матери, и от Сабины на свою тщеславную прогулку по соседним улицам, где все были наслышаны о его красоте и о его похождениях.

Как часто случалось, что какая-то надушенная,

накрашенная женщина останавливала ее на улице, целовала, гладила ее длинные волосы и восклицала: «Ты — Сабина! Ты — его дочь! Я так хорошо знаю твоего папу!» Не сами слова, а интимный взгляд, будуарный тон голоса волновали Сабину. После знакомства с ее отцом в глазах женщин появлялись неведомые доселе искры, признак тайных удовольствий. Даже в самом юном возрасте умела Сабина читать эти послания. Сабина была дочерью удовольствия, порожденной его любовным гением, и они ласкали ее как еще одно проявление ритуала, который она чувствовала и от которого ее мать была отстранена навеки.

«Я так хорошо знала твоего папу!» Вызывающе посверкивая лодыжками, эти красивые женщины в накрахмаленных нижних юбках склонялись к ней, полной ненависти к их духам, запах которых был для нее невыносимым. Сабине хотелось наказать своего отца за все эти унижения, за эту десакрализацию бесконечных летних вечерних прогулок, дававшую этим женщинам право восхищаться ею как еще одной из его женщин. А еще она злилась на мать за то, что та не злится, а даже собирает и одевает его для этих бесцеремонных красоток.

Кто же сейчас ревностно исполнял эти ритуалы удовольствия — сама Сабина или ее отец в ней, его кровь, подогревающая ее сластолюбие, бросающая ее в приключения? Отец, нерасторжимо связанный с ней нитями родства, от которых она так и не смогла освободиться и узнать, где же она, Сабина, а где ее отец, чью роль она усвоила с помощью алхимии подражательной любви.

Где же была сама Сабина?

Она взглянула на небо и увидела там в плывущих облаках лицо Джона. Его очарование медленно таяло, как дым от небесных погребальных кострищ. Она увидела мягкое ночное свечение глаз Мамбо, словно упрекающих ее: «Ты не любишь меня» и все приближающихся, приближающихся к ней. Она увидела склоняющегося над ней Филиппа, смеющегося, как завоеватель. Но и его очарование тоже таяло, заслоняемое задумчивым, отстраненным лицом Алана. Небо было подобно теплому одеялу, с которого ей сияли их глаза и улыбки, воздух был наполнен их голосами, хриплыми от любовного спазма, нежными от благодарности, робкими от сомнения. И она испугалась, что Сабины — нет, то есть нет ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ Сабины, а есть множество Сабин, лежащих ничком, отдающих-

ся, расчленяемых, раздираемых, распинаемых, как звезда, во все стороны. Маленькая, слабая в самой своей сердцевине Сабина, которую уносят волны раздрая. Она смотрела на небо, подымающееся аркой над ее головой. Но это небо не было ее защитником, не было куполом храма. Небо — не небеса, а бескрайняя ширь, к которой нельзя прильнуть. И она заплакала: «О кто-нибудь! Возьми меня! Удержи меня, и я перестану бегать от одной любви к другой, разбрасывающей меня, разрывающей меня! Удержи меня, чтобы я осталась только с тобой!»

Наступил рассвет, а она все еще глядела из окна, лежа грудью на подоконнике, и надеялась высмотреть то, чем ей так и не удалось завладеть. Она провожала уходящую ночь и случайных прохожих острым взглядом путешественника, которому никогда не достичь своего причала так, как в конце каждого дня достигают своих мирных причалов обычные люди, приемлющие остановки, пустыни и небеса, поскольку ей это было недоступно.

Сабина чувствовала себя потерянной.

Безумный компас, колебаниям стрелки которого она всегда следовала и который показывал не направление, а смятение чувств и порыв, внезап-

но сломался, и теперь она не знала, как получить избавление от своих приливов и отливов, от своей разбитости.

Она чувствовала себя потерянной. Наступивший разлад оказался слишком тяжелым, он слишком затянулся. Ее запутанный мир словно пронзило копьем боли. Раньше она всегда двигалась так быстро, что любая боль мгновенно исчезала, как бы протекая сквозь решето, оставляя за собой печаль легкую, почти детскую, скоро забываемую, вытесняемую новой забавой. Она никогда не могла остановиться.

Даже ее плащ, бывший не просто плащом, а парусом, выразителем ее чувств, которые она швыряла навстречу всем ветрам в надежде, что они будут подхвачены и унесены, теперь находился в полном спокойствии.

И так же спокойно было теперь ее платье.

Как будто схватить, поднять, закрутить ту, которой она теперь стала, ветру было уже не под силу.

Для Сабины спокойствие означало смерть.

Тревога проникла в ее тело, но не желала бежать по артериям. Серебристые дырочки того решета, через которые с самого рождения Сабина привыкла просеивать свои печали, внезапно

забились. Отныне боль была заперта внутри нее, не могла вырваться наружу.

Она потеряла себя где-то на границе, лежащей между ее масками, выдуманными историями, фантазиями — и между нею настоящей. Теперь пограничные линии стерлись, дороги затерялись. Она вступила в область чистого хаоса, но это был не тот хаос, в котором несутся галопом романтичные всадники в операх и легендах, а хаос, внезапно обнаживший сценический реквизит вроде коня из папье-маше.

Она потеряла паруса, плащ, коня, семимильные сапоги. Все свои сокровища потеряла в одно мгновение. Беспомощная, она оказалась такой одинокой в сумерках зимнего дня.

Потом, как будто вся энергия и тепло впервые оказались загнаны вовнутрь, отчего ее внешняя оболочка начала умирать, зрение и слух притупляться, нёбо и язык разбухать, а движения тела замедляться, она вдруг почувствовала страшный холод и задрожала, как листок на дереве, впервые почувствовав, как некоторые из ее собственных, уже отсохших листьев отрываются от нее самой.

Когда она вошла в ночной клуб Мамбо и заметила на стенах новые картины, ей вдруг показалось, что она опять в Париже, как семь лет назад, когда

она впервые встретила на Монпарнасе Джея.

Она узнала его картины мгновенно.

Сейчас, как и тогда, на парижских полотнах, на ее тело и чувства словно воздействовали научными методами расщепления атома. Фигуры взрывались и разрывались на отдельные части, как мозаика, и каждый кусочек отлетал достаточно далеко для того, чтобы казаться уже не воссоединяемым с другими, и в то же время недостаточно для того, чтобы совсем отпасть от других. Из этих фрагментов, которые поле невидимого напряжения удерживало от полного рассеивания в пространстве, усилием воображения можно было полностью восстановить человеческую фигуру на портрете. Глубинным спазматическим усилием они еще могли воссоединиться и принять форму женского тела.

Нет, живопись Джея не изменилась. Изменилась Сабина — и впервые смогла понять, что означают его картины. В этот миг она смогла увидеть точный портрет самой себя — той, какой она себя ощущала.

Действительно ли он изобразил Сабину, или что-то случилось со всеми ними, как это происходит в химии, в науке? Ведь уже найдены все разъедающие кислоты, все способы разложения,

все алхимические вещества разлучения.

Но когда художник показывал то, что творится внутри тела человека и его эмоций, его начинали морить голодом или давали ему расписывать витрины магазинов на Пятой авеню, где он изображал Paris la Nuit[17] на заднем фоне, позволяя модельерам демонстрировать шляпки, туфельки, сумочки и перчатки, плывущие в воздухе и ждущие того момента, когда они воссоединятся на какой-нибудь одной — целой — женщине.

Теперь она стояла перед картинами и видела в них мельчайшие осколки своих поступков, которые казались ей неважными, но оставили почти незаметные порезы, понемногу разрушающие ее личность. Какой-нибудь незначительный поступок, например поцелуй, подаренный на вечеринке какому-нибудь юноше за одно только сходство с утраченным ею Джоном, или рука, протянутая в такси мужчине, к которому она ничего не испытывала, но не могла стерпеть того, что он тянется не к ее лежащей на колене руке, а к руке другой женщины, что казалось ей оскорблением, нанесенным ее власти обольстительницы. Или слово похвалы художнику по поводу картины,

---

[17] Примечания: 17
Ночной Париж *(фр.).*

которая ей совсем не нравилась, но которое она произнесла лишь из опасения, что художник скажет: «Сабина? Да Сабина ничего не смыслит в живописи?»

Все эти мелкие случаи неискренности просачивались, как ручейки невидимой кислоты, и вызывали глубокие повреждения, настоящую эрозию, которая заставляла отдельные фрагменты Сабины, как осколки столкнувшихся планет, вращаться по чужим орбитам, не имея достаточно сил для того, чтобы улететь в небо как птица, и не обладая в достаточной мере органическим началом, чтобы породить новую жизнь и начать вращаться вокруг собственной оси.

Картины Джея были танцем разрозненных фрагментов в беспорядочном ритме. Они были портретом сегодняшней Сабины.

Ее жажда огня, могущего сплавить воедино все эти разрозненные фрагменты, сплавить их в печи наслаждения в одну всепоглощающую любовь, в одну абсолютную женщину, эта жажда осталась не утолена.

Отойдя от картин, она увидела самого Джея. Он сидел за одним из столиков и еще больше, чем прежде, был похож на Лао-цзы. Теперь его полулысый череп окаймляла полоса снежно-белых

волос, а маленькие, узкие, полузакрытые глаза смеялись.

Кто-то, стоявший между Сабиной и Джеем, наклонился к нему и высказал комплимент по поводу его витрин на Пятой авеню. Джей весело рассмеялся:

— Я умею их шокировать. А пока они находятся в шоке от современного искусства, рекламщики могут делать свое грязное дело.

Он махнул рукой Сабине, пригласил присесть рядом с ним.

— Ты разглядывала мой ядерный реактор, в котором мужчин и женщин бомбардируют для того, чтобы найти в них таинственный источник власти, новый источник силы.

Он говорил с нею так, словно со времени их последней встречи в парижском кафе не прошло нескольких лет. Он всегда вел себя так, словно продолжал разговор, начатый неизвестно когда, может быть, в Бруклине, где он родился, а может, и в любом другом месте, где он побывал до того, как попал в страну бесчисленных кафе, где он нашел слушателей и мог теперь и писать картины, и постоянно говорить, тянуть длинную цепь своих бесконечных разглагольствований.

— А ты нашел свою власть, свою новую силу? —

спросила его Сабина. — Я-то не нашла.

— Я тоже не нашел, — сказал Джей с насмешливым сожалением. — Я только что приехал домой, из-за войны. Нас вынудили уехать. Ведь любой, кто не подлежит мобилизации, стал для Франции просто лишним ртом. Из консульства к нам явился один тип и заявил: «Все бесполезные лица должны выехать из Парижа». В один день все художники испарились, как будто чума настала. Я никогда не знал, что художники занимают так много места. Всех нас, художников из разных стран, ждал либо голод, либо концлагерь. Помнишь Ганса, Сабина? Они хотели выслать его в Германию. Он, конечно, всего лишь мелкая копия Пауля Клее, но все же заслуживает лучшей участи. А Сюзанну депортировали в Испанию, потому что у нее не было документов. А ее венгерский муж, полиомиелитик, попал в лагерь. Помнишь, угол Монпарнаса и Распай, где все мы стояли часами и не могли расстаться? Теперь из-за перебоев с электричеством уже нет времени на долгие прощания. Ты теряешься сразу, как только выходишь из кафе, сразу исчезаешь в ночной тьме. Мы больше не можем совершать невинные проступки. Наше обычное бунтарство превратилось в серьезное политическое преступление.

Лодку, в которой жила Джуна, конфисковали для перевозки угля. Все можно переделать, но только не художников. Невозможно переделать тех, кто привык ломать и прошлый, и нынешний порядок, вечных диссидентов, абсолютно лишенных настоящего, метателей атомных бомб сознания и чувств, пытающихся выпестовать новую силу и новый порядок сознания из постоянных бунтов.

Когда он смотрел на Сабину, его глаза словно говорили ей, что она не изменилась, что все еще остается для него тем символом этой горячки, вечного беспокойства, бунтов и анархии в жизни, которым он аплодировал семь лет назад в Париже.

В это время за столиком Джея появился еще один человек.

— Познакомься, это Хладнокровный Скальпель. Он — наш лучший друг в этом городе. Когда людей пересаживают на другую почву, все происходит с ними как с растениями; первое время растения вянут или сохнут, некоторые из них умирают. Мы все находимся в критической стадии, страдаем из-за перемены почвы. Хладнокровный Скальпель работает в морге. Его близкое знакомство с самоубийцами и ужасные описания самоубийств удерживают нас от того, чтобы наложить на

себя руки. Он говорит на шестнадцати языках, и поэтому он — единственный, кто может говорить со всеми художниками, по крайней мере вечером, пока еще не напился до чертиков. Тогда он уже способен говорить только на эсперанто алкоголиков, на языке, состоящем из заикания и мычания, восходящего к геологическим пластам времен наших обезьяньих предков.

Удовлетворенный этой аттестацией, Хладнокровный Скальпель встал из-за стола и завладел микрофоном. Джей ошибся: было всего девять часов вечера, а Хладнокровному Скальпелю было уже не совладать с микрофоном. Он пытался удержать его в правильном положении, но микрофон прогибался, изгибался, извивался в его руке, как гибкий стебель молодого тростника. Он обнимал микрофон так отчаянно, что когда упал вместе с ним на пол, казалось, будто они слились, как два любовника в экстазе.

Когда наконец ненадолго было достигнуто равновесие, у Хладнокровного Скальпеля развязался язык, и он запел на шестнадцати языках, включая алкогольное эсперанто, и превращался то во французского уличного менестреля, то в немецкого оперного певца, то в венского шарманщика и т. д.

Потом он вернулся к Джею и Сабине:

— Сегодня Мамбо отказал мне в харчах раньше, чем обычно. Как вы думаете почему? Не стоило мне быть таким преданным… Ну конечно, он не хочет, чтобы я потерял работу. В полночь-то я должен быть как огурчик, чтобы принять мертвеца как положено. Мне нельзя запинаться, я не должен ничего напортачить. А то мертвецы — они ведь люди чувствительные. Слушайте, ссыльные, у меня есть для вас чудненькое самоубийство: европейская певичка, которую на родине баловали и носили на руках. А теперь она задушила себя связанными вместе разноцветными шарфиками. Может, хотела стать второй Айседорой Дункан?

— Я в это не верю, — сказал Джей. — Попробую восстановить, что произошло на самом деле. Как певица она здесь провалилась. Ее нынешняя жизнь была сера и уныла. Она была всеми позабыта да к тому же, наверно, и не так молода, чтобы попытаться завоевать мир во второй раз… И вот она открывает чемодан, а там — программки прежних триумфальных выступлений, газетные вырезки, восхваляющие ее голос и красоту, засушенные цветы, когда-то подаренные поклонниками, пожелтевшие любовные письма и разноцветные шарфики, напоминавшие ей

ароматы и краски минувших побед. И тогда, по контрасту, сегодняшняя жизнь стала для нее совершенно невыносимой.

— Ты абсолютно прав! — воскликнул Хладнокровный Скальпель. — Я уверен, что так все и произошло. Она повесилась на пуповине, связывающей ее с прошлым.

Он шумно сплюнул, как будто алкоголь уже начал пузыриться у него внутри, а потом сказал Сабине:

— Знаешь, отчего я так предан Мамбо? Сейчас расскажу. У меня такая профессия, что люди стараются как можно быстрее меня забыть. Ведь никто не хочет, чтобы ему вечно напоминали о смерти. Может, они и не хотят избегать лично меня. Но они хотят избегать тех, с кем я вожу компанию. Весь год мне нет до этого никакого дела, но вот в Рождество… Приходит Рождество, и никто, совсем никто не шлет мне рождественских открыток. И это единственное, из-за чего мне противно работать в морге. И вот как-то однажды, за несколько дней до Рождества, я говорю Мамбо: «Будь другом, пошли мне рождественскую открытку. Тогда я получу хотя бы одну. И буду думать, что по крайней мере один человек вспомнил обо мне в канун Рождества, словно я

такой же человек, как и все остальные». Но ты ведь знаешь Мамбо! Он пообещал, улыбнулся, а потом сел за свои барабаны, а это для него вроде выпивки, и отрезвить его уже нет ну никакой возможности. Я не мог спать всю неделю, думал, что он мог забыть, и о том, что в Рождество буду себя чувствовать так, словно я всеми забыт, словно я уже умер… Но он не забыл!

А потом с неожиданным проворством он вытащил из кармана автомобильный клаксон, вставил его в петлицу и нажал на него так же вдохновенно, как женщина нажимает на пульверизатор, обрызгивая себя духами.

— Послушайте, это язык будущего! — воскликнул он. — Когда-нибудь все слова исчезнут, и люди только вот так будут общаться друг с другом!

Изо всех сил пытаясь сдержать бушующие в нем алкогольные воды, напирающие на дамбу вежливости, Хладнокровный Скальпель поклонился и пошел собираться на работу.

Мамбо сел за барабаны, и Сабину опять охватил жар, она опять почувствовала себя в ловушке. Так она выглядела и тогда, когда Джей увидел ее в первый раз.

Вся в красном и серебряном, она и звучанием,

и внешним видом напоминала несущуюся по улицам Нью-Йорка и наполняющую сердца предчувствием катастрофы пожарную машину.

Вся в красном и серебряном, напоминающая неистовую красную и серебряную сирену, прорубающую путь сквозь плоть.

Как только он тогда взглянул на нее, то сразу почувствовал: все сгорит!

И из этого сочетания красного и серебряного, вместе с несмолкающим воем сирены, адресованным поэту, живущему (пусть даже тайно и невидимо) в каждом человеке точно так, как в нем живет ребенок (отвергнутый и замаскированный), этому поэту она неожиданно бросила вызов, прямо посреди города выбросила пожарную лестницу и повелела: «Взбирайся!»

Когда она появилась, стройные линии городских строений словно рухнули перед этой лестницей, по которой еще предстояло взобраться, перед лестницей, которая вела прямо в космос подобно тому, как лестница барона Мюнхгаузена вела в небо.

Но только ее лестница вела в огонь.

Качая головой, Джей рассмеялся оттого, что Сабина ничуть не изменилась. Спустя семь лет она все еще не умела сидеть спокойно. Она бол-

тала без умолку — лихорадочно, не переводя дыхания, болтала, словно боялась замолчать. Она сидела как на иголках, словно не могла сидеть долго, а когда встала, чтобы купить сигарет, ей тут же захотелось вернуться на прежнее место. Нетерпеливая, подвижная, осторожная, словно постоянно ожидающая нападения, неутомимая, увлекающаяся. Она спешила напиться, улыбалась так мимолетно, что он не был уверен, что она вообще улыбалась. Когда к ней обращались, слушала вполуха. Если кто-нибудь из присутствующих наклонялся и произносил на весь бар ее имя, она откликалась не сразу, словно это имя принадлежало другой.

Она смотрела на дверь так, словно искала подходящего момента, чтобы убежать; производила хаотичные и порывистые жесты; иногда внезапно мрачнела и замолкала. Она вела себя как человек, явно в чем-то виновный.

Среди мерцающих свечей, тумана сигаретного дыма и отголосков слащавого блюза Сабина понимала, что Джей думает о ней. Но она опасалась спрашивать его: он был слишком острым на язык сатириком, и все, чего она добилась бы от него, было бы лишь карикатурой, к которой она не смогла бы отнестись легко, не смогла бы пропу-

стить ее мимо ушей. В ее нынешнем настроении эта сатира могла бы лишь добавить весу в тяжелые гири, тянущие ее на дно.

Когда Джей, по-доброму, с медленной и тяжелой игривостью медведя качая головой, на самом деле уже собрался сказать ей нечто крайне уничтожающее, в духе того, что он называл своей «брутальной честностью», Сабина была не готова принять вызов. Поэтому она начала рассказывать стремительную, закрученную, запутанную историю о какой-то вечеринке, на которой случились какие-то не вполне понятные происшествия, смутные сцены, в которых никто не мог четко отделить героиню от жертвы. К тому времени, когда Джей узнал место действия ее рассказа (Монпарнас, семь лет назад, вечеринка, во время которой Сабину обуяла жуткая ревность к тому сильному чувству, которое связывало его с Лилиан, и она попыталась разрушить их связь), Сабина уже переменила тему и говорила, словно в прерывистом сне, с пропусками, повторами, сбоями, давая простор своей фантазии.

Сейчас она была в Марокко, мылась там в бане вместе с местными женщинами, делясь с ними куском пемзы, учась у проституток, как подводить глаза сурьмой, которую она купила

на базаре. «Это угольный порошок, — пояснила Сабина — Он должен попасть в глаза. Сначала это вызовет раздражение, и тебе захочется плакать. Тогда слезы вынесут его наружу, на веки. Только так можно создать сверкающий угольно-черный ободок вокруг глаз».

— А ты не могла получить инфекцию? — спросил Джей.

— Нет конечно! Ведь проститутки освящают сурьму в мечети.

Все рассмеялись: стоящий рядом Мамбо, Джей и еще двое неизвестных, сидевших за соседним столиком, но сейчас придвинувших стулья ближе, чтобы слушать Сабину. Сабина не смеялась; на нее нахлынуло уже другое воспоминание о Марокко. Джей видел, что образы проплывают перед ее глазами, как фильм перед глазами цензора. Он понимал, что сейчас она отбирает истории, которые собирается рассказать, что она, должно быть, сожалеет о том, что рассказала о банях, и теперь казалось, будто все то, что она сказала прежде, было написано на огромной школьной доске, а она взяла губку и все стерла, добавив: «На самом деле все это случилось не со мной. Мне рассказала приятельница, побывавшая в Марокко». И не успели ее спросить: «Ты хочешь сказать,

что вообще никогда не была в Марокко?», как она принялась дальше спутывать нити и сказала, что, может быть, это была история, которую она где-то вычитала или услышала в баре. И, как только она стерла из памяти слушателей те факты, которые могли быть привязаны к ней лично, она начала рассказывать другую историю…

Лица и фигуры ее персонажей были вычерчены только наполовину, и едва Джей начинал восстанавливать отсутствующие фрагменты (например, когда она рассказала о человеке, полировавшем стекло домашнего телескопа, ока не хотела говорить подробнее, боясь, что Джей догадается, что это Филипп, которого он знал по Вене и которого в их парижской компании в шутку называли «Довоенная Вена»), как Сабина накладывала на этот образ другие фигуры и лица, как это бывает во сне. И когда Джей с великим трудом все же вычислил, что она говорит о Филиппе (с которым, как он был уверен, у нее роман), оказалось, что она уже говорит не о человеке, полировавшем стекло телескопа, над которым прямо среди комнаты висел зонтик, а о женщине-арфистке, у которой был концерт в Мехико-Сити во время революции и которая продолжала играть на своей арфе даже тогда, когда

кто-то поднял стрельбу по люстрам в зрительном зале, и она чувствовала, что должна продолжать играть, чтобы предотвратить панику. Но так как Джей знал, что это она рассказывает о Лилиане, и он знал о том, что Лилиана была не арфисткой, а пианисткой, Сабина тут же спохватилась, что не стоит напоминать Джею о Лилиане, поскольку это может причинить ему боль, и еще потому, что воспоминание о том, как Лилиана его оставила, было и напоминанием о том, что Сабина, соблазнившая тогда Джея, была отчасти виновата в отъезде Лилианы, поэтому Сабина тут же переменила тему, и теперь уже Джей удивлялся и думал, что чего-то не расслышал или выпил слишком много, потому что думал, будто она говорит о Лилиане, а она уже говорила о каком-то молодом человеке, летчике, которого предупреждали, чтобы он не заглядывал в глаза умирающих.

Джею не удавалось ни восстановить последовательность людей, которых она любила, ненавидела, от которых убегала, ни проследить цепь изменений в ее внешности по случайно брошенным фразам, вроде «в то время я была блондинкой и носила короткую стрижку» или «это было до того, как я в девятнадцать лет вышла замуж» (когда-то она говорила ему, что вышла

замуж в восемнадцать лет). Невозможно было определить, кого именно она забыла, кого предала, за кого она выходила замуж, кого бросала, с кем сходилась. Было похоже, что это ее профессия. Когда он впервые спросил ее о ее профессии, она без промедления ответила: «Я актриса». Но, начав допытываться, он не смог узнать ни в какой пьесе она играла, ни то, имела ли успех или провалилась, так что, может быть (как он решил позже), она действительно мечтала стать актрисой, но никогда не стремилась к этому достаточно настойчиво, достаточно серьезно, с той серьезностью, с какой она занималась нынешней деятельностью, меняя свои любовные увлечения с такой скоростью, что Джею пришло в голову сравнение с калейдоскопом.

Он попытался уловить слова, встречающиеся в потоке ее речи чаще других, надеясь воспользоваться ими как ключевыми. Но хотя такие слова, как «актриса», «чудесный», «путешествие», «скитания», «отношения» произносились ею часто, невозможно было определить, использовала ли она их в буквальном смысле или символическом, поскольку для нее это было одно и то же. Однажды он слышал, как она сказала: «Когда тебе причинят боль, ты должен отправиться в путешествие

как можно дальше от того места, где это с тобой случилось». Когда же он попытался проверить, что она имеет в виду под «путешествием», оказалось, что речь идет о смене квартиры в пределах пятидесяти кварталов Нью-Йорка.

В своей исповедальной лихорадке она иногда немного приподнимала край вуали, только ее край, но пугалась, если кто-то, а особенно Джей, которому она не доверяла и который, как она знала, видел истину только в выставленных напоказ ошибках, слабостях и недостатках, вдруг начинал слушать слишком внимательно.

А поскольку Джей слушал очень внимательно, она брала в руку гигантскую губку и стирала все только что сказанное категорическим отрицанием, словно это смущение само по себе было для нее защитной мантией.

Сначала она зазывала, заманивала в свой мир, а потом перекрывала все проходы, смазывала все образы, как бы для того, чтобы помешать расследованию.

— Ложная таинственность, — грубо сказал Джей, сбитый с толку и раздраженный ее неуловимостью. — Но что она прячет за этой ложной таинственностью?

Ее поведение всегда вызывало в нем (если

учесть, что он постоянно стремился к правде, разоблачению, открытости, брутальному выставлению напоказ) желание, напоминавшее желание мужчины изнасиловать женщину, которая сопротивляется, желанию грубо прорвать девственную плеву, препятствующую обладанию ею.

Сабина всегда вызывала в нем жестокое желание сорвать с нее все маски и вуали и обнажить ее подлинное нутро, которое, благодаря постоянной смене внешней оболочки и общей подвижности, до сих пор умудрялось избегнуть расследования.

Насколько прав он был, когда на своих картинах все время изображал Сабину мандрагорой с мясистыми корнями, с одним-единственным фиолетовым цветком в фиолетовом колоколообразном венчике наркотической плоти. Как прав он был, когда изображал ее рожденной с красно-золотыми глазами, вечно горящими из глубины пещер или откуда-то из-за деревьев. Он изображал ее как одну из роскошных женщин, тропическое растение, изгнанное из обычного общества за то, что является слишком сложной субстанцией для обыденной жизни. Помещал ее на свои картины как жительницу Огненной Страны и был доволен ее внезапными параболи-

ческими появлениями.

— Сабина, помнишь, как мы в Париже катались на лифте?

— Да, помню.

— Нам некуда было деваться. Мы шатались по улицам. Помнится, это тебе пришло в голову покататься на лифте.

(Я помню, как мы хотели тогда друг друга, Сабина. Мы вошли в лифт, и я начал целовать ее. Второй этаж. Третий. Я не мог от нее оторваться. Четвертый этаж. И когда лифт остановился, было уже слишком поздно… Я не мог остановиться, я не мог от нее оторваться, даже если бы на нас смотрел весь Париж. Она, как сумасшедшая, нажала на кнопку, и мы продолжали целоваться, пока лифт шел вниз. Но к тому времени, как он приехал на первый этаж, дело зашло еще дальше, так что она опять нажала на кнопку, и мы ездили вверх и вниз, вверх и вниз, а люди все пытались остановить лифт и войти к нам…)

Джей неудержимо расхохотался при этом воспоминании об отчаянной храбрости Сабины. Тогда на миг Сабина освободилась от своей таинственности, и Джей испытал на себе, что крылось за ее тайной: самая пламенная лихорадка желания.

Она замолчала только тогда, когда в дверях бара забрезжил рассвет. Они и не заметили, что музыка смолкла. Их жаркий разговор был для них замещением звучания барабанов.

Сабина поплотнее закуталась в плащ, словно дневной свет был ее злейшим врагом. Она не могла адресовать свой лихорадочный бред рассвету. Сердито взглянув на занимающуюся зарю, она вышла из бара.

Нет более мрачного момента в жизни города, чем тот, что проводит четкую границу между теми, кто провел бессонную ночь, и теми, кто выспался и идет на работу. Сабине даже казалось, что на земле сосуществуют две расы мужчин и женщин: ночные и дневные люди, которые никогда, кроме этого единственного часа, не встречаются лицом к лицу. Любой ее сверкавший ночью наряд с приходом рассвета становился тусклым. На суровых лицах встречных она видела только осуждение. Ее усталость была совсем не похожа на их усталость. Ее усталость, как долгое воспаление, оставляла под глазами лиловые тени. Ей хотелось спрятать лицо от всех. Она так низко наклоняла голову, что волосы почти закрывали лицо.

Ощущение потерянности не отпускало ее.

Впервые она почувствовала, что не может пойти к Алану. Она тащила с собой слишком тяжелый груз нерассказанных историй, слишком тяжелую ношу воспоминаний. Ее преследовало слишком много призраков не разгаданных ею до конца людей, неосмысленных до конца ситуаций, несмытых оскорблений и унижений. Конечно, она могла бы вернуться домой, изобразить страшную усталость и завалиться спать, но ее сон был бы неспокойным, во сне она могла бы проговориться.

Теперь Алану уже не удалось бы изменить ее настроение. Тем более что она не могла рассказать ему о том, что больше всего ее мучило: о человеке, которого она впервые заметила несколько месяцев назад из окна гостиницы. Он стоял прямо под ее окном и читал газету. В другой раз она видела его, когда шла к Филиппу. Потом встретила его на станции метро, и он пропустил несколько поездов, чтобы сесть в один поезд с нею.

Он не пытался с ней флиртовать. Он ни разу не пытался заговорить с ней. Похоже, он просто следил за ней, не испытывая при этом никаких личных чувств. В ночном клубе Мамбо он садился в нескольких столиках от нее и записывал что-то в блокнот.

Так, именно так следят за преступницами, прежде чем арестовать их. Значит, он детектив? В чем он ее подозревает? Может, он собирает информацию для Алана? Или ее родителей? А может, он собирается отнести свои записи в центр города, в один из этих внушающих ужас домов, куда привозят для разных там расследований, и тогда в один прекрасный день она получит предписание покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину, в Венгрию, потому что вести жизнь Нинон де Ланкло или мадам Бовари запрещено законом?

Если она скажет Алану, что ее преследует какой-то мужчина, Алан, конечно, улыбнется и скажет:

— Но это ведь с тобой не в первый раз, правда? Это наказание за то, что ты такая красавица. И ты же не хочешь, чтобы все было наоборот?

Тоскливо бредя ранним утром по улицам Нью-Йорка, еще не очищенным от сигаретных окурков и пустых бутылок, оставленных ночными людьми, она впервые поняла картину Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», где по лестнице один за другим спускаются восемь или десять силуэтов одной и той же женщины, представляющих собой множество внешних ва-

риаций ее личности, тщательно отслоенных друг от друга, но находящихся в согласии и единении.

Если она пойдет сейчас к Алану, это будет похоже на насильственное отделение одного такого силуэта от других, к тому же в случае нарушения согласия и единения вариаций сразу обнаружится, что это просто очертания женщины, просто ее видимый извне силуэт, внутри совершенно полый, ибо вся суть улетучилась сквозь щели между отслоенными друг от друга вариациями ее личности. Расслоенная женщина, разделенная на бесчисленные силуэты. Она тут же представила себе, как эта внешняя форма Сабины оставляет отчаявшуюся и одинокую, мечтающую о чашке горячего кофе Сабину на улице и приходит домой, где Алан встречает ее как прозрачно-невинную девочку, на которой он женился десять лет назад и которую поклялся оберегать и лелеять, что он и делал все эти годы, оберегая и лелея. Встречает ее как все ту же юную девочку, на которой женился, ту, первую внешнюю вариацию Сабины, первый врученный ему образ, первый элемент той сложной, запутанной и длинной серии Сабин, которые появились на свет позже и которых она не могла ему предложить. Каждый год она обретала новую форму так же, как дерево добавляет еще одно

годовое кольцо, и, наверно, она должна была бы ему сказать: «Алан, вот новая версия Сабины. Добавь ее к остальным, сплавь ее хорошенько с другими, держи их всех крепко, когда ты обнимаешь ее, держи их всех вместе, потому что иначе, отделенный, отрезанный от других, каждый образ будет жить своей собственной жизнью, и тогда будет существовать не одна, а шесть, семь, восемь Сабин, которые будут ходить то вместе (для чего потребуются колоссальные синтетические усилия), то порознь, и тогда одна из них пойдет на гулкий звук барабанов в чащу черных волос и блестящих улыбок, другая отправится навестить Довоенную Вену, третья будет лежать рядом с сумасшедшим юношей, а четвертая — раскрывать материнские объятия дрожащему, перепуганному Дональду. И разве была бы тогда преступлением попытка выдать каждую из этих Сабин замуж за разных людей, найти для каждой из них по очереди свою особую жизнь?»

О, как она устала! И не потому, что совсем не спала, и не потому, что проговорила всю ночь напролет в прокуренной комнате, и не из-за стремления убежать от насмешек Джея, обид Мамбо, недоверия Филиппа, и не из-за того, что Дональд своим инфантильным поведением

заставил ее в тридцать лет почувствовать себя бабушкой. Она устала оттого, что все время пыталась свести воедино все эти разрозненные фрагменты. И еще она наконец поняла живопись Джея. Наверно, именно в такой миг полной изоляции мадам Бовари решилась принять яд. Это миг, когда тайная жизнь оказывается перед угрозой разоблачения, а ни одна женщина не выдержит приговора.

Но почему она должна бояться разоблачения? Ведь Алан сейчас спит глубоким сном, а если и не спит, то мирно читает. Неужели это острое чувство тревоги вызвала только фигура Детектора Лжи, крадущегося по ее следам?

Вина — единственный вид ноши, который человек не может вынести в одиночку.

Выпив чашечку кофе, она зашла в гостиницу, в которой уже не раз останавливалась, приняла таблетку снотворного и забылась спасительным сном.

Когда в десять часов вечера она проснулась, то услышала музыку, доносящуюся из ночного клуба Мамбо: клуб находился через дорогу от гостиницы.

Ей нужен исповедник! Но найдет ли она его там, среди художников? Во всем мире у художни-

ков есть свои места встреч, свои союзы, правила членства в этих союзах, свои королевства, свои вожди и тайные каналы связи. Они вырабатывали общие взгляды на тех или иных художников, музыкантов, писателей. Бывали, конечно, и случайно забредшие туда люди, как правило, те, кого никто не ждал дома, или те, от кого отвернулась семья. Но у этих со временем появлялись новые семьи, собственные религии, свои врачи и свои сообщества. Она вспомнила, как один тип спрашивал Джея:

— А я буду допущен в ваш круг, если докажу свой превосходный вкус?

— Этого недостаточно, — ответил ему Джей. — Ты хочешь стать изгоем? Козлом отпущения? Ведь все мы — печально известные козлы отпущения, потому что мы живем так, как другие только мечтают по ночам, мы открыто признаемся в том, в чем другие сознаются лишь докторам при условии сохранения профессиональной тайны. А кроме того, нам платят мало, потому что люди чувствуют, что мы слишком любим свою работу и что нельзя платить за то, что ты больше всего любишь делать.

Но в этом мире были и свои преступники. Гангстеры от искусства, чьи разъедающие душу

произведения были порождены ненавистью, преступники, которые убивали или отравляли людей своим искусством. Ведь убить может и картина, и книга.

Может, Сабина была одним из этих преступников? Что в таком случае она сумела разрушить?

Она вошла в ночной клуб Мамбо. Искусственные пальмы словно потеряли свой ярко-зеленый цвет, да и барабаны звучали вяловато. Пол, стены, двери уже слегка покосились от времени.

Одновременно с ней вошла и Джуна, в дождевике поверх черного балетного трико, и волосы стянуты резинкой, как у школьницы.

Когда такие волшебные входы-выходы происходят в балете, когда балерины вдруг исчезают за колоннами или скрываются в густой тени, никто не спрашивает у них паспортов и прочих опознавательных документов. Джуна появилась как настоящая балерина, так же естественно спустившись сюда после работы (она была танцовщицей в баре, расположенном несколькими этажами выше ночного клуба), как она делала это в Париже, где училась в балетной школе при Гранд-опера. Так что Сабина ничуть не удивилась, увидев ее. Но помнила она не столько ее мастерство танцовщицы, не ее гладкие, напряженные

ноги балерины, но ее дар сопереживания. Сабине казалось, что у какого-то невидимого станка боли Джуна каждый день оттачивает свое искусство понимания людей точно так же, как каждый день изнуряет упражнениями свое тело.

Джуна обычно знала, кто украл и кто предал, и что было украдено, а что предано. И Сабина вдруг переставала падать, падать со своих раскаленных добела трапеций, со своих лестниц, ведущих в пламя.

Все они были братьями и сестрами, движущимися по вращающимся сценам бессознательного, и никогда намеренно не мистифицировали других больше, чем самих себя, втянутых в балет ошибок и притворства. Джуна умела различать, где иллюзия, где жизнь, а где любовь. Она могла обнаруживать тень преступления, ускользающего от суда остальных. Она всегда знала, кто настоящий преступник.

Теперь Сабине оставалось только ждать.

Звучание барабанов постепенно смолкло, словно заглушенное густыми, непролазными джунглями. Так и тревога Сабины постепенно перестала стучать в висках и оглушать ее, не давая вслушаться во внешние звуки. Восстановился ритмичный ток крови, руки спокойно легли на

колени.

Пока она ждала, когда освободится Джуна, она вспомнила о Детекторе Лжи, наблюдавшем за ее действиями. Он опять был здесь, в кафе, сидел один и делал записи в блокноте. Мысленно она приготовилась к интервью.

Она привстала и окликнула его:

— Здравствуйте! Пришли арестовать меня?

Он закрыл блокнот, подошел к ее столику и сел рядом. Она сказала:

— Я знала, что это должно случиться, но не думала, что так скоро. Присаживайтесь. Я точно знаю, что вы думаете обо мне. Вы убеждены, что я известная мошенница, международная шпионка в доме любви. Или я должна уточнить: в доме многих любовей? Я хочу вас предупредить, что вы должны касаться меня осторожно, потому что я прикрыта разноцветной мантией, которую так же легко порвать, как стряхнуть с цветка пыльцу. И хотя я очень хочу, чтобы вы меня арестовали, вы потеряете много ценных доказательств, если будете обращаться со мной слишком грубо. Не хочу, чтобы вы запачкали этот тончайший плащ самых невероятных расцветок, созданных моими иллюзиями. Ни один художник не смог бы его воспроизвести. Не правда ли, странно, что ни-

какой химикат не может одарить человека тем радужным свечением, какое создают иллюзии? Дайте-ка сюда вашу шляпу. А то вы выглядите слишком официально, не по-домашнему! Ну что ж, наконец вы выследили все мои роли. А вы догадываетесь, какой храбрости, какой отчаянной смелости требует моя профессия? Мало кто имеет к ней призвание. А я имею. Это проявилось очень рано, когда я поняла, что способна обманывать саму себя. Я умела называть задний двор садом, квартиру — собственным домом, а если приходила домой слишком поздно, то, чтобы меня не ругали, начинала придумывать такие интересные причины опоздания и разные происшествия, что родители несколько минут не могли стряхнуть с себя наваждение и вернуться к реальности. Я легко могла перейти из своего обычного образа, из своей обычной заурядной жизни в мир многих «Я» и многих иных моих жизней, при этом не привлекая к себе внимания. Я имею в виду (возможно, вы будете удивлены, услышав это), что свое первое преступление я совершила против себя самой. Тогда я была совратителем малолетних. И этой малолетней была я сама. Я отказалась от того, что обычно называют правдой, ради более чудесного мира. Я всегда

умела приукрашивать факты. И никогда никто меня за это не арестовывал, ведь это касалось только меня одной. Моим родителям не хватило мудрости понять, что такое умение подтасовывать факты может породить великого художника или по крайней мере великую актрису. Они меня били, чтобы вытрясти из меня пыль бредовых фантазий. Но довольно странно, что чем больше отец бил меня, тем больше потом скапливалась на мне эта пыль — не серая или коричневая, какой она кажется днем, а другая: авантюристы называют ее «золотом дураков». Снимите пальто! Как следователю, вам, наверно, интересно будет узнать, что в качестве самооправдания я выношу обвинение авторам волшебных сказок. Я обвиняю не голод, не жестокость, не родителей; я обвиняю сказки, обещавшие мне, что можно спать на снегу и не подхватить воспаление легких, что хлеб никогда не черствеет, деревья могут расцвести когда угодно, а не только весной, что дракона можно убить одной храбростью, что страстное желание может быть мгновенно исполнено. Ведь что говорят нам сказки? Что безрассудным желанием легче добиться чего-то, чем трудом. Дым из волшебной лампы Аладдина стал моей первой дымовой завесой, а ложь, ко-

торой я научилась у сказок, стала моим первым лжесвидетельством. Но можно сказать, впрочем, что я представляю дело шиворот-навыворот: я просто верила всему, что читала..

Сабина рассмеялась собственным словам. Джуна подумала, что она слишком много выпила, и посмотрела на нее:

— Чему ты смеешься, Сабина?

— Познакомься с Детектором Лжи, Джуна. Он может арестовать меня.

— Ну что ты, Сабина! За что тебя можно арестовать? Ты ничего такого не совершила!

Джуна пристальнее взглянула на Сабину. Целеустремленное, лихорадочное выражение лица, такое обычное для нее, не было больше проявлением пылающего жизнелюбия. В чертах появилась натянутость, в глазах — страх.

— Мне надо поговорить с тобой, Джуна… я не могу спать…

— Я пыталась разыскать тебя, когда приехала из Парижа. Ты так часто меняешь адреса и даже имена!

— Ты же знаешь, я всегда хотела сломать шаблонные схемы, в которые жизнь загоняет человека, если он ей позволяет.

— Зачем?

— Я хочу убрать границы, стереть и уничтожить опознавательные знаки, всё, что заставляет человека жить всегда по одному шаблону, в одном и том же месте и без всякой надежды на изменения.

— Но это прямо противоположно тому, чего обычно хотят люди.

— Вот именно. Я любила говорить, что у меня «жилищные проблемы». Но моя «жилищная проблема» заключалась в том, что я не хотела иметь собственного жилища. Я хотела, чтобы у меня была лодка или трейлер — что-нибудь, что может свободно перемещаться. Я чувствую себя в полной безопасности только тогда, когда никто не знает, где я сейчас нахожусь, например, когда я останавливаюсь в гостинице в комнате, с двери которой стерт номер.

— В полной безопасности от чего?

— Я не знаю, что именно я скрываю от следствия, если не считать того, что я виновна в том, что люблю нескольких мужчин, многих мужчин, а не одного-единственного.

— Но это не преступление. Обычный случай одновременной любви к нескольким.

— Но ложь, вранье, которое при этом неизбежно! Знаешь, как преступники иногда говорят:

«Мне никак было не добыть того, чего я хотел, и пришлось это украсть». Так и я часто говорю себе: «Мне никак не добиться того, чего я хочу, и единственный путь — солгать».

— Ты стыдишься этого?

Сабине опять стало страшно.

— С каждым мужчиной, с каждой моей связью всегда наступает такой момент, когда я начинаю чувствовать себя одиноко.

— Из-за лжи?

— Да. Но если я скажу правду, то останусь не просто одинокой, я останусь одна, и при этом причиню каждому большое страдание. Ну, как я скажу Алану, что отношусь к нему как к отцу?

— Поэтому ты и уходишь от него раз за разом, как дети уходят от родителей. Это закон взросления.

— Похоже, ты оправдываешь меня.

— Я оправдываю тебя только в отношении к Алану. С ним ты вела себя так, как обычно ведут себя дети.

— Он — единственный человек, которому я доверяю. Единственный, чья любовь бесконечна, неустанна, всепрощающа.

— Ты описываешь не мужскую и даже не отцовскую любовь. Это отец-мечта, идеальный отец,

некогда выдуманный тоскующим по отцовской любви ребенком. Тебе нужна такая любовь, и Алан дает ее тебе. И в рамках этой любви ты имеешь полное право доверять ему. Но однажды ты его потеряешь, потому что точно так же, как существуют иные Сабины, существуют и иные Аланы, и они тоже хотят жить и хотят найти себе пару. Враг любви — не кто-то внешний, не мужчина, не женщина. Враг любви — то, чего нам не хватает в нас самих.

Сабина уронила голову на грудь, как бы признавая свою вину.

— Ты не веришь, что этот человек пришел сюда, чтобы арестовать меня?

— Нет, Сабина, это все твое воображение. Ты хочешь приписать этому человеку обвинения, которые сама выдвигаешь против себя. Наверняка ходячим обвинением кажется тебе каждый встречный полицейский, каждый судья, каждый родитель — в общем, каждый человек, облеченный хоть какой-нибудь властью. Ты смотришь на себя глазами других. А это отражение того, что ты сама чувствуешь. Это уже твоя интерпретация. Тебе кажется, что за тобой следит весь мир.

Сабина подняла голову. Ее поглотил поток воспоминаний и причинил ей такое глубокое

страдание, что ей нечем стало дышать. Она почувствовала такую острую боль. Подобную боль чувствует аквалангист, когда слишком быстро выныривает на поверхность.

— В твоем выдуманном мире, Сабина, мужчины всегда были либо крестоносцами, обязанными выигрывать за тебя твои битвы, либо судьями, принимающими обязанности твоих родителей, либо вообще несовершеннолетними принцами, и поэтому никогда никто из них не мог стать тебе мужем.

— Отпустите меня, — сказала Сабина Детектору Лжи. — Освободите меня. Я это говорила многим мужчинам: «Ты собираешься освободить меня?» — Она рассмеялась. — Я готова была сказать это вам.

— Ты сама должна освободить себя. А это придет только с любовью, — ответил Детектор Лжи.

— Что вы, я уже достаточно любила. Если бы это могло кого-нибудь спасти. Я много любила. Загляните в свой блокнотик. Наверняка там куча адресов.

— Нет, ты еще не любила, — сказал он. — Ты только пыталась любить, начинала любить. Но одно только доверие — это еще не любовь, желание — еще не любовь, иллюзия — еще не любовь,

и мечта — это тоже еще не любовь. Конечно, все эти пути уводят тебя от себя, и поэтому тебе казалось, что они ведут к другому. Но этот другой всегда оставался для тебя недостижим, ты всегда оставалась посередине пути. Ты можешь сейчас выйти отсюда и обнаружить, что у Алана есть другие лица, которые ты никогда и не пыталась увидеть или принять? Ты готова обнаружить и другое лицо Мамбо, которое он с такой деликатностью прятал от тебя? Ты готова бороться за то, чтобы узнать еще одну ипостась Филиппа?

— А это я виновата в том, что они поворачивались ко мне только одним из своих лиц?

— Ты представляешь опасность для других людей. Прежде всего, ты одеваешь их в мифические одежды: бедный Филипп, он — Зигфрид, он всегда должен красиво петь и всегда должен оставаться прекрасным. А ты знаешь, где он сейчас? Он в больнице, лежит со сломанным коленом. Из-за неподвижности набрал лишний вес. Что же ты отворачиваешься, Сабина? Это уже не тот миф, с которым ты занималась любовью? А если бы Мамбо бросил свои барабаны и поехал домой ухаживать за больной матерью. Ты отправилась бы с ним и стала кипятить шприцы? А смогла бы ты, если бы другая женщина полюбила Алана,

смогла бы ты отказаться от своих детских притязаний на его вечное покровительство? Пойдешь ли ты учиться профессиональному актерскому мастерству, чтобы не оставаться вечно Золушкой в любительских постановках и не ходить еще долго после спектакля, не стряхивая с носа искусственную снежинку, словно желая показать, что для тебя нет никакой разницы между бутафорским снегом и тем снегом, что падает сейчас на Пятой авеню! Сабина, в играх своего желания ты тасовала факты так, чтобы в конце выиграть. Но тот, кто нацелен только на победу, еще не любил!

Сабина сказала Детектору Лжи:

— А если я сделаю так, как вы просите, вы не будете больше красться за мной по пятам, не будете больше строчить в свой блокнотик?

— Нет, Сабина, не буду. Обещаю тебе, — ответил он.

— Но откуда вы так много узнали обо мне?

— Ты уже забыла, что сама позвала меня следить за тобой. Ты сама наделила меня правом судить твои поступки. Ты и многих других наделила этим правом: священника, полицейских, докторов. Преследуемая собственным сознанием, ты чувствовала себя в большей безопасности,

если меняла свой образ. Так ты чувствовала, что сможешь сохранить ясность ума. Одна твоя половина хотела исправления, освобождения от мук вины, а другая — жаждала остаться на свободе. Одна твоя половина сдавалась и обращалась к чужим людям с просьбой об аресте, тогда как другая половина изобретательно искала пути к спасению. Это был всего лишь еще один роман, роман с правосудием. Сейчас же ты находишься в бегах, ты бежишь от вины за любовь, поделенную на несколько человек, и от вины за то, что ты не любишь. Бедная Сабина, тебе недостаточно было твоих скитаний. Ты искала свою целостность и в музыке… Твоя история — это история не-любви. И знаешь, Сабина, если бы тебя поймали и привели на суд, то судьи дали бы тебе куда более мягкое наказание, чем то, на которое ты сама себя уже обрекла. Мы всегда являемся самыми строгими судьями своих поступков. Ведь мы судим еще и свои мысли, тайные намерения, даже свои мечты… ты никогда не принимала во внимание смягчающие обстоятельства. Ты пережила потрясение и перестала верить в единственную любовь. Разделение своей любви между несколькими мужчинами показалось тебе мерой предосторожности. Между миром ночного клуба

Мамбо, Довоенной Веной Филиппа, кабинетным миром Алана или подростковым исчезающим миром Дональда открывалось так много лазеек. Подвижность в любви превратилась в условие твоего существования. И нет ничего постыдного в том, что ты принимала меры предосторожности. Ведь ты испытывала такой страх.

— Но мои лазейки подвели меня.

— Пойдем со мной, Сабина!

Сабина поднялась вслед за Джуной в ее студию, куда продолжали доноситься звуки барабанов.

И словно для того, чтобы заглушить эту музыку, Джуна поставила на граммофон пластинку.

— Сабина…

Но та не ответила ничего, потому что зазвучал один из квартетов Бетховена и музыка сказала Сабине то, чего не могла произнести Джуна, но что они обе знали с абсолютной точностью: жизнь продолжается и продолжается, как бесконечная цепь вершин, цепь восхождений. Благодаря этим восхождениям сознание обретает вечное движение, выходящее за рамки смерти. И точно таким же образом и вечность любви обретается признанием ее безличной сущности, которая является сложением всех алхимических процессов, порождающих жизнь, ребенка, произведение

искусства, научное открытие, героический акт или акт любви. При этом человеческая пара не остается постоянно идентичной, она меняется для того, чтобы сохранить этот взаимообмен духа, взаимное изменение характера под влиянием друг друга, все творческие достижения заново рожденных внутренних «Я», и сохранить верность только вечному продолжению, протяжению и распространению любви, достигающей своего наиболее яркого выражения в моменты кульминаций и подъемов, равных кульминациям и подъемам в искусстве или религии.

Сабина соскользнула на пол и села, склонив голову перед граммофоном, махнув парашютом белой юбки; а потом съежилась, как сдувшийся воздушный шарик, и умерла в пыли.

Слезы капали не отдельными круглыми капельками, как это бывает обычно. Они ниспадали на лицо Сабины, как водяная вуаль, словно под тяжестью растворяющей музыки она опустилась на морское дно. Ее глаза и черты лица полностью растворились, будто она теряла свою сущность.

Легким жестом, напоминающим скорее не о самой печали, а об изящном танце печали, Детектор Лжи протянул к ней руки, как бы желая спасти ее, и сказал:

— В гомеопатии есть средство под названием «пульсатил». Его прописывают тем, кто, слушая музыку, плачет.